

ЖАЖДА
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ



МОНОЛАН ТЕАТРИ

Тебе в дорогу, романтик

«Жажда человечности»

РАССКАЗЫ

Перевод с английского

Составление предисловие Л. Белой

Послесловие М. Кореневой

Художник Б. Жутовский

Рассказы, включенные в настоящий сборник, издавались на языке оригинала до 27 мая 1973года.

МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1978

Рассказы писателей США

Марджори Киннан Ролингс.

«Моя мать живет в Манвилле»

Карсон Маккаллерс.

«Простофиля»

Курт Воннегут.

«Ложь»

Гордон Вудворд.

«Уехал в город»

Джон Апдайк.

«Завтра, завтра, завтра и так далее...»

Джон Лэнгдон.

«Синий габардиновый костюм»

Трумэн Капоте.

«Дети в день рождения»

Эрскин Колдуэлл.

«Тихоня»

Джеймс Болдуин.

«Скажи, когда ушел поезд?»

Фланнери О'Коннор.

«Гипсовый негр»

Джойс Кэрол Оутс. «Куда ты идешь, где ты была?»

Джером Дэвид Сэлинджер.

«Фрэнни»

Уильям Фолкнер.

«Полный поворот кругом»

МАРДЖОРИ КИННАН РОЛИНГС



*«МОЯ МАТЬ
ЖИВЕТ В МАНВИЛЛЕ»*

Сиротский приют стоит высоко в горах Каролины. Иною зимой снег заваливает все дороги и отрезает его от деревни внизу, от всего мира. Вершины гор заволакивает туман, снег вихрем несется вдоль долин, и ветер дует такой студёный, что, пока мальчуганы из приюта, дважды в день приносящие молоко в коттедж грудных младенцев, добираются до двери, пальцы у них немеют и коченеют до боли.

— А когда носишь с кухни подносы больным, — говорил Джерри, — лицо обжигает мороз, ведь руками-то его не прикроешь. У меня еще есть перчатки, — прибавил он. — А у некоторых мальчиков нет.

По его словам, он любил позднюю весну. Когда цветет рододендрон и склоны гор устланы красочным ковром, мягким, словно майский ветерок, колеблющий крапчатый болиголов. Джерри называл его лавром.

— Хорошо, когда цветет лавр, — говорил он. — Он где розовый, а где белый.

Я приехала туда осенью. Я искала покоя, уединения, на руках у меня была трудная литературная работа. Мне хотелось, чтобы горный воздух выветрил малярию, нажитую слишком долгим пребыванием в субтропиках. И еще я тосковала по полыханию октябрьских кленов, снопам кукурузы, тыквам пепо, черному ореху и взлётам холмов. Я нашла все это в хижине, принадлежавшей приюту и расположенной в полумиле от его фермы. Когда я вселялась, я попросила, чтобы мне прислали мальчика или мужчину наколоть дров для очага. Первые несколько дней стояли тёплые, я находила достаточно дров вокруг хижины, никто не появлялся, и я забыла, о чем просила.

Как-то раз, день уже клонился к вечеру, я подняла глаза от пишущей машинки и вздрогнула. В дверях стоял мальчик, а с ним рядом мой пойнтер, мой сотоварищ — он не подал голоса, не предупредил меня. На вид мальчик был лет двенадцать, но ростом он был не по возрасту мал. На нем были рабочие брюки, драная рубашка, и он был бос.

— Сегодня я смогу поколоть дрова, — сказал он.

— Но я жду мальчика из приюта, — сказала я.

— Это я и есть.

— Ты? Такой маленький?

— А что он, рост? Есть мальчики вон какие большие, а дрова колоть не умеют. Ну а я уж давно колю дрова для приюта, — сказал он.

Я представила себе изуродованные сучья, которые не уложишь в очаг. Я была углублена в работу и не склонна вести разговор. Я ответила несколько резковато:

— Хорошо. Вон топор. Действуй как умеешь.

Я закрыла дверь и вновь занялась работой. Сперва меня раздражал шум, с каким мальчик перетаскивал хворост. Потом он начал рубить. Удары падали ритмично и ровно, и вскоре я забыла про него, а звук топора не мешал работе, как не мешает работе спокойный шум дождя. Наверно, так прошло часа полтора, потому что, когда я оторвалась от рукописи и, потянувшись, услышала на крыльце шаги мальчика, солнце уже скатывалось за самую дальнюю гору, а долины окрасились пурпуром чуть погуще, чем только от астр.

Мальчик сказал:

— Теперь мне пора на ужин. Я могу прийти опять завтра вечером.

— Я сейчас же и расплачусь с тобой, — сказала я, думая про себя, что, пожалуй, мне все же придётся попросить, чтобы прислали мальчика повзрослее. — Десять центов за час достаточно?

— Сколько дадите, столько и хватит.

Мы вместе прошли за хижину. Дров — неподатливого дерева — было нарублено невероятно много. Тут были вишневые плахи и толстые корни рододендрона, чурбаки от неиспользованных сосновых и дубовых бревен, оставшихся после постройки хижины.

— Да ты за настоящего мужчину поработал, — сказала я. — На эту поленницу любо-дорого глядеть.

Я посмотрела на него, по сути сказать, в первый раз. У него были волосы цвета кукурузных снопов, прямой взгляд и глаза как небо в горах, когда собирается дождь, — серые, с той сверхъестественной просянью. При моих словах он весь просиял, словно закатное солнце во славе своей коснулось его тем же рассеянным светом, каким касалось гор. Я дала ему четверть доллара.

— Можешь прийти завтра, — сказала я. — Большое тебе спасибо.

Он взглянул на меня, на монету, хотел, казалось, о чем-то заговорить, но не смог и отвернулся.

— Завтра я наколю лучин для растопки, — сказал он через плечо, худое, едва прикрытое лохмотьями плечо. — Вам нужна будет лучина, а еще средние поленья, чурбаки и большие поленья, чтобы не рассыпались дрова в очаге.

Чуть свет меня разбудил шум рубки. И был он опять такой размеренный, что я снова заснула. А когда выбралась из постели на утренний холодок, мальчика уже не было, а у стены хижины аккуратно высилась кладка лучин. Днем после школы он пришел снова и работал, пока не настала пора возвращаться в приют. Звали его Джерри; ему было двенадцать лет, а в приюте он жил с четырех. Мне представилось, каким он был в четыре года: те же серьезные серо-голубые глаза, та же... независимость? Нет, другое слово приходит мне на ум: «цельность натуры».

Слово это означает для меня нечто совершенно особенное, и свойство характера, которое я им определяю, — редкостное свойство. Мой отец был наделен им и, я почти уверена, еще один человек, однако никто из знакомых мне мужчин не обладал при этом ясностью, чистотой и бесхитростностью горного ручья. А вот мальчик Джерри обладал. В основе этого свойства лежит мужество, но это не просто смелость. Это еще и честность, но и не только честность. Однажды у Джерри сломалось топориче. Он сказал, что его починят в столярной мастерской при приюте. Я хотела дать ему денег, чтобы заплатить за работу, но он отказался их взять.

— Платить буду я, — сказал он. — Ведь это я сломал топориче. Я небрежно ударил топором.

— Но ведь нельзя же каждый раз ударять точно, — сказала я. — Просто топориче было с изъяном. Я скажу человеку, у которого купила топор.

— Только после этого он согласился принять деньги. Он брал назад самообвинение в небрежности. Он сам вызвался колоть дрова и старался исполнять работу аккуратно; если он в чем-либо оплошал, он не станет уваливать от ответственности.

— А еще он сделал для меня нечто необязательное, нечто доброе, на что способны только щедрые сердцем. Нечто такое, чему нельзя научить ни в какой школе, ибо такие вещи делают по первому движению души, их не подсказывает никакой опыт. Возле очага он обнаружил уютное местечко, которого я не заметила. Туда он по собственному почину клал лучину и «средние» поленья, чтобы у меня всегда была наготове сухая растопка на случай сырой погоды. В неровно замощенной дорожке, ведущей к хижине, расшатался камень. Он углубил ямку и закрепил камень, хотя сам ходил напрямик по косоугору. Я заметила, что, когда я пыталась отблагодарить его за заботливость конфетами или яблоками, он принимал их молча. Похоже, такому слову, как «спасибо», он просто не находил применения, ибо вежливость была у него в крови. Он лишь смотрел на подарок, на меня, поднималась завеса, и, глубоко заглянув в прозрачный родник его глаз, я видела там благодарность и нежность — мягкое в твердом граните его характера.

— Под нехитрыми предложениями он приходил посидеть со мной. Я не могла отказать ему в этом, как не могла бы отказать в куске хлеба голодному. Я сказала однажды, что лучше всего нам видется перед ужином, когда я кончаю работать. И вот он всегда выжидал некоторое время после того, как моя пишущая машинка смолкала. Случилось раз, я засиделась за работой до темноты. Я вышла из хижины, совсем забыв про него, и увидела — он взбирается в сумерках по склону холма, возвращаясь в приют. Я присела на крыльце — место, где он сидел, еще хранило тепло его тела.

Нечего и говорить, он сдружился с моим пойнтером Пэтом. Есть странная общность между ребенком и собакой. Возможно, они обладают одной и той же внутренней прямоотю, одной и той же мудротю. Общность эту трудно определить, но она существует. Когда я надумала прокатиться по штату в конце недели, я оставила собаку на попечение Джерри. Я дала ему призывный свисток и ключ от хижины, оставила достаточный запас продуктов. Он должен был приходиться два-три раза в день, выпускать собаку, кормить и прогуливать ее. Я рассчитывала вернуться в воскресенье вечером, и Джерри должен был вывести собаку в последний раз в воскресенье днем и спрятать ключ в условленном месте.

Я запаздывала с возвращением, к тому же горные проходы заполнил предательский туман, и я не осмелилась вести машину ночью. Туман держался все утро следующего дня, так что до хижины я добралась

только в понедельник к полудню. Собака была накормлена и выважена. Джерри явился немного спустя после полудня, встревоженный.

— Управляющий говорит, никто не ездит в тумане, — сказал он. — Я приходил вечером перед тем, как ложиться спать, — вас не было. Вот я и принес Пэту часть моего завтрака нынче утром. Уж со мною-то он бы не пропал.

— Я в этом не сомневалась. Я не беспокоилась.

— Я, как услышал про туман, подумал, вы поймете.

Его ждала работа в приюте, он должен был тотчас вернуться. Я дала ему доллар в награду. Он осмотрел его и ушел. В тот же вечер, уже затемно, он постучался в дверь.

— Входи, Джерри, — сказала я, — если тебе позволили уйти так поздно.

— Я, наверное, сболтнул лишнее, — ответил он. — Сказал, что вы хотите видеть меня.

— Это правда, — подтвердила я и увидела, что мои слова принесли ему облегчение. — Я хочу знать, как ты управлялся с собакой.



Он сел подле меня у огня — света мы не зажигали — и рассказал, как они провели эти два дня. Собака лежала, тесно прижавшись к мальчику, и с ним ей было покойно, как никогда со мною. И то, что он был с моей собакой, заботился о ней, казалось, сближало и нас, и он чувствовал, что сроднился и со мной, не только с животным.

— Мы все время были вместе, — рассказывал Джерри, — если только он не убегал в заросли лавра. Ему нравился лавр. Я взял его с собой на холм, и мы бросились бежать со всех ног. Там есть место с высокой травой, я упал в траву и затаился. Слышу, Пэт ищет меня. Он напал на мой след и залаял. А когда отыскал меня, стал ровно как сумасшедший и давай бегать кругами вокруг меня.

Мы смотрели в огонь.

— Это яблонева калабашка, — сказал он. — Яблоня горит лучше всякого другого дерева.

Мы чувствовали себя очень близкими людьми.

Он вдруг завел речь о вещах, о которых раньше не заговаривал, а я не расспрашивала.

— Вы немножко похожи на мою мать, — сказал он. — Особенно в темноте, у огня.

— Но ведь тебе было всего четыре года, Джерри, когда ты попал сюда. Неужели все эти годы ты помнил, как она выглядит?

— Моя мать живет в Манвилле.

Узнав, что у него есть мать, я в первую минуту была потрясена, как никогда в жизни, и сама не понимала почему. Потом поняла. Меня всегда возмущали женщины, бросающие своих сыновей. Теперь гнев прилил с новой силой. Бросить такого сына... Приют был отнюдь не плохой, обслуживающий персонал — добрые, славные люди, мальчики сыты и здоровы, а драная рубашка — не бог весть какое лишение, и чистая работа тоже. Даже если у мальчика и не было ощущения, что ему чего-то недостает, все равно — какая кровь питала чрево женщины, которая не тосковала по худенькому телу этого ребенка? Он и в четыре года, должно быть, выглядел не иначе. Ничто, думалось мне, ничто в жизни не сможет изменить эти глаза. Отпетый дурак, идиот и тот не усомнится, что за человек перед ним. Меня терзали вопросы, но их нельзя было задавать. Каждый был способен причинить боль.

— Ты виделся с ней, Джерри... за последнее время?

— Я вижу с ней каждое лето. Она посылает за мной.

Мне хотелось кричать.

— Почему же ты не с ней? Как она может тебя отпускать?

— Она приезжает сюда из Манвилла, когда только может, — ответил он. — Сейчас она без работы. Его лицо сияло в отблесках пламени.

— Она хотела подарить мне щенка, да нам здесь щенят держать не велят. Помните, какой костюм был на мне в то воскресенье? — В его словах звучала откровенная гордость. — Это она прислала мне на рождество.

А в позапрошлом рождество... — он протяжно вздохнул, смакуя воспоминание, — она прислала мне коньки.

— Роликовые?

Я напрягала воображение, пытаюсь представить себе эту женщину, понять ее. Стало быть, она не совсем бросила, забыла его. Но почему же тогда... — думалось мне. «Нет, я не вправе ее осуждать, ведь я ничего о ней не знаю».

— Роликовые. Я и другим мальчикам даю кататься. Они всегда просят. Но они обращаются с ними бережно.

Что еще, кроме бедности, вынудило ее...

— Я возьму доллар, который вы дали мне за то, что я заботился о Пэте, и куплю ей перчатки, — сказал он.

— Очень хорошо, — только и могла сказать я. Ты знаешь ее размер?

— Вроде бы восемь с половиной.

Он посмотрел на мои руки.

— У вас восемь с половиной?

— Нет. У меня меньший — шестой.

— А! Ну тогда, наверное, ее руки больше, чем ваши.

Я ненавидела ее. Бедность бедностью, но ведь не только хлебом живет человек; душа может изголодаться и умереть не менее быстро, чем тело. На свой заработанный доллар он хотел купить перчатки для ее больших глупых рук, а она жила в Манвилле и довольствовалась тем, что посылала ему коньки.

— Она любит белые перчатки, — сказал он. — Как по-вашему, хватит на них доллара?

— Думаю, что да.

Я решила, что не уеду отсюда, не повидав ее и не выяснив, отчего она это сделала.

Уму человеческому свойственно разбрасываться с легкостью чертополоха, пускающего по ветру свой пух. Моя работа подходила к концу. Она меня не удовлетворяла, и мои замыслы устремились к другому. Для этого мне понадобится собирать материал в Мексике.

Я распорядилась закрыть свой дом во Флориде, чтобы ехать в Мексику немедленно и писать там, если будет возможность. Потом вместе с братом на Аляску. А там одному богу известно, что и где.

Я так и не удосужилась съездить в Манвилл повидаться с матерью Джерри и даже не поговорила о ней с воспитателями приюта. За работой и новыми планами я стала уделять мальчику чуть меньше внимания. И после первой вспышки ненависти к ней — больше мы о ней не заговаривали — сознание, что у него есть мать, какая-никакая, а мать, и живет она неподалеку, в Манвилле, утишило мою боль за него. Их ненормальные отношения кажутся ему вполне естественными. Он не чувствует себя одиноким. Стало быть, не моя все это забота.

Он приходил каждый день, колол дрова, оказывал мне мелкие услуги и оставался поговорить. Дни стали холодными, и я часто впускала его в хижину. Он ложился на пол перед огнем, обхватывал рукой шею собаки, и оба дремали, спокойно дожидаясь, пока я кончу работать. Но бывало и так, что они вне себя от восторга бегали по зарослям лавра, и так как астры уже отцвели, он приносил мне багряные листья клена и дивные, сплошь облитые золотом ветки каштана. Я была готова к отъезду.

— Ты был мне добрым другом, Джерри, — сказала я ему. — Я буду скучать и вспоминать о тебе. И Пэт тоже будет скучать. Завтра я уезжаю.

Он не ответил. Когда он уходил, над горами, помнится, висел молодой месяц, и я смотрела, как Джерри в молчании поднимается на холм. Я ждала его на следующий день, он не пришел. Сборы в дорогу: укладывание вещей, загрузка автомобиля, устройство ложа для собаки на сиденье — отняли у меня чуть ли не весь день. Я закрыла хижину и пустила мотор — солнце уже клонилось к западу, а выбраться из гор надо было еще до сумерек. Остановившись у приюта, я передала мисс Кларк ключи от хижины и деньги в оплату счета за освещение.

— Да, вот что: не вызовете ли вы Джерри, я хочу с ним проститься.

— Я не знаю, где он, — ответила она. — Похоже, он захворал, отказался сегодня от обеда. Кто-то из мальчиков видел, как он шел через холм в заросли лавра. А ведь к вечеру он должен был растопить котел. Это на него непохоже. Обычно на него всегда можно положиться.

Я вздохнула чуть ли не с облегчением: я уж никогда больше не увижу его, и мне легче уехать, не попрощавшись с ним.

— Я хотела поговорить с вами о его матери, — сказала я. — О том, почему он здесь... Но я просто не думала, что буду так торопиться. И повидаться с ней тоже не успею. Вот вам деньги: купите ему что-нибудь к рождеству и ко дню рождения. Это лучше, чем если я сама буду посылать ему подарки. Ведь я легко могу прислать то, что у него уже есть, — ну, скажем, коньки.

Она непонимающе моргала на меня своими честными стародевичьими глазами.

— Коньки-то, вообще говоря, у нас особенно ни к чему.

Ее глупость вывела меня из себя.

— Иными словами, — продолжала я, — мне не хотелось бы посылать ему те же вещи, что и его мать. Я легко могла бы выбрать коньки, если б не знала, что он уже получил их от матери.

Она смотрела на меня в недоумении.

— Не понимаю, — сказала она. — У него нет матери. У него нет коньков.

КАРСОН МАККАЛЛЕРС



«ПРОСТОФИЛЯ»

Я всегда считал, что это моя комната. То, что Простофиля спал со мной в одной кровати, ничего не меняло. Комната была моя, и я распоряжался в ней как хотел. Помню, однажды мне взбрело в голову пропилить люк в полу, а в прошлом году, когда я уже учился в старших классах, я обклеил всю стену портретами голливудских красоток, вырезав их из журналов, — одна была только в трусиках и лифчике. Мать ни во что не вмешивалась, ей хватало забот с младшими. А Простофиле нравилось все, что бы я ни делал.

Если ко мне заходили товарищи, то достаточно было взглянуть на Простофилю, чтобы он тут же бросил все свои дела и, улыбнувшись мне понимающей улыбкой, мигом исчез из комнаты. Своих ребят он никогда не приводил. Сейчас ему двенадцать, он на четыре года моложе меня. Но, как я помню, мне никогда не приходилось объяснять ему, что молокососам нечего соваться в дела взрослых. Он как-то сам все понимал.

Иногда я даже забывал, что он мне не родной брат. Собственно говоря, он приходится мне кузеном, но, сколько я себя помню, он всегда жил у нас. Дело в том, что его родители погибли в катастрофе, когда он был совсем младенцем. Поэтому я и мои сестренки привыкли считать его братом.

Простофиля запоминал все, что бы я ни сказал, и верил каждому моему слову. Поэтому к нему и пристало такое прозвище. Помню, как однажды, года два назад, я подговорил его прыгнуть с зонтиком с крыши гаража. Я уверял его, что это совсем не страшно — все равно что прыгнуть с парашютом. Он поверил, прыгнул и разбил коленку. Это только один пример. Самое странное то, что, сколько бы я ни обманывал его, Простофиля продолжал мне верить. А ведь дураком его никак нельзя было назвать, вот только со мной он вел себя как настоящий олух. Что бы я ни плел ему, он все принимал за чистую монету.

Вскоре мне пришлось усвоить одну горькую истину — при мысли об этом на душе становится скверно, и трудно с этим примириться. Если случается так, что в тебе кто-то души не чает, ты почему-то начинаешь его презирать и тебя так и подмывает над ним посмеяться. А вот если тебя ни во что не ставят, ты готов — попался. Так получилось у меня с Мэйбелл Уоттс, она училась классом старше и уже в этом году кончала школу. Мэйбелл ужасно задавалась, можно было подумать, что она царица Савская. Меня

она просто не замечала, а я из кожи вон лез, только бы завладеть ее вниманием. Ни днем, ни ночью она у меня из головы не выходила, я словно рехнулся. Теперь я понимаю, что, должно быть, обращался с Простофилой так же мерзко, как Мэйбелл со мной.

Сейчас, когда его словно подменили, мне даже трудно вспомнить, каким он был прежде. Мог ли я думать, что все так изменится и мы с ним станем совсем другими? Теперь, чтобы разобраться, что же все-таки произошло, мне приходится вспоминать прежнего Простофилю и сравнивать с тем, какого я вижу сейчас. Если бы я знал, что так все кончится, я, пожалуй, вел бы себя иначе.

Мне всегда было как-то не до Простофили, и я почти не замечал его. Хотя мы жили с ним в одной комнате, я до странного мало могу вспомнить о нем. У него была привычка разговаривать с самим собой, когда он думал, что один в комнате, — разный вздор про гангстеров, как он с ними сражается, или же про ковбоев, как это бывает у мальчишек его лет. Была еще у него привычка запираяться в ванной. Запретс и торчит там целый час, а то вдруг начнет орать, будто спорит с кем — то, да так сердито и громко, что слышно на весь дом. Но чаще он бывал тих и молчалив. Товарищей у него почти не было, и теперь я вспоминаю, что нередко ловил на его лице то выжидательное, молящее выражение, которое бывает у детей, когда они с завистью следят за чужими играми, — они словно просят, чтобы заметили, как им тоже хочется поиграть. Он охотно донашивал мои старые свитера и куртки, и я помню, как кисти его худых рук, выглядывавшие из чересчур длинных и широких рукавов, казались хрупкими и нежными, как у девчонки. Вот таким, пожалуй, он мне и запомнился. Хотя годы шли и Простофиля становился старше, он почти не менялся. Таким он был и всего несколько месяцев назад, до того, как все произошло.

Поскольку Мэйбелл имеет к этому некоторое отношение, я думаю, лучше начать с нее. Девчонки мало меня интересовали, пока я не увидел Мэйбелл. Прошлой осенью на уроках естествознания она оказалась моей соседкой. Вот тогда я впервые обратил на нее внимание. Еще ни у кого я не видел таких светлых, почти желтых волос. Иногда она укладывала их локонами и скрепляла какой-то дрянью вроде клея, чтобы подольше держались. Ноготки у нее были острые и намазаны красным лаком. На этих уроках я только и делал, что пялил на нее глаза и отводил их лишь тогда, когда боялся, что Мэйбелл глянет в мою сторону, или же когда меня вызывал учитель. Особенно мне нравились ее руки, такие маленькие и белые-пребелые, если не считать красных ноготков, а еще мне нравилось, как она, посплюнув указательный палец и оттопырив мизинец, медленно переворачивала страницу учебника. В общем, мне чертовски трудно описать, какой была Мэйбелл. Все ребята в школе были влюблены в нее; я же для нее словно не существовал. Дело в том, что Мэйбелл почти на два года старше меня. На переменах я старался как можно чаще попадаться ей на глаза в коридорах, но она едва удостоивала меня взглядом. Поэтому у меня только и оставались уроки естествознания. Я прямо балдел, глядя на нее, и мне казалось, что сердце у меня колотится так громко, что весь класс слышит, и тогда мне хотелось или завопить что есть мочи, или же выскочить вон из класса.

Вечером, как только я ложился, я начинал думать о Мэйбелл, и от этого не мог уснуть иногда до часу, а то и до двух ночи. Бывали случаи, что Простофиля просыпался и спрашивал, что со мной, почему я ворочаюсь с боку на бок и не сплю. Я цыкал на него, чтобы он заткнулся. Должно быть, я был груб и несправедлив с ним, но мне хотелось выместить на ком-нибудь свою обиду и вести себя с другими так, как вела себя со мной Мэйбелл. По лицу Простофили сразу видно, когда его обидели. Но я чаще всего даже не помнил, какие гадости говорил ему, потому что моя голова была забита мыслями о Мэйбелл.

Так продолжалось месяца три или около этого, а потом Мэйбелл вдруг переменилась. Она стала заговаривать со мной на переменах и списывала у меня домашние задания. На большой перемене мне как-то даже удалось потанцевать с ней в гимнастическом зале. И тогда в один прекрасный день я набрался храбрости и, купив целую коробку сигарет, пошел к Мэйбелл в гости. Я знал, что она тайком покуривает в уборной для девочек, а вне школы курит даже в открытую. Кроме того, мне бы в голову не пришло явиться к Мэйбелл с таким дурацким подарком, как конфеты, — кто теперь это делает? Встретила она меня просто здорово, и у меня голова пошла кругом от радужных надежд.

С этого вечера, пожалуй, все и началось. Домой я тогда вернулся поздно. Простофиля уже спал. Меня просто распирало от счастья, я ворочался и никак не мог улечься, а потом долго не мог заснуть. Я

лежал и думал о Мэйбелл. Наконец я уснул, и мне приснилось, будто я ее целую. Я здорово расстроился, когда проснулся, и, увидев крошечную темень ночи, долго не мог понять, где я. В доме стояла тишина, и было темно, как в склепе. Поэтому я чуть не подскочил от неожиданности, когда Простофиля окликнул меня:

— Пит!

Я решил не отвечать и даже не шевельнулся.

— Пит, ты ведь любишь меня, как будто я твой брат, правда?

Это так ошарашило меня, что мне показалось, будто это сон, а то, что мне приснилось раньше, было явью.

— Ведь ты всегда любил меня, как родного брата, правда, Пит?

— Конечно, — наконец сказал я. Потом я встал и вышел.

Было так холодно, что я с удовольствием снова залез под одеяло. Простофиля прижался ко мне, маленький и теплый. Я чувствовал его дыхание на своем плече.

— Как ты ни обижал меня, Пит, я почему-то всегда знал, что ты меня любишь.

Теперь уже сна как не бывало — все у меня в голове перемешалось. Радостные воспоминания о Мэйбелл, а потом то, что сказал сейчас Простофиля и каким голосом он это сказал, что-то сделали со мной. Должно быть, когда тебе хорошо, ты способен лучше понимать других, чем когда тебе плохо. Мне показалось, что только сейчас я впервые по-настоящему подумал о том, как и отношусь к Простопиле. Я понял, что чаще всего вел себя с ним по-свински. Помню, за несколько недель до того, когда мы уже легли спать, в темноте я услышал, что Простофиля плачет. Он признался мне, что потерял духовое ружье, которое дал ему один мальчишка, и теперь боится сказать ему об этом. Но мне хотелось спать, и я прикрикнул на него, чтобы не скулил, а когда он опять заплакал, я дал ему хорошего пинка под одеялом. Это только один случай, который я тогда припомнил. Я вдруг понял, что Простофиля, в сущности, очень одинок, и от этой мысли мне стало не по себе.

В темную холодную ночь тот, с кем ты делишь кров, становится тебе как-то ближе, а если ты еще ведешь с ним душевную беседу в темноте, то кажется, будто во всем городе в этот час только и есть, что нас двое.

— Ты настоящий парень, Простофиля, — сказал я. В ту минуту мне действительно казалось, что сейчас он мне ближе всех — ближе товарищей, сестер и даже Мэйбелл. Стало вдруг так хорошо, как бывает в кино, когда смотришь фильм и вдруг слышишь грустную-прегрустную мелодию. Мне захотелось показать Простопиле, как хорошо я к нему отношусь, и искупить свою вину за то, что чаще всего я поступал с ним как скотина.

Мы поболтали добрую половину ночи. Простофиля не закрывал рта, словно слишком долго копил в себе все слова, которые теперь так торопился высказать. Он рассказал мне, что собирается построить лодку и что мальчишки с нашей улицы не принимают его в футбольную команду, а потом еще что-то, но я уже не помню. Я тоже кое-что рассказал ему, и мне было приятно, что он слушает, как взрослый. Я не удержался и даже рассказал ему немного о Мэйбелл, только у меня получилось, что не я за ней бегал все это время, а она за мной. Он расспрашивал меня о школе. Его голос звенел от волнения, и он так торопился, что проглатывал слова. Я уже засыпал, а он все продолжал говорить, и его дыхание согревало мое плечо.

Следующие две недели я часто виделся с Мэйбелл. Если судить по ее поведению, получалось, что я ей действительно немножко нравлюсь. Я буквально ошалел от счастья.

Но Простопилу я не забывал. В ящике моего письменного стола скопилось довольно много всякого ненужного хлама — боксерские перчатки, книжки приключений, старые рыболовные принадлежности и прочее. Все это я великодушно отдал ему. Мы с ним еще несколько раз беседовали так, как в ту, первую ночь, и, пожалуй, только теперь я по-настоящему стал узнавать его. Когда на его щеке появился длинный порез, я сразу догадался, что он пробовал мою новую бритву — мне только недавно ее подарили. Но я сделал вид, будто ничего не заметил. У Простопилы даже выражение лица стало другим. Раньше у него был такой вид, будто он ждет, что ему вот-вот дадут подзатыльника. Теперь же его рожица с торчащими

ушами, широко распахнутыми глазами и вечно полуоткрытым ртом выражала удивление и радость.

Однажды я совсем было решил показать его Мэйбелл и похвастаться, что это мой младший братишка. Было это в кино, шел какой-то детектив. Отец дал мне заработать доллар, и я выделил Простофиле целых двадцать пять центов на сладости и прочие ребячьи развлечения, а на остальные повел Мэйбелл в кино. Мы сидели почти что в самых задних рядах, поэтому, когда появился Простофиля, я сразу его увидел. Как только он миновал билетера и вошел в зал, он уже не отрывал глаз от экрана и буквально ощупью двигался по проходу. Я совсем было собрался толкнуть Мэйбелл и показать его ей, как что-то меня удержало. Больно дурацкий вид был у Простофили в эту минуту — он шел по проходу, спотыкаясь, как пьяный. К тому же он еще вынул очки и стал протирать стекла краем рубашки, а его короткие широкие штаны некрасиво болтались вокруг худых коленок. Наконец он добрался до первых рядов, где обычно сидит вся мелюзга. Я так и не показал его Мэйбелл. И все же мне было приятно, что благодаря мне Простофиля и Мэйбелл смотрят сейчас фильм.

Прошел, должно быть, месяц или полтора. Я ног под собой не чуял от счастья, не думал ни о чем другом, кроме Мэйбелл, и, разумеется, забросил учебу. Меня буквально распирало от дружелюбия ко всем, а временами не терпелось с кем-нибудь поделиться. За неимением лучшего моим собеседником обычно становился Простофиля. Он был счастлив не меньше моего. Однажды, не выдержав, он признался мне:

— Знаешь, Пит, кроме тебя, мне никто на свете не нужен. Ты мне как настоящий брат.

А потом что-то произошло. Как и почему это случилось, я до сих пор не знаю. Таких девчонок, как Мэйбелл, вообще трудно понять. Но она вдруг изменилась, встречи со мной ее больше не интересовали. Сначала я не хотел верить и все успокаивал себя, что мне показалось. А потом стал частенько видеть ее в машине одного типа из футбольной команды. У него была желтая открытая машина прямо под цвет волос Мэйбелл, и после уроков она уезжала с этим парнем, хохоча и заглядывая ему в лицо. Я мучился и не знал, как помочь беде. Теперь, если мне удавалось уговорить Мэйбелл встретиться со мной, она чаще всего бывала не в настроении, злилась и почти не глядела на меня. От этого я был все время как на взводе, я совсем потерял уверенность в себе — то мне казалось, что я слишком стучу башмаками, когда ступаю, то мерещилось, что я забыл как следует застегнуть брюки, или же я чуть не умирал со стыда оттого, что у меня прыщик на подбородке. Иногда в присутствии Мэйбелл в меня словно бес вселялся, я начинал разговаривать со взрослыми каким-то развязным, пошлым тоном, называл всех мужчин по фамилии, нарочно опуская слово «мистер», или же грубил направо и налево. По ночам я клял себя, понимая, что выгляжу настоящим кретином, и от этого совсем не мог уснуть.

Первое время я так переживал, что совсем забыл о Простофиле. А потом его присутствие стало раздражать меня. Он же по-прежнему ждал, когда я вернусь из школы, и глядел на меня так, словно ему не терпелось сказать мне что-то очень важное. На уроках труда он смастерил мне полку для журналов, а однажды не завтракал в школе целую неделю, чтобы купить мне три пачки сигарет.

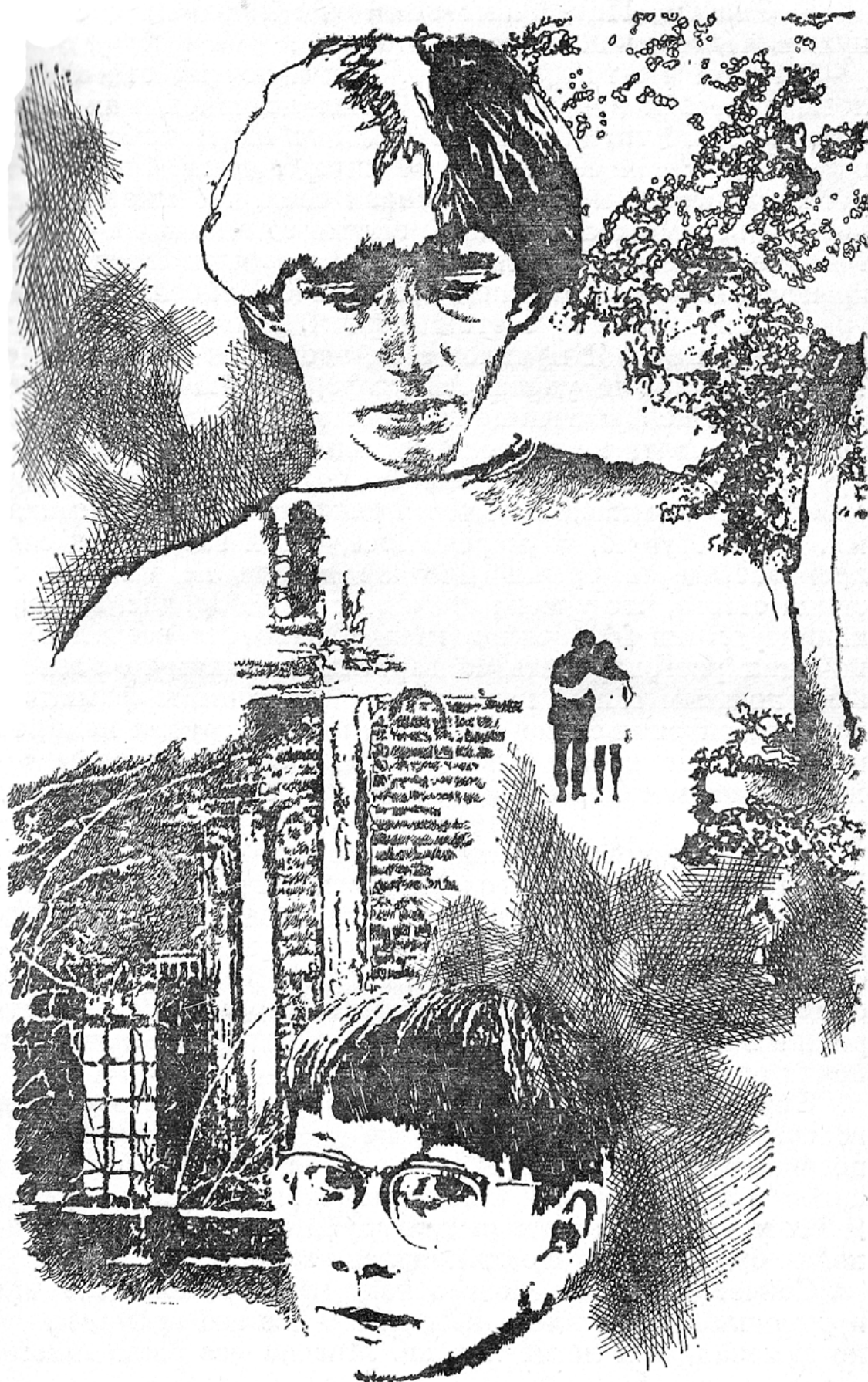
Ему, должно быть, трудно было поверить, что у меня голова забита другим и мне не до него. Каждый раз, возвратившись из школы, я заставлял его в комнате; он сидел и с надеждой и ожиданием поглядывал на меня. Я же упорно молчал или так грубо отвечал ему на какой-нибудь вопрос, что он наконец уходил.

Сейчас я уже не могу вспомнить, в какой день что произошло. Мне было так паршиво все это время, что я не замечал, как летят недели. Мне на все было наплевать. Все вроде оставалось по-старому, и никаких слов не было произнесено, но Мэйбелл продолжала разъезжать в машине того парня, иногда одаривала меня улыбкой, иногда не замечала совсем. Каждый день после школы я заходил во все места, где мог бы встретить Мэйбелл. Бывали дни, когда она снова становилась прежней, и я начинал верить, что все обойдется. А потом она опять вела себя так, что, не будь она девчонкой, я бы придушил ее. Чем больше я понимал, каким идиотом выгляжу, чем больше мучился от этого, тем упорнее преследовал Мэйбелл.

Простофилю я уже буквально не выносил. Теперь в сто взгляде появилось что-то похожее на осуждение, словно он винил меня в чем-то и заранее знал, чем все кончится. Он вдруг начал быстро расти и почему-то стал заикаться. По ночам его мучили кошмары, и бывали дни, когда его рвало после завтрака. Мать стала поить его рыбьим жиром.

А потом в один прекрасный день между мной и Мэйбелл все было кончено. Я как-то встретил ее

на улице возле аптеки и предложил погулять вечером. Она отказалась, я не удержался и съязвил что-то. Мэйбелл взорвалась и наговорила кучу гадостей — сказала, что ей тошно от одного моего вида, что я ей до смерти надоел и вообще никогда не нравился.



Я стоял как истукан и слушал все это, а потом повернулся и медленно побрел прочь. Несколько дней я безвыходно просидел в своей комнате. Мне никого не хотелось видеть. Когда за-

ходил Простофиля и смотрел на меня своим странным взглядом, я орал на него, чтобы он убирался вон и не мешал мне. Я старался не думать о Мэйбелл, листал старые номера «Популярной механики» или возился с полочкой для зубных щеток, которую когда-то давно начал мастерить, и порой мне казалось, что я довольно успешно справляюсь со своим горем и почти забыл Мэйбелл.

Но наступала ночь, и тут уж я не мог притворяться. Из-за этого, должно быть, все и пошло криво и вкось.

Дело в том, что через несколько дней после того, как Мэйбелл так грубо отшила меня, она мне снова приснилась, как в тот, первый раз. Во сне я больно сжал Простофилю плечо и разбудил его. Он легонько тронул меня рукой.

— Что с тобой, Пит?

И тут меня вдруг охватила такая ярость, что я чуть не задохся. Я ненавидел себя, свой дурацкий сон, ненавидел Мэйбелл, Простофилю и все на свете. Я вспомнил, как куражилась надо мной эта девчонка, вспомнил все свои неудачи и обиды, и вдруг мне показалось, что никто никогда меня не сможет полюбить, разве только такое чучело, как Простофиля.

— Почему мы больше с тобой не дружим, как прежде, Пит? Почему...

— Заткнись ты!.. — грубо оборвал я его и, сбросив одеяло, вскочил и зажег свет. Простофиля сидел на широкой кровати, испуганно тараща на меня глаза.

А во мне поднялось такое, что я уже совсем ничего не мог с собой поделать. Такие приступы ярости случаются, должно быть, только один раз в жизни. Слова уже совсем бесконтрольно слетали с языка. Только потом я смог припомнить, что наговорил тогда, и постепенно во всем разобраться.

— Почему мы больше не дружим? Ты это хочешь знать? Да потому, что ты болван, вот почему. Что ты лезешь ко мне со своей дружбой? Мне просто жаль тебя было, вот я и возился с тобой. А так плевать я хотел на твою дурацкую дружбу!..

Если бы я наорал на него или поколотил, это было бы не так ужасно. Но я произнес все это почти спокойно, тихим и размеренным голосом. Простофиля смотрел на меня, открыв рот, и у него был такой вид, словно его ударили под ложечку. Лицо у него стало бледнее мела, а на лбу выступили капельки пота. Он вытер их тыльной стороной руки, и она застыла в воздухе, словно он защищался от удара.

— Ты что, совсем уже ничего не соображаешь? Мозги у тебя есть или нет? Заведи себе девчонку и сюсюкай с ней о дружбе, а от меня отвяжись. Такие, как ты, зануды и неженки никогда не становятся настоящими парнями.

Я уже совсем не соображал, что говорю. Мне было все равно.

Простофиля словно окаменел. На нем была моя пижамная куртка, и его цыплячья шея, выглядывавшая из широкого ворота, казалась особенно худой и тонкой. К мокрому лбу прилипли волосы.

— Какого черта ты привязался ко мне, ходишь за мной как собачонка? Неужели ты не понимаешь, что ты мне не нужен?

Потом уже я вспомнил, как вдруг начало меняться лицо Простофили. Выражение растерянности и испуга исчезло, рот захлопнулся, глаза сузились, а худые руки сжались в кулаки. Таким я его еще никогда не видел. Он буквально на глазах взрослел. Во взгляде появилось недетское, жесткое и отчужденное выражение. Крупная капля пота, упав со лба, медленно сползала по подбородку, но он даже не заметил этого. Он в упор смотрел на меня своим новым странным взглядом, лицо его застыло, как маска.

— Да разве такие недоумки, как ты, способны понять, что они никому не нужны! Ты слишком глуп, недаром у тебя и прозвище такое — Простофиля.

Я чувствовал себя так, словно внутри что-то оборвалось, упало и разбилось вдребезги. Я погасил свет и сел на стул у окна. Колени дрожали, и меня вдруг охватила такая усталость, что я готов был разреваться.

В комнате было адски холодно. Я довольно долго просидел у окна, затягиваясь завалявшейся, мятой сигаретой. За стеклами были ночь и тишина. В темноте я услышал, как Простофиля наконец улегся.

Злость ушла, я чувствовал одну усталость. На душе было мерзко, потому что я черт знает чего на-

говорил двенадцатилетнему мальчишке. Зачем я сделал это? Я понимал, что надо подойти, объяснить все, помириться, но я не сдвинулся с места. Я решил, что обязательно сделаю это завтра утром. Прошло еще какое-то время, а потом я, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна пружина, осторожно улегся рядом с Простофилей.

Утром, когда я проснулся, его уже не было. А когда я увидел его и хотел было что-то сказать, он смерил меня таким чужим и враждебным взглядом, что слова застряли в горле.

Случилось все это месяца два или три назад. Теперь Простофилю не узнать, он очень повзрослел и вытянулся. Мне кажется, он растет быстрее всех мальчишек своих лет. Сейчас он почти с меня ростом, стал шире в плечах и уже не такой тощий, как прежде. Он больше не донашивает мое старье, а сам купил себе первую пару длинных брюк и носит их с кожаными подтяжками.

Это те перемены, которые сразу бросаются в глаза и которые можно описать словами.

Что касается моей комнаты, то теперь я в ней не хозяин. У Простофили появились друзья — у них что-то вроде клуба. Когда им надоедает рыть траншеи на каком-нибудь пустыре и играть в войну, они торчат в моей комнате. На дверях намалевали яркой краской дурацкую надпись: «Берегись, если сунешься сюда без приглашения», а под нею нарисовали череп, скрещенные кости и еще какие-то буквы и знаки.

Кто-то притащил радиоприемник, и он орет не переставая. Однажды, войдя в комнату, я услышал обрывок разговора — один из мальчишек, понизив голос, рассказывал о том, что он тайком подглядел в машине старшего брата. Мне нетрудно было догадаться, о чем идет речь. «Этим он с ней и занимался, понятно? Прямо в машине...» На лице Простофили лишь на мгновение мелькнуло прежнее выражение детского испуга и удивления, а потом оно снова стало жестким и недобрым.

— Подумаешь, дурак, сделал открытие! Будто мы не знаем, чем они там занимаются!

Моего присутствия они словно не заметили. А затем Простофиля стал рассказывать, как через два года уедет на Аляску, чтобы стать охотником.

Но все же я заметил, что Простофиля предпочитает держаться особняком. Самое страшное для меня — это когда мы с ним остаемся одни в комнате. Он ничем не занимается, просто лежит на кровати в своих длинных вельветовых брюках с подтяжками и не сводит с меня взгляда, в котором я уже улавливаю презрение. Я что-то бесцельно перекидываю на столе и никак не могу сосредоточиться, чувствуя на себе этот недобрый взгляд. И это теперь, когда мне во что бы то ни стало надо заниматься, потому что я уже завалил три предмета, и, если завалю еще английский, мне не окончить школу в будущем году. Я не собираюсь оставаться недоучкой, поэтому для меня это очень важно. Мэйбелл давно меня не интересуется, как, впрочем, и все другие девчонки. Только одно не дает мне покоя — это то, что произошло между мной и Простофилей. На людях мы еще перекидываемся словами, а оставшись одни, молчим. Я больше не называю его Простофилей и стараюсь не забывать, что зовут его Ричард. В те вечера, когда он дома, я не могу заниматься и поэтому торчу на углу у аптеки, курю и убиваю время в обществе каких-нибудь бездельников.

Я хочу теперь только одного — чтобы все уладилось. Мне очень не хватает моей короткой дружбы с Простофилей. Если бы мне сказали, что я когда-нибудь пожалею об этом, я бы не поверил. Но все слишком далеко зашло, и исправить уже ничего нельзя. Вот если бы мы с Простофилей подрались как следует, может быть, это помогло бы. Но не могу же я лезть с кулаками на мальчишку, который на четыре года моложе меня. К тому же, когда я ловлю на себе его взгляд, мне кажется, что, случись такая драка, Простофиля с радостью прикончил бы меня.

КУРТ ВОННЕГУТ



«ЛОЖЬ»

Стояла ранняя весна. Неяркое солнце прохладно касалось серого, слежавшегося снега. Небо просвечивало сквозь ветви ивы, где пушистые барашки уже готовились брызнуть золотой дымкой цветения. Черный «роллс-ройс» несся по коннектикутскому шоссе из Нью-Йорка. За рулем сидел негр-шофер Бен Баркли.

— Не превышайте скорости, Бен, — сказал доктор Ремензель, — пусть эти ограничения и кажутся нелепыми, все равно надо их придерживаться. Спешить некуда — времени у вас предостаточно.

Бен сбавил скорость.

— Машине-то по весне будто самой невтерпеж, так и рвется вперед, — объяснил он.

— А вы старайтесь ее сдерживать, — сказал доктор.

— Слушаюсь, сэр! — сказал Бен. И, понизив голос, заговорил с Эли Ремензелем, тринадцатилетним сыном доктора, который сидел с ним рядом: — Весне всякая тварь радуется — и человеки и звери, — сказал Бен. — Даже машине и той весело.

— Угу, — сказал Эли.

— Всем весело, — сказал Бен. — Небось и тебе тоже весело?

— Да, да, — бесцветным голосом сказал Эли.

— Еще бы! В такую школу едешь, в самую распрекрасную.

«Самая распрекрасная школа» называлась Уайтхиллской мужской школой. Это был частный интернат в Норс-Мартоне. Туда и направлялся «роллс-ройс». Надо было зачислить Эли на осенний семестр, а его отцу, окончившему эту же школу в 1939 году, принять участие в собрании попечительского совета школы.

— Сдается мне, что малому не так уж весело, доктор, — сказал Бен. Но говорил он это не всерьез. Просто весна располагала к бесцельной болтовне.

— Что с тобой, Эли? — рассеянно спросил доктор.

Он просматривал чертежи — план пристройки нового крыла в тридцать комнат к старому корпусу, носившему имя Эли Ремензеля, — в честь прапрадедушки доктора. Доктор Ремензель разложил планы на ореховом столике, прикрепленном к спинке переднего сиденья. Доктор был человек крупный, солидный, хороший врач, лечивший людей по призванию, а не ради денег, так как от рождения был богаче шаха персидского.

— Тебя что-то беспокоит? — спросил он Эли, не отрываясь от чертежей.

— Не-ее... — сказал Эли.

Сильвия, красивая мать Эли, сидела рядом с доктором и читала проспект Уайтхиллской школы.

— Будь я на твоём месте, — сказала она сыну, — я бы не знала, куда деваться от радости. Ведь начинаются лучшие годы твоей жизни — целых четыре года!

— Угу! — сказал Эли.

Он не обернулся к ней, и ей пришлось разговаривать с его затылком, с копной жестких курчавых волос над белым крахмальным воротничком.

— Интересно, сколько Ремензелей училось в Уайтхилле? — спросила Сильвия.

— Это все равно что спрашивать, сколько на кладбище покойников, — сказал доктор и сразу ответил и на старую шутку, и на вопрос Сильвии: — Все до одного!

— Нет, я спрашиваю: если бы сосчитать всех Ремензелей, которые там учились, каким по счету был бы Эли?

Вопрос явно не понравился доктору Ремензелю — что-то в нем было бестактное.

— Там счет вести не принято, — сказал он.

— Ну примерно, — настаивала Сильвия.

— О-оо! — протянул он. — Пришлось бы просмотреть все списки с конца восемнадцатого века, чтобы сосчитать хоть приблизительно. Да еще надо решить, считать ли Ремензелями всех Шофилдов, Гэйли, Маклелланов.

— А ты прикинь примерно, прошу тебя, — сказала Сильвия, — хотя бы сколько было настоящих Ремензелей?

— Ну, примерно человек тридцать. — И доктор, пожав плечами, снова зашуршал калькой.

— Значит, Эли будет тридцать первым! — сказала Сильвия, просияв от радости. — Слышишь, милый, ты — тридцать первый номер, — сказала она затылку сына.

Доктор Ремензель снова зашуршал калькой чертежей.

— Я вовсе не хочу, чтобы он, как осёл, повторял всякую чушь, вроде того, что он, мол, тридцать первый Ремензель.

— Ну, он и сам понимает, — сказала Сильвия.

Она была бойкая женщина, честолубивая, но из бедной семьи. После шестнадцати лет замужества она по-прежнему откровенно восхищалась семьями, где богатство переходило по наследству из поколения в поколение.

— Я вот что сделаю, — просто для себя, а вовсе не для того, чтобы Эли ходил и хвастался, — сказала Сильвия. — Пока ты будешь на собрании, а Эли в этой самой приёмной комиссии или как она там называется, я пойду в архив и сама выясню, какой Эли по порядку.

— Отлично, — сказал доктор Ремензель, — пойдёшь поищи.

— И пойдёшь! — сказала Сильвия. — По-моему, это очень интересно, хотя ты и не согласен.

Она выжидательно замолчала, но возражений не последовало. Сильвия очень любила показывать мужу, какая она непосредственная и какой он сдержанный, любила в конце спора говорить: «Ну что ж, наверное, я в душе прежняя сельская простушка, но какой я была, такой и останусь, придётся тебе с этим примириться».

Но сейчас доктору Ремензелю было не до пререканий: он весь погрузился в план нового корпуса.

— А в новых комнатах будут каминьки? — спросила Сильвия. В старом общежитии во многих комнатах были Очень красивые каминьки.

— Но это обошлось бы вдвое дороже, — заметил доктор.

— Хочу, чтобы у Эли, если можно, была комната с камином, — сказала Сильвия.

— Они для старшекласников.

— Ну, может, найдётся ход...

— Это какой же «ход»? — сказал доктор. — По-твоему, я должен потребовать, чтобы Эли дали комнату с камином?

— Ну уж и потребовать... — сказала Сильвия.

— Настоятельно попросить, да? — сказал доктор.

— Может быть, я до сих пор в душе все такая же простушка, — сказала Сильвия, — но вот смотрю я проспект, вижу, сколько зданий носит имя Ремензелей, смотрю дальше — сколько сотен тысяч долларов Ремензели пожертвовали на стипендии... Ну как тут не подумать, что человек, носящий это имя, должен пользоваться хоть какими-то, хотя бы самыми малюсенькими, привилегиями.

— Так вот, разреши тебе сказать совершенно определённо, — сказал доктор Ремензель, — ни в коем случае не вздумай просить для Эли каких-то поблажек, понимаешь, ни в коем случае!

— Я и не собираюсь, — сказала Сильвия. — И почему ты всегда думаешь, что я поставлю тебя в неловкое положение?

— Ничего подобного, — сказал доктор.

— Но разве мне нельзя думать, о чем хочу? — сказала Сильвия.

— Думай, пожалуйста, — сказал доктор.

— И буду! — сказала она весело, ничуть не смутившись, и наклонилась над чертежами. — Как по-твоему, этим людям понравятся их комнаты?

— Каким людям? — сказал он.

— Ну, этим африканцам, — объяснила она. Речь шла о тридцати мальчиках из Африки, которых по просьбе госдепартамента должны были в будущем семестре принять в Уайтхилл. Из-за них и расширяли общежитие.

— Специально для них комнат не будет, — сказал доктор. — Их отделять от других не собираются.

— Вот как! — сказала Сильвия и, немного подумав, спросила: — А может так случиться, что Эли попадёт в комнату с одним из них?

— Новички тянут жребий — кого с кем поселят, — сказал доктор. — В проспекте есть и эта информация.

— Эли! — окликнула сына Сильвия.

— М-мм? — промычал Эли.

— Как тебе понравится, если придётся жить в одной комнате с каким-нибудь африканчиком?

Эли равнодушно пожал плечами.

— Тебе это ничего? — спросила Сильвия.

Эли опять дернул плечами.

— Наверно, ничего, — сказала Сильвия.

— То-то же, — сказал доктор.

«Роллс-ройс» поравнялся со старым «шевроле» — такой развалюхой, что задняя дверца была подвязана бельевой веревкой. Доктор Ремензель мимоходом взглянул на водителя и вдруг, обрадованный, взволнованный, крикнул своему шоферу:

— Не обгонять! — Перегнувшись через Сильвию, доктор открыл окно и закричал водителю «шевроле»: — Том! Эй! Том!

Это был старый товарищ доктора по Уайтхиллу. На нем был шарф уайтхиллских цветов, и он помахал этим шарфом в знак того, что узнал доктора Ремензеля. Потом, указывая на славного сынишку, сидевшего рядом, он знаками и жестами показал, что везет его в Уайтхилл.

Доктор Ремензель, расплывшись в улыбке, в свою очередь, кивнул на растрёпанный затылок Эли, показывая, что и они едут туда же. В свисте ветра между машинами они ухитрились договориться, что позавтракают вместе в Холли-Хаузе — старинной гостинице, где обслуживали только посетителей Уайт-

хилла.

— Все! — сказал доктор Ремензель шоферу. — Поезжайте!

— Знаешь, — сказала Сильвия, — право же, кто-нибудь должен написать статейку... — Она обернулась, посмотрела в окно на старую машину, тарахтящую далеко позади: — Нет, правда, кому-то надо написать.

— О чем? — спросил доктор. Вдруг он заметил, что Эли, сгорбившись, почти сползает с сиденья. — Эли! Сядь прямо! — сказал он резко и снова обернулся к Сильвии.

— Обычно думают, что эти частные школы только для снобов, для богачей, — сказала Сильвия, — но ведь это неправда!

Она перелистала проспект и нашла нужную цитату.

— «Принцип школы Уайтхилл, — прочла она, — состоит в том, что, даже если семья не в состоянии полностью оплатить обучение ученика в нашей школе, это не должно лишать ребенка возможности учиться. Поэтому приёмная комиссия ежегодно выбирает примерно из трех тысяч желающих сто пятьдесят самых способных, самых талантливых мальчиков, даже если кто-нибудь из них не может внести две тысячи двести долларов за обучение. Тот, кто нуждается в финансовой поддержке, получает ее полностью. В некоторых случаях школа берет на себя заботу об одежде и оплату проезда для стипендиатов». — Сильвия тряхнула головкой: — По-моему, это просто поразительно! А многие даже не понимают, что сын какого-нибудь простого шофера тоже может поступить в Уайтхилл.

— Если хватит способностей, — сказал доктор.

— И благодаря щедрости Ремензелей, — добавила Сильвия с гордостью.

— И многих других людей, — сказал доктор.

Сильвия снова стала читать вслух:

— «В 1799 году Эли Ремензель положил начало нынешнему фонду стипендий, пожертвовав школе сорок акров земли в Бостоне. Школа до сих пор владеет участком в двенадцать акров, который в настоящее время оценивается в три миллиона долларов».

— Эли! — сказал доктор. — Сядь же прямо! Что с тобой?

Эли выпрямился было, но тут же, почти соскальзывая с сиденья, уныло осел всем телом, как снеговик в адском пламени. По вполне уважительной причине ему хотелось съежиться, сжаться в комочек, исчезнуть, умереть. Но он не мог заставить себя открыть родителям, что это за причина. Все дело было в том, что он знал: ни в какой Уайтхилл его не примут. Он провалился на вступительных экзаменах. А родители об этом не знали, потому что Эли нашёл роковое извещение в почтовом ящике и порвал его в клочки.

Доктор Ремензель и его жена ни секунды не сомневались, что их сын будет принят в Уайтхилл. Им казалось немыслимым, что Эли туда не попадёт, поэтому они даже не поинтересовались, как Эли сдал экзамены, и не удивлялись, что до сих пор не было никаких извещений.

— А что нашему Эли придётся делать для зачисления? — спросила Сильвия, когда их черный «роллс-ройс» пересёк границу Род-Айленда.

— Понятия не имею, — сказал доктор. — Кажется, у них там теперь всякие сложности: надо заполнять какие-то анкеты чуть не в четырех экземплярах, какие-то карточки — словом, бюрократизм. Да и вступительные экзамены тоже новшество. В мое время директор просто беседовал с мальчиком. Бывало, директор только взглянет на него, задаст два-три вопроса и скажет: «Для Уайтхилла подходит».

— А говорил он когда-нибудь «не подходит»?

— Ну как же, конечно, — сказал доктор Ремензель, — попадались ведь и безнадёжные тупицы и всякое такое. Нужно же придерживаться какого-то уровня. Всегда так было. Вот сейчас эти африканцы тоже должны соответствовать определённому уровню, как и все остальные. Принимают их, конечно, потому, что госдепартамент желает установить дружеские связи с их странами. Но мы поставили свои условия. Они все тоже должны соответствовать определённому уровню.

— Ну и как? — спросила Сильвия.

— Как будто хорошо, — сказал доктор Ремензель. — Как будто их всех приняли, а ведь им пришлось сдавать те же экзамены, что и нашему Эли.

— Трудный был экзамен, милый? — спросила Сильвия сына. До сих пор ей и в голову не приходило задать ему этот вопрос.

— Угу, — сказал Эли.

— Что ты сказал? — переспросила она.

— Ага, — сказал Эли.

— Очень рада, что у них такие строгие требования, — сказала она, но тут же поняла, что так говорить глупо. — Да, конечно, у них требования очень высокие. Потому и школа так широко известна. Поэтому и те, кто ее кончает, отлично устраиваются в жизни.

И Сильвия снова погрузилась в чтение проспекта и развернула карту «Луга», как по традиции называли территорию Уайтхилла. Она перечитала названия всех мест, носящих имя Ремензелей: птичий заповедник имени Сэнфорда Ремензеля, каток имени Джорджа Маклеллана Ремензеля, общежитие имени Эли Ремензеля, а потом прочла вслух четверостишие, напечатанное в углу карты:

Когда весенний вечер
Окутает старый сад,
Уайтхилл, наш милый Уайтхилл,
Все мысли к тебе летят.

— Знаешь, — сказала Сильвия, — все-таки эти школьные гимны, когда их читаешь, чуть-чуть пошловаты. Но когда я слышу, как Клуб весельчаков поет эти слова, мне кажется, что на свете нет ничего прекраснее, даже плакать хочется.

— М-мм... — сказал доктор Ремензель.

— А кто автор — тоже кто-нибудь из Ремензелей?

— Не думаю, — сказал доктор. И вдруг вспомнил: — Погоди-ка. Это же новая песенка. И написал ее вовсе не Ремензель. Том Хильер ее сочинил, вот кто.

— Тот самый, в старой машине, мы еще его обогнали?

— Ну да, — сказал доктор Ремензель. — Том ее и сочинил. Помню даже, как он ее сочинял.

— Значит, ее написал мальчик, который учился бесплатно? — сказала Сильвия. — Ну, как это мило! Ведь он учился на стипендию, верно?

— Да, отец у него был простым механиком в гараже.

— Слышишь, Эли, в какую демократическую школу ты поступаешь! — сказала Сильвия.

...Полчаса спустя Бен Баркли остановил машину у Холли-Хауза — старинной сельской гостиницы, которая была на двадцать лет старше американской республики. Гостиница стояла у самой территории Уайтхилла, башенки и крыши школьных зданий поднимались вдали над нетронутой зеленью птичьего заповедника имени Сэнфорда Ремензеля.

Бена Баркли отпустили с машиной на полтора часа. Доктор Ремензель провёл Сильвию с Эли в знакомый зал — невысокие потолки, оловянные кружки на полках, старинные часы, чудесная деревянная мебель, внимательная прислуга, изысканные блюда и напитки.

В ужасе от того, что его ожидало, Эли неуклюже толкнул локтем огромные стоячие часы, и они жалобно застонали.

Сильвия на минутку вышла. Доктор Ремензель с Эли остановились на пороге ресторана, где хозяйка поздоровалась с ними, называя их по имени. Их усадили за столик под портретом одного из трех воспитанников Уайтхилла, ставших президентами США.

Посетители вскоре наполнили ресторан. Пришли целые семейства, и в каждой семье был хотя бы один ровесник Эли. Многие мальчики — пожалуй, большинство из них — были в форме: уайтхиллский свитер, черный с голубыми кантами и эмблемой Уайтхилла на кармашке. Те, кому, как Эли, еще не полагалась эта форма, просто жили надеждой как можно скорее надеть ее по праву.

Доктор заказал себе мартини, потом обратился к сыну:

— Твоя мама, кажется, думает, что ты должен пользоваться тут особыми привилегиями. Надеюсь, ты сам так не считаешь?

— Нет, сэр, — сказал Эли.

— Мне было бы до чрезвычайности неловко, — сказал доктор Ремензель весьма высокопарным тоном, — если бы мне стало известно, что ты используешь фамилию Ремензель, полагая, что Ремензели — какие-то особенные люди.

— Знаю, — сказал Эли с несчастным видом.

— Все ясно, — сказал доктор. Больше ему об этом говорить не стоило.

Он обменялся короткими приветствиями с входившими в зал знакомыми, раздумывая, для кого же накрыт длинный банкетный стол вдоль стены, и решил, что, наверно, ждут в гости спортивную команду. Вернулась Сильвия и резким шепотом напомнила Эли, что полагается вставать, когда дама подходит к столу.

Сильвию распирало от новостей. Оказывается, объяснила она, большой стол накрыт для тридцати приезжих африканцев.

— Уверена, что столько цветных здесь никогда не кормилось с тех пор, как основан Уайтхилл, — сказала она тихо. — До чего же быстро времена меняются!

— Ты права, что времена меняются быстро, — сказал доктор Ремензель, — но не права насчёт того, что тут никогда не кормили столько цветных: ведь здесь проходил самый оживлённый участок Подпольной Дороги*.

* Подпольная Дорога — так называется путь, по которому переправляли беглых рабов-негров с Юга в свободные Северные штаты.

— Неужели? — сказала Сильвия. — Как интересно! — Она оглядывала помещение, вертя головой, как птица. — Ах, здесь все так интересно! Хотелось бы только, чтобы и на Эли был форменный свитер!

Доктор Ремензель покраснел.

— Он еще не имеет права, — сказал он.

— Знаю, знаю, — сказала Сильвия.

— А я уже решил, что ты собираешься просить разрешения немедленно облачить Эли в форму, — сказал доктор.

— Вовсе я не собираюсь. — Сильвия немного обиделась. — Почему ты всегда боишься, что я поставлю тебя в неловкое положение?

— Да нет же. Извини, пожалуйста. Не обращай внимания.

Сильвия сразу повеселела, положила руку на плечо Эли и, сияя улыбкой, посмотрела на посетителя, который только что остановился в дверях зала.

— Вот кто для меня самый дорогой человек на свете, кроме мужа и сына, — заявила она.

В дверях стоял доктор Дональд Уоррен, директор Уайтхиллской школы, худощавый джентльмен лет за шестьдесят — он проверял вместе с хозяином гостиницы, все ли готово к приёму африканцев.

И тут Эли вдруг вскочил из-за стола и бросился вон из зала — лишь бы вырваться из этого кошмара, удрать поскорее подальше. Он резко рванулся мимо доктора Уоррена, хотя хорошо его знал и тот успел окликнуть его по имени. Доктор Уоррен грустно посмотрел ему вслед.

— Черт подери! — сказал доктор Ремензель. — Что это на него нашло?

— Может быть, ему стало дурно? — сказала Сильвия.

Но разбираться дальше Ремензелям не пришлось, потому что доктор Уоррен быстрым шагом подошёл к их столику. Он поздоровался с ними, явно смущённый поведением Эли, и спросил, нельзя ли ему подсесть к ним.

— Конечно, еще бы! — радушно воскликнул доктор Ремензель. — Будем польщены, милости просим!

— Нет, завтракать я не буду, — сказал доктор Уоррен. — Мое место там, за большим столом, с новыми учениками. Хотелось бы с вами поговорить. — Увидав, что стол накрыт на пятерых, он спросил: — Кого-нибудь ждете?

— Встретили по дороге Тома Хильера с сыном, они скоро подъедут.

— Отлично, отлично, — сказал доктор Уоррен рассеянно. Ему, как видно, было не по себе, и он опять посмотрел на дверь, куда убежал Эли.



— Сын Тома попал в Уайтхилл? — спросил доктор Ремензель.

— Как? — переспросил доктор Уоррен. — Ах да, да. Да, он поступил к нам.

— А он тоже будет на стипендии, как и его отец? — спросила Сильвия.

— Не очень тактичный вопрос! — строго сказал доктор Ремензель.

— Ах, простите, простите!

— Нет, нет, в наше время вопрос вполне законный, — сказал доктор Уоррен. — Теперь мы из этого никакой тайны не делаем. Мы гордимся нашими стипендиатами, да и они имеют все основания гордиться своими успехами. Сын Тома получил самые лучшие отметки на вступительном экзамене — таких высоких оценок у нас никогда и никто не получал. Мы чрезвычайно гордимся, что он будет нашим учеником.

— А ведь мы так и не знаем, какие отметки у Эли, — сказал доктор Ремензель. Сказал он это очень добродушно, словно заранее примирившись с мыслью, что особых успехов от Эли ожидать нечего.

— Наверно, вполне приемлемые, хоть и посредственные, — сказала Сильвия. Этот вывод она сделала из отметок Эли в начальной школе, весьма посредственных, а то и совсем плохих.

Директор удивленно посмотрел на них.

— Разве я вам не сообщил его отметки? — сказал он.

— Но мы с вами не виделись после экзаменов, — сказал доктор Ремензель.

— А мое письмо... — начал доктор Уоррен.

— Какое письмо? — спросил доктор Ремензель. — Разве нам послали письмо?

— Да, я вам написал, — сказал доктор Уоррен. — И мне еще никогда не было так трудно писать...

Сильвия покачала головой:

— Но мы никакого письма от вас не получали.

Доктор Уоррен привстал — вид у него был очень расстроенный.

— Но я сам опустил это письмо, — сказал он, — сам отослал две недели назад.

Доктор Ремензель пожал плечами:

— Обычно почта США писем не теряет, но, конечно, иногда могут послать не по адресу.

Доктор Уоррен сжал голову руками.

— Вот беда... Ах ты, боже мой, ну как же так... — сказал он. — Я и то удивился, когда увидел Эли. Вот не думал, что он захочет приехать с вами.

— Но он же не просто приехал любоваться природой, — сказал доктор Ремензель, — он приехал зачисляться в школу.

— Я хочу знать, что было в письме, — сказала Сильвия.

Доктор Уоррен поднял голову, сложил руки:

— Вот что было написано в письме, и мне еще никогда не было так трудно писать: «На основании отметок начальной школы и оценок на вступительных экзаменах должен вам сообщить, что для вашего сына и моего доброго знакомого, Эли, нагрузка, которая требуется от учеников Уайтхилла, будет совершенно непосильной. — Голос доктора Уоррена окреп, глаза посуровели: — Принять Эли в Уайтхилл и ожидать, что он справится с уайтхиллской программой, будет не только невозможно, но и жестоко по отношению к мальчику».

Тридцать африканских юношей в сопровождении нескольких преподавателей, чиновников госдепартамента и дипломатов из их стран гуськом прошли в зал.

А тут и Том Хильер с сыном, даже не подозревая, как худо сейчас Ремензелям, подошли к столику и поздоровались с доктором Уорреном и с родителями Эли так весело, будто ничего плохого в жизни и быть не может.

— Мы с вами еще поговорим, если хотите, — сказал доктор Уоррен, вставая, — но попозже, а сейчас мне надо идти. — И он торопливо пошёл прочь.

— Ничего не понимаю, — сказала Сильвия. — Совершенно ничего не понимаю.

Том Хильер с сыном уселись за стол. Том взглянул на меню, хлопнул в ладоши и сказал:

— Ну, что тут хорошенького? Здорово я проголодался! — И добавил: — Слушайте, а где же ваш мальчик?

— Вышел на минутку, — ровным голосом сказал доктор Ремензель.

— Надо его поискать, — сказала Сильвия мужу.

— Погодя, немного погодя, — ответил доктор Ремензель.

— А письмо! — сказала Сильвия. — Эли знал про письмо. Он его прочёл и порвал. Конечно, порвал! — И она заплакала, представив себе, в какую чудовищную ловушку Эли сам себя загнал.

— Сейчас меня абсолютно не интересует, что сделал Эли, — сказал доктор Ремензель. — Сейчас меня гораздо больше интересует, что сделают другие люди.

— Ты о чем? — удивилась Сильвия.

Доктор Ремензель встал, внушительный, сердитый, готовый к отпору.

— О том, что я сейчас проверю, насколько быстро можно заставить некоторых людей тут, в Уайтхилле, переменить решение, — сказал он.

— Прошу тебя, — сказала Сильвия, стараясь его удержать, успокоить, — прежде всего нам нужно найти Эли. Сейчас же!

— Прежде всего, — прогремел доктор Ремензель, — нам нужно, чтобы Эли был принят в Уайтхилл. А потом мы его отыщем и приведём сюда.

— Но, милый... — начала было Сильвия.

— Никаких «но»! — сказал доктор Ремензель. — В данный момент тут, в зале, находится большинство членов попечительского совета. Все они — мои ближайшие друзья или друзья моего отца. Если они велют доктору Уоррену принять Эли, он будет принят. Раз тут у них есть место для вон тех типов, так уж для Эли, черт побери, место найдётся!

Широким шагом он подошёл к ближайшему столику и стал что-то говорить могучему старцу свирепого вида, который завтракал в одиночестве. Старик был председателем попечительского совета.

Сильвия извинилась перед растерянными Хильерами и пошла искать Эли.

Расспросив разных людей, Сильвия наконец нашла сына. Он сидел в саду один, на скамье под кустами сирени — на них уже набухали почки.

Услышав шаги матери по хрусткому гравию дорожки, Эли не тронулся с места, готовый ко всему.

— Узнали? — сказал он. — Или надо еще объяснять?

— Про тебя? — сказала она мягко. — Про то, что ты не попал? Доктор Уоррен нам все рассказал.

— Я порвал его письмо, — сказал Эли.

— Я тебя понимаю, — сказала она. — Слишком долго мы с отцом уверяли тебя, что твое место в Уайтхилле, иначе и быть не могло.

— Фу, легче стало! — сказал Эли. Он попытался улыбнуться, и оказалось, что это не так трудно. — Честное слово, стало легче, раз уж все открылось. Хотел вам рассказать, все начинал, а потом духу не хватило. Не знал, как подступиться.

— Это я виновата, а не ты, — сказала Сильвия.

— А что делает отец?

Сильвия так старалась успокоить Эли, что совершенно забыла, чем там занимается муж. И вдруг поняла, что доктор Ремензель делает чудовищную ошибку. Она вовсе не хотела, чтобы Эли приняли в Уайтхилл, она сразу поняла, какая жестокость — отдавать его сюда.

Но она не решалась рассказать сыну, что именно затеял его отец, и только сказала:

— Он сейчас вернется, милый. Он все понимает. — И добавила: — Ты тут посиди, а я его найду и сейчас же вернусь.

Но ей не пришлось идти за доктором Ремензелем. В эту минуту в дверях гостиницы показалась его высокая фигура: доктор увидел жену и сына в саду. Он подошёл к ним. Вид у него был совершенно подавленный.

— Ну как? — спросила жена.

— Они... Они все отказали, — сдавленным голосом сказал он.

— Вот и хорошо! — сказала Сильвия. — Гора с плеч. Честное слово!

— Кто отказал? — спросил Эли. — Кто в чем отказал?

— Члены совета, — сказал доктор, отводя глаза. — Я просил их сделать для тебя исключение — изменить решение и принять тебя в школу.

Эли вскочил, сразу вспыхнув от стыда, от возмущения.

— Ты... ты что? — Голос его звучал совсем не по-мальчишески — он был вне себя. — Ты не должен был просить! — крикнул он отцу.

Доктор Ремензель покорно кивнул:

— Они тоже так сказали...

— Это неприлично! — сказал Эли. — Какой ужас! Как ты мог!

— Ты прав, — сказал доктор Ремензель, покорно принимая упреки.

— Теперь мне за тебя стыдно! — сказал Эли, и видно было, что он говорит правду.

Доктор Ремензель чувствовал себя глубоко несчастным и не знал, какие найти слова.

— Прошу прощения у вас обоих, — сказал он наконец. — Очень нехорошо вышло, нельзя было даже пытаться...

— Значит, Ремензель все-таки попросил для себя поблажки! — сказал Эли.

— Наверно, Бен еще не привёл машину, — сказал доктор, хотя это было и так вполне ясно. — Давайте подождём здесь. Не хочу туда возвращаться.

— Ремензель просил лично для себя, как будто эти Ремензели что-то особенное! — сказал Эли.

— Не думаю... — начал было доктор Ремензель, но конец фразы так и повис в воздухе.

— Не думаешь чего? — переспросила Сильвия.

— Не думаю, — сказал доктор Ремензель, — что мы еще когда-нибудь сюда приедем.

ГОРДОН ВУДВОРД

«УЕХАЛ В ГОРОД»

Я добрался до города около трех часов.

Мне пришлось выехать рано. Стоял конец сентября; сквозь густую пелену тумана, стлавшегося по земле, у реки, пониже моста, куда мы с братом так часто хаживали на рыбалку, маячили верхушки ив; на руле велосипеда тускло поблескивали капли росы. Я осторожно спустил велосипед с крыльца, стараясь не разбудить отца и Дженни, которые должны были хватиться меня не раньше, чем найдут на кухонном столе записку, из которой узнают, что я уехал в город навестить брата.

Я прекрасно понимал, что отец будет сердиться, так как он до сих пор и слышать не хотел о Клиффорде, хотя прошло уже более двух месяцев со дня, когда между ним и Клиффордом произошла размолвка. Отец потребовал, чтобы Клиффорд начал работать в лавке, поскольку он окончил школу и ему исполнилось семнадцать, но Клиффорд отказался. Вместо этого он откликнулся на объявление в газете, в котором химическая фирма подыскивала учеников, забрал из банка свой капитал (семь долларов девятнадцать центов), сел на автобус и укатил — без провожатых и пожеланий счастливого пути. С тех пор я Клиффорда не видел.

Я начал уставать. С момента, когда на окраине Абботсфорда у сыроварни Галлоуэя я свернул на шоссе, я проехал уже более пятидесяти трех миль. Позади остались залитые солнцем поля с пятнами облаков на них и воздух, напоенный пряным утренним ароматом деревьев и начавшей желтеть листвы. Подъехав к тротуару, я вынул полученное от Клиффорда письмо и еще раз проверил номер дома. Теперь было уже недалеко, и я поехал вдоль тротуара, прислушиваясь к шуршанию листьев под колесами велосипеда.

Дом, у которого я остановился, был одним из солидных старых домов, ряды которых украшают улицы западной части Ванкувера; окрашенный в радующие глаз чистые кремово-коричневые тона, он был даже красивее, чем большинство из них. Я соскочил с велосипеда и прошел в ворота. Отстегнув от багажника сверток, я поднялся на крыльцо и позвонил.

Дверь приоткрыла женщина, не очень старая, но семя и в очках.

— Скажите, мэ, здесь живет Клиффорд Бартон?

— Да. Только его сейчас нет.

— Я его брат.

— Вижу, вижу.

Казалось, она не знает, что бы она могла сказать мне еще.

— Я только что из Абботсфорда, где мы живем. — С этими словами я показал ей на синюю машину у крыльца. — Я приехал на велосипеде.

— Это ведь очень далеко.

— Да, не близко.

Женщина продолжала стоять в дверях, не трогаясь с места, и я понял, что это неспроста.

— Вот уж два месяца, как я его не видел.

— Какое интересное совпадение, — заметила она. — Только вчера он рассказывал мне о всех своих братьях, и вот сегодня...

— Этого не может быть, мэм. Кроме меня, у него нет братьев... только сестра.

И тут только я сообразил, что женщина хотела проверить, действительно ли я брат Клиффорда. Она поняла, что я разгадал ее уловку.

— Простите, пожалуйста, — сказала она и улыбнулась. — Нужно быть очень осторожной. — С этими словами она чуть-чуть приоткрыла дверь. — Может быть, вы зайдете к нему? Он будет дома около шести.

Я вошел в переднюю. Она закрыла дверь и повела меня наверх, в комнату брата. Мы поднялись по двум пролетам винтовой лестницы, устланной ковровой дорожкой. Открыв двери, она впустила меня в комнату, сама же остановилась на пороге.

— Наверное, вы проголодались?

— Благодарю. У меня была курица и молоко, и я перекусил по дороге.

Некоторое время женщина с любопытством смотрела на меня, дружелюбно улыбаясь.

— Вы не очень-то похожи на брата.

— Возможно. По крайней мере почти все утверждают это.

— По-моему, вы младший, правда?

— Мне уже пятнадцать. Недавно исполнилось.

— Ну что ж. Если вам что-нибудь будет нужно — я внизу.

Она уже начала закрывать дверь, но вдруг вернулась.

— Ванная напротив, в коридоре.

Она наконец закрыла дверь, и я услышал, как она сошла вниз. Я присел на край постели и огляделся. Небольшая комната была чистенькой и светлой. На полу линолеум, на обоях белые цветы. В углу небольшой буфет, рядом столик с клеенкой, на столике маленькая электроплитка, на ней чайник. Там же два белых деревянных стула. В углу напротив, в стене, шкаф с дверцей; подо мной на кровати яркое стеганое одеяло.

Два окна над парадным крыльцом выходили во двор. Там на крыше чирикали и щебетали птички. Листья на кленах вдоль тротуара, на противоположной стороне улицы, желтые, светло-коричневые и ярко-зеленые, шурша, падали один за другим на землю с негромким, но отчетливым стуком.

Ноги и спина мои ныли от усталости, и я растянулся на кровати и бездумно уставился в потолок так, как дома в то утро, когда ко мне вошел брат. Он уже успел одеться: на нем была светло-голубая рубашка и каштановый галстук, который я подарил ему в день рождения. Я никогда бы не подумал, что он собрался уезжать, но он сказал: «Я ухожу, Пат. Будь осторожен. Напишу». И исчез.

Даже не попрощавшись с отцом (вряд ли, конечно, можно было рассчитывать на его сердечное напутственное слово), он выбежал из дому и на остановке сел в подошедший автобус со своим потрепанным саквояжи — ком, вместившим весь его немудреный гардероб и небольшую веджвудскую вазу — память о маме. С семью долларами и девятнадцатью центами в кармане отправиться в город, не зная там ни души! Когда я наконец пришел в себя, оделся, вскочил на велосипед и сломя голову понесся к остановке, автобус уже удалялся.

Я бросился вдогонку, чтобы хоть еще раз взглянуть на брата, чтобы он увидел меня и понял, что я, по крайней мере, хотел проводить его и пожелать счастливого пути. Но я так и не смог догнать автобус. И прошло почти два месяца, прежде чем я получил от него письмо и узнал адрес.

В открытое окно дул прохладный ветерок; я прикрылся краешком одеяла и, должно быть, очень крепко уснул, потому что совершенно неожиданно я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо и произносит мое имя: «Пат, проснись!» Пауза, новая встряска и снова: «Пат!»

Я с усилием поднял веки и увидел брата. Он стоял у кровати и улыбался; в комнате заметно потемнело, и я сразу понял, что проспал довольно долго.

— Никак не ожидал, что ты приедешь! — сказал он. — Меня едва не хватил удар, когда хозяйка заявила, что ты здесь.

— А правда, здорово получилось, Клиффорд!

— Когда ты приехал?

— Около трех.

— Я ждал письма, но никак не думал, что ты сумеешь явиться сюда собственной персоной. Как ты вообще-то нашел дорогу? Ты ехал на автобусе?

— На велосипеде. А ты не видел его во дворе?

— Видеть-то видел. Только никогда бы не подумал, что это твой. И весь этот путь ты проделал на нем?

— Конечно.

Я встал и почувствовал, что у меня все болит.

— Только немного устал. Мне никогда еще не приходилось делать такие концы.

— Ты, верно, здорово проголодался. Подожди, я умоюсь, и мы сходим купим чего-нибудь поесть.

Он снял куртку и повесил ее в шкаф.

— Расскажи пока мне, как там у вас дела.

— Да ничего. Привез вот рыбки, лосося. Поймал вчера у моста.

Я поспешил к столу — достать рыбу из бумажного пакета.

— И, кроме того, из запасов Дженни банку малинового варенья. Правда, оно никогда не отличалось у нее особым вкусом.

Мы рассмеялись.

Клиффорд схватил полотенце и мыло и вышел из комнаты в ванную напротив. Мне было слышно, как он плескался. Через несколько минут он вернулся, вытирая на ходу шею. Очки он снял. Без очков глаза его начинали щуриться, и он выглядел совсем иным.

— Боже! — вырвалось у него. — Никогда бы не подумал, что найду тебя здесь!

Клиффорд надел очки, натянул через голову галстук, поправил его, накинул куртку. Потом подошел к буфету, вынул вазу, вытащил из нее деньги и снова поставил в буфет.

— Пошли, малыш! Тебе нужно срочно перекусить, пока ты еще совсем не падаешь с ног от голода.

Мы сошли вниз. Клиффорд постучал к хозяйке и попросил у нее разрешения поставить в подвал мою машину. Получив согласие, мы спустились во двор черным ходом, убрали велосипед и по главной дорожке пошли к воротам.

Низко над городом плыл багряно-оранжевый диск солнца, под ногами шуршали листья, впереди по тротуару тихой тенистой улицы скользили длинные четкие тени.

— Ну, как тебе тут нравится, Клиффорд?

— Ты имеешь в виду Ванкувер или работу?

— Все. И Ванкувер... и работу... и жизнь здесь... Ты сам понимаешь, о чем я спрашиваю.

— Нравится, — задумчиво отозвался Клиффорд. —• Можно сказать, что мне повезло.

С минуту он шел молча, рассеянно глядя под ноги.

— Тебе бы надо взглянуть на здание, где я работаю, Пат. Оно одно занимает целый квартал.

— Должно быть, это очень крупная фирма.

— Да. Это ты точно, Пат. Она торгует и с границей.

— Вот у кого небось денег...

Мы подошли к перекрестку и свернули к порту. Поблескивающий ослепительно-белой краской грузовой пароходик выходил в пролив, и огненно-оранжевые лучи заходящего солнца вспыхивали на стеклах рубки расплавленным металлом.

— Тебе, наверно, неплохо платят?

Клиффорд промолчал. Мы свернули за угол, прошли еще немного и вошли в кафе. Здесь так же пахло табачным дымом и жарким, как по субботним вечерам в Гамбургском ресторане дядюшки Джерри, когда завсегдатаи собирались у него послушать пианолу-автомат. Свободных кабин не оказалось, и мы уселись на плетеных деревянных стульях прямо у стойки. Подошла официантка. Я заказал телячью отбивную с пюре и стакан молока с вишневым пирогом; Клиффорд — пончики и кофе. Официантка принесла нам по стакану воды, повертелась у стойки и куда-то скрылась.

— А ты разве не будешь есть? — удивился я.

— Да что-то неохота. У себя на работе мы вечно что-нибудь жуем: пончики, печенье, конфеты или еще что-нибудь в этом роде... Это здорово отбивает аппетит.

— Надо думать.

Официантка подала отбивную, и я взял вилку. Только теперь я почувствовал, как проголодался, и с жадностью набросился на еду. Случайно в большом зеркале за стойкой я увидел Клиффорда, наблюдавшего за мной.

— Ты и в самом деле не хочешь чего-нибудь съесть, Клиффорд?

— Я же сказал тебе. Но почему ты вдруг вздумал спросить меня об этом?

— Да так...

Я покончил с обедом, мы встали, и Клиффорд взял счет. Он подошел с ним к кассирше и кинул ей двухдолларовую кредитку с таким видом, будто никак не может понять, откуда у него в кармане могла взяться такая мелкая купюра. Кассирша выбила чек на доллар десять центов, а девяносто центов вернула Клиффорду обратно. Мы вышли и зашагали вверх по Гренвилльстрит.

— Ну как? — спросил Клиффорд.

— Дай боже, чтобы всегда так. Наелся до отвала.

Начало темнеть; повсюду на улицах зажегся свет, вспыхнули, засияли красные, синие, желтые, зеленые огни реклам. Бесконечный поток прохожих двигался по тротуару, и нам без конца приходилось лавировать между ними.

Казалось невероятным, что на весь Абботсфорд сейчас горит всего лишь несколько неоновых реклам, а единственными заведениями, куда сейчас там можно было зайти, были Гамбургский ресторан дядюшки Джерри да аптека Уотсона. Я изловчился, обогнал двух пожилых леди и снова пошел рядом с братом.

— А что ты делаешь по вечерам, Клиффорд? То есть как ты проводишь время, когда свободен?

— Чего-чего, а дел у меня хватает. Ты же знаешь, что я учусь. Ну а по вторникам, например, я хожу в театр.

— Почему ты выбрал для этого именно этот день?

— Да так. Пожалуй, потому, что первый раз в этом городе я пошел в театр во вторник. Это у нас день получки.

— А разве ты никогда не бываешь в гостях? Или где-нибудь еще?

— Я мог бы ходить во многие места, если бы захотел. Только я почти всегда занят. Почти всегда.

— Мне кажется, с годами, во всяком случае, компании перестают нас так интересовать.

— Да, — согласился он. — Надоедает.

Мы шли по улице все дальше и дальше. Толпа постепенно редела, и теперь нам уже не нужно было то и дело лавировать о потоке людей. У светофора на перекрестке нам пришлось остановиться, подождать, пока зажжется зеленый свет.

— Чего бы тебе сейчас хотелось, Пат? Просто побродить по городу или еще что?

Глазок светофора мигнул, зажегся снова, и мы начали переходить улицу. Когда мы ступили на тротуар, Клиффорд сказал:

— Захвати я с собой побольше денег, мы бы могли сходить на какой-нибудь спектакль. Ведь вот привычка — никогда не носить с собой денег больше, чем это действительно необходимо! всю мою личность я предпочитаю держать в вазочке в буфете.

— А почему бы тебе не положить свои деньги в банк?

— О, это такая канитель, я просто не могу сейчас связываться с банком. Может быть, потом, когда буду свободнее.

— Во всяком случае, — сказал я, — нам ни к чему нарушать твой режим. Сегодня ведь пятница, не вторник.

— Вообще-то да.

Некоторое время мы шли молча, потом он спросил:

— А у вас там по-прежнему дают только два спектакля в неделю?

— Да, но я слышал, будто теперь спектакли будут идти каждый день. Это хотят сделать из-за строителей, которые ездят к нам из лагеря на южной магистрали. Это бы здорово оживило городок.

— Кажется, прошел целый год, как я уехал.

Клиффорд остановился у витрины посмотреть зажигалки, я остановился рядом.

— Клиффорд, — сказал я. — Неужто здесь, в Ванкувере, у тебя нет никого, с кем бы ты дружил, или кого-нибудь, с кем ты мог бы, по крайней мере, сходить в театр?

Клиффорд не ответил. Вместо этого он только ближе наклонился к зажигалкам и еще пристальнее стал рассматривать их. Я понял, что сказал глупость, тут же, как только она слетела у меня с языка. Ибо у Клиффорда никогда не было чересчур много друзей. Он трудно сходилась с людьми, но зато уж, если находил друга, весь отдавался этой дружбе, словно она должна была сохраниться до могилы.

Вероятно, именно поэтому Клиффорд так, казалось бы, странно вел себя, когда узнал, что Тинк Мартин прострелил себе живот, занимаясь чисткой ружья. Он примчался в Сардис, до которого было ни много ни мало тринадцать миль, разыскал больницу, куда положили его друга, и сидел там в приемной до тех пор, пока к нему не вышел врач и не сообщил, что Тинк скончался, так и не приходя в сознание. Тогда он ушел, приехал домой, забился в угол гостиной и устался в стенку; он даже не плакал, что было ужаснее всего; просто сидел в углу и смотрел в одну точку. Наконец он уступил уговорам отца и Дженни, умолявших, чтобы он что-нибудь съел. Он с трудом проглотил что-то, но его тут же вырвало (может быть, потому, что у Тинка было ранение в живот), после чего он снова вернулся в гостиную и долго-долго сидел там в углу. Никогда не забуду его отсутствующего взгляда.

Мы снова зашагали по тротуару.

— Я думаю, в жизни есть кое-что поважнее, — попробовал я исправить свою ошибку, — чем умение везде обзаводиться кучей друзей.

Мы дошли до угла и свернули на другую улицу. Совсем недалеко впереди показалось здание суда. Освещенное рядами маленьких белых лампочек, оно напоминало сказочный дворец.

Когда ты собираешься уезжать, Пат?

— Завтра. Я думаю, рано утром.

— Плохо, что ты не можешь побыть подольше. Если бы ты мог остаться до воскресенья, я показал бы тебе весь город. В воскресенье я выходной.

— Все-таки мне надо поехать.

Клиффорд вздохнул. Достав из кармана пакетик с жевательной резинкой, он вытащил из него палочку, дал мне, взял сам и спрятал остальное обратно.

— А он знает, что ты здесь?

— Знает. Я улизнул, пока они еще спали, но оставил записку.

— Он будет страшно злиться, когда узнает, где ты.

— А, все равно... Пусть бесится.

Мы дошли до другого перекрестка. Направо был виден порт, за ним, на северном берегу, — горы. Солнце село, и багряные, золотистые, розовые и пурпурные краски полыхали в небе; горы казались темно-пурпурными, почти черными. К вершине одной из них тянулась цепочка огоньков, и я понял, что это канатная дорога.

— Знаешь, чего мне хотелось бы сейчас?

— Чего, Пат?

— Вернуться к тебе. Мы посмотрели бы у тебя журналы или еще что-нибудь...

— О'кэй!

Мы прибавили шагу. По дороге нам попалась небольшая булочная. Клиффорд вошел в нее, и я увидел в окно, как женщина сняла с витрины четыре не то слойки, не то пирожных с шоколадным кремом. Она упаковала их в картонную коробку, Клиффорд расплатился и вышел.

— Я думаю, тебе это понравится, — сказал он, показывая коробку. — Это по-настоящему вкусно... Я пробовал их раньше.

— В витрине, по крайней мере, они выглядели замечательно.

Мы подошли к дому, поднялись к себе и зажгли небольшую подвесную лампу. Клиффорд взял чайник, сходил в ванную, налил воды и, вернувшись обратно, захлопнул дверь.

— Поставлю чаю, — сказал он. — Хочешь?

— Конечно!

Я присел на кровать. У меня действительно сильно болели ноги, и я стал растирать их руками, наблюдая в то же время за Клиффордом. Он включил плитку, достал чайник для заварки и начал засыпать чай.

— Ну, как отец? — вдруг спросил он. — А Дженни?

— Да ничего. Вроде как ничего.

Клиффорд больше не стал задавать вопросов, однако так долго возился с чайником, что мне стало невмоготу.

— Отец не хочет говорить о тебе. Кажется, до сих пор злится.

— Я так и знал.

Он подошел к небольшой полочке в углу, достал две тетради.

— Хочешь взглянуть, чем я занимаюсь?

— Конечно.

Он раскрыл одну из тетрадей, и я увидел в ней какие-то чертежики цветным карандашом, заметки чернилами и много отдельных, вкладных страниц, отпечатанных на машинке.

— Это вот и есть биохимия, — сказал он. — И всю эту штуку мне нужно постичь к экзаменам.

— А когда у тебя экзамены?

— Да еще не скоро. Сначала я еще должен окончить курсы учеников. Но никогда не мешает знать вперед.

Клиффорд положил тетради на кровать и пошел к столу, чтобы заварить чай. Я перелистал несколько страниц.

— Наверное, тебе неплохо платят?

— Пока еще не очень много. Ты же знаешь, я только ученик, то есть, иначе говоря, еще учусь. Это почти что школа, только мне за это еще платят деньги.

— И сколько же ты получаешь?

— Одиннадцать долларов в неделю. Это сейчас. Но через год я уже буду иметь четырнадцать и, кроме того, летом недельный отпуск с оплатой.

Он налил в чайник кипятку, прикрыл его и выключил плитку. Я еще раз оглядел комнату. Светло, чисто, все на месте, но уюта нет. В углу на стуле стопка журналов, у кровати на полке несколько романов карманного формата, на дверце шкафа фирменный календарь, на самом верху буфета мамина ваза. Но не было в комнате ни радио, ни удобных ламп, ни вышитых подушек. В распахнутое окно ворвался ветерок. Я выглянул наружу: в домах через улицу светились оранжевые квадраты окон.

— Год — долгий срок, — сказал я.

Клиффорд поставил на стол две чашки, достал из буфета сахарницу, жестяную банку с молоком, чайные ложки и все это аккуратно расставил на столе.

— Как жаль, что у тебя нет радио, Клиффорд.

— Я никогда не принадлежал к тем парням, которые часами готовы сидеть у радио. Ты знаешь это.

Он налил чай, поставил на место чайник и распаковал коробку с пирожными.

— Давай, Пат, — скомандовал он. — Будешь доволен.

Я откусил кусок: пирожное действительно было превосходное. В Абботсфорде у нас таких не было. Клиффорд тоже взял пирожное, съел его и принялся за чай.

— Нажми, нажми, Пат.

— И ты, одно твое.

— Ну, уж меня уволь. Не могу есть много таких вещей: честно говоря, меня тошнит. И, кроме того, я в любое время могу купить их, если захочу.

Он смотрел, как я расправляюсь с пирожными, и на его добром бледном лице играла легкая улыбка.

— Ну как?

— Потрясающе! Как они называются?

— Не помню. Кажется, как-то по-французски.

Взяв чашку, он отпил из нее глоток; я заметил, что каждый раз, когда он подносил чашку к губам, стекла его очков запотевали и ему приходилось ждать, пока они не прояснятся.

— Чем же ты думаешь теперь заняться, Пат, раз уж ты бросил школу?

— Не знаю. Может, останусь работать в Абботсфорде. Может, даже буду помогать отцу.

— А какая работа тебя интересует? Может, тебе хотелось бы выбрать что-нибудь по душе?

— Да нет, пока еще я ничего такого не придумал.

Мы кончили пить чай; Клиффорд встал, вымыл и вытер чашки, поставил их в буфет. Мы посидели еще некоторое время, потом оба решили, что устали, легли и погасили свет. Я лег с краю, и мне было хорошо видно, что происходит за окном. Яркие освещенные дома напротив, уличные фонари, свет мчавшихся по улицам машин — все это не имело никакого отношения ко мне и Клиффорду, к комнате, где мы лежали в темноте. Далеко-далеко на черном ночном бархате небосвода мерцала дуга янтарных огоньков Львиных ворот — моста через пролив.

Наверное, я уже спал, но сквозь сон все же услышал шепот брата.

— Пат, — спросил он, — ты уже спишь?

— Нет...

— Как ты думаешь, почему отец так злится на меня? Ведь единственное, чего мне хотелось, это самому устроить свою судьбу.

Я ответил не сразу. Мне хотелось, чтобы все это получилось исключительно из-за упрямства отца, но я отлично знал, что такое объяснение не удовлетворило бы Клиффорда, тем более что дело касалось нашего отца. Он просто сказал бы, что за всем этим что-то кроется.

— Не знаю, Клиффорд. Может быть, ему просто захотелось показать характер.

Некоторое время он лежал молча, и я было подумал, что он заснул.

— Ты думаешь, он действительно ненавидит меня, Пат? — неожиданно снова спросил он.

— Я вовсе не думаю этого, Клиффорд. Может быть, у вас просто разный взгляд на вещи, только и всего. Все обойдется.

Прошло, как мне показалось, довольно много времени, но Клиффорд не отвечал. Тогда я вытянул руку и положил ее в темноте на его плечо; он не пошевелился.

Утром Клиффорд разбудил меня.

— Пат, — сказал он, — уже полвосьмого. Мне скоро нужно уходить. А, Пат?

Я поднял голову и открыл глаза. Комната была полна света: в ярком луче солнца расплавленным янтарем светился налитый в чашку чай. За столом сидел уже успевший одеться Клиффорд.

— Мне хотелось, чтобы ты поспал подольше. Ты ведь очень устал, Пат.

— Это уже прошло, Клиффорд.

Я встал, оделся, умылся в ванной, вернулся в комнату и сел за стол.

— До чего же вкусно пахнут эти гренки!

— Ты уж прости, что у меня нет на завтрак ничего, кроме гренков. Я совершенно забыл купить вчера бекон.

Неважно...

Он встал и начал жарить мне хлеб, но я ему не позволил.

— Я сам, — сказал я. — Иди пей чай.

Он снова уселся и отхлебнул глоток. Потом подошел к окну и выглянул наружу.

— Как здорово, что сегодня такая чудная погода!

— Да. Все должно быть о'кэй.

Я перевернул хлеб на проволочной сетке над плиткой.

— Когда тебе нужно уходить?

— Обычно я выхожу без четверти восемь. К восьми я уже там.

Он допил чай, сходил вымыл чашку, вытер ее полотенцем, поставил в буфет.

— Не вздумай задерживаться из-за посуды, Пат. Я вымою ее сам, когда приду.

— Не беспокойся, — возразил я, выложил хлеб на стол, намазал его маслом и налил чай. — Не рассыплюсь, если вымою несколько тарелок.

— Ну что ж, мне, кажется, уже пора.

Он встал, подошел к двери, приоткрыл ее и, держась за дверную ручку, остановился на пороге.

— Я думаю, ты еще сумеешь вырваться сюда, Пат. Не сразу, конечно, но...

— О чем разговор, Клиффорд, конечно, я еще приеду.

Клиффорд все стоял в дверях, не двигаясь с места, держась за ручку, будто хотел что-то сказать мне, но не знал, как это сделать.

— Ну ладно, — заключил он. — Главное — будь осторожен на шоссе. И кланяйся Абботсфорду, когда вернешься. Пока!

— Пока, Клиффорд. Спасибо тебе за все.

Клиффорд закрыл дверь, и я услышал, как он сбежал вниз. Я подошел к окну взглянуть, как он выходит из ворот на улицу. Он шел быстро, опустив голову, и ни разу не посмотрел назад.

Я вернулся к столу, доел хлеб, выпил чай и снова подошел к окну. Ослепительные блики утреннего солнца вспыхивали в порту, отражались в стеклах домов на северной стороне залива. Из головы у меня не выходил брат. Я вдруг представил себе, как он вернется вечером с работы в свою пустую, неуютную комнату, как, один-одинешенек, усядется за ужин, вымоет посуду и уберет её в буфет, выйдет на улицу пройтись или сядет за уроки, а потом ляжет спать, и так — каждый день!

Я подошел к буфету и снял вазу, из которой Клиффорд брал деньги. Кроме еженедельных счетов за квартиру с расписками хозяйки, каждая из которых свидетельствовала о том, что ею получено пять долларов, в вазе лежали одна четвертьдолларовая монета, пятицентовик и две монетки по одному центу. Я поставил вазу на место, сел на кровать. Вспомнил, как брат смотрел на меня, когда я ел в кафе, как небрежно бросил кассирше двухдолларовую кредитку; вспомнил пирожные, что он купил, когда мы шли домой, и мне с трудом удалось подавить рвущийся из горла крик.

Спустя некоторое время я встал, спустился вниз и попросил у хозяйки разрешения воспользоваться ее телефоном, чтобы позвонить домой. Я заверил ее, что с ней рассчитаются в течение ближайших же дней, вызвал междугородную и попросил соединить меня с Абботсфордом, 723. Дождавшись, когда гудение и шелканье в трубке аппарата прекратились, я услышал, как на другом конце линии, более чем за пятьдесят миль от меня, сняли трубку.

— Алло?

— Алло! Дженни? Это Пат.

— Патрик Бартон? Откуда?

— Из Ванкувера. А ты думала, из Сибири?

— Не воображай, что это очень остроумно. Уверяю, тебе будет не до смеха, когда ты встретишься с отцом! Самое лучшее для тебя — это сию же минуту очутиться здесь!

— Для этого мне стоит только сесть в свой реактивный самолет. Не успеешь ты выскочить во двор, как я буду уже там. — Только так мог я надеяться сохранить уважение своей сестры.

— Напрасно ты думаешь, что я шучу.

Я тоже не шучу, Дженни. Отец дома?

— Нет. Пошел открывать лавку. Твоя выходка дорого обошлась ему: он очень переволновался.

— Так вот, Дженни. Скажи ему, что я остаюсь здесь. Понимаешь? С Клиффордом в Ванкувере.

— Что в Ванкувере?

— Я говорю, остаюсь с Клиффордом в Ванкувере и начинаю искать работу. Ты что, перестала понимать по-английски?

— Ну вот что, мистер мужчина. Если Клиффорд не желает считаться с нами, из этого не следует, что ты волен поступать как тебе заблагорассудится. Никто из вас никогда не желает думать об отце...

— Перестань, Дженни! Разговор стоит денег. Передашь ты ему это или нет?

— Можешь не сомневаться — передам. Только знай, что он разозлится так, что...

— Ничего не напишешь. Придется ему позлиться!

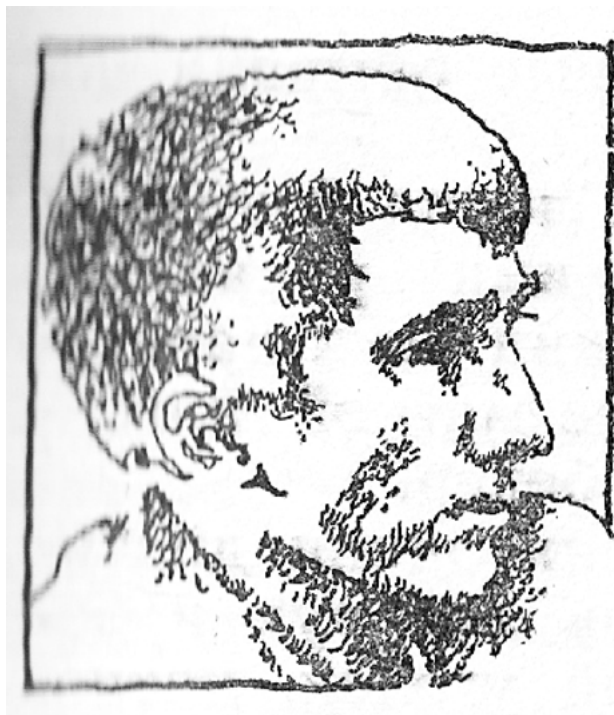
Я положил трубку.

Поднявшись наверх, я перемыл посуду и поставил ее в буфет; потом, взяв газету, стал просматривать объявления о работе. Наткнувшись на объявление о месте мальчика-курьера, я спустился вниз и набрал номер. Мужской голос спросил мою фамилию и сказал, что, если я явлюсь в понедельник утром, место останется за мной. После этого я вытащил из подвала велосипед и поехал поглядеть доки.

Около четырех я вернулся, поставил машину и пошел купить что-нибудь к ужину. У меня еще были целы 65 центов, оставленные на еду на обратном пути. Я купил немного масла, помидоров, тартелеток с джемом и принес все это домой. Дома я разделал привезенного лосося, поджарил несколько кусков и, переложив их в тарелку, поставил под плитку, чтобы рыба не остыла, потом я поставил на плитку чайник, нарезал помидоры и накрыл на стол.

То и дело я подбегал к окну, чтобы не прозевать Клиффорда. Наконец я увидел, что он идет. С газетой в руках, ссутулившись, он устало брел по улице, так же как и утром, опустив голову. Убедившись, что Клиффорд свернул в ворота, я вытащил из-под плитки рыбу, поставил ее на стол, заварил чай, накрыл его колпаком и сел, чтобы не кинуться навстречу поднимающимся по лестнице шагам.

ДЖОН АПДАЙК



«ЗАВТРА, ЗАВТРА, ЗАВТРА И ТАК ДАЛЕЕ...»

11-й «Д», как бурлящий водоворот, с шумом ворвался в класс. Ощувив необыкновенное возбуждение школьников, Марк Проссер решил: будет дождь. Он уже три года преподавал в средней школе, а ученики по-прежнему удивляли его. Поразительно чуткие зверушки, они так точно реагировали на малейшее колебание барометра.

Брут Янг замешкался в дверях. Коротышка Бэрри Снайдер хихикал где-то под его локтем. Деланный смешок Бэрри взметнулся, и сник, будто погрузился в глубины страшной тайны, которая будет еще долго смаковаться, затем смешок взвился ракетой, возвещая, что у него, коротышки Бэрри, был общий секрет с защитником из сборной школы. Бэрри лелеял свое положение шута при Бруте, а защитник не обращал на Бэрри никакого внимания: вывернув шею, он высматривал кого — то за дверью. Но и его увлек поток напиравших сзади, как он ни сопротивлялся...

Прямо на глазах у мистера Проссера, подобно убийству, запечатленному на фризе, изображающем жития королей и королев, кто-то пырнул девочку карандашом. Она мужественно проигнорировала нападение на свою персону. Чья-то рука выдернула подол рубашки из штанов Джоффри Лэнгера — очень способного ученика. Джоффри стоял в нерешительности, не зная, отделаться ли смешком или с гневом постоять за себя, и наконец решился на слабый, неопределенный жест, сохраняя при этом что-то вро-

де надменного вида, напомнившего Проссеру о минутах, когда, бывало, его самого сковывало такое же чувство нерешительности. Блеск цепочек от ключей и острые углы загнутых манжет извергали за ряды электричества, генерировать которые обычная погода никак не могла.

Марк Проссер подумал, придет ли Глория Ангстром в своей алой кофточке, с очень короткими рукавами. Иллюзия обнаженности волновала его: вид двух ласкаемых воздухом безмятежных рук на фоне мягкой ангорской шерсти чем-то напоминал белизну бедер.

Он не ошибся. Когда последний косяк одиннадцатиклассников ворвался в комнату, сквозь лес рук и голов ярко вспыхнуло алое, как тлеющий уголек, пятно.

— Ну-с, усаживайтесь, да побыстрей, — сказал мистер Проссер. — Пора начинать.

Большинство повиновалось, только Питер Форрестер, торчавший в середине группы, окружавшей Глорию, остановился с ней у дверей, он очень хотел не то рассмешить, не то поразить ее. Убедившись, что цель достигнута, он с удовлетворением откинул голову назад. Его оранжевого цвета волосы, с короткой челкой, вились мелкими кудряшками. Марк не любил рыжих мужчин с белесыми ресницами, кичливыми лицами, вылупленными глазами и самоуверенными ртами. Сам он был шатен.

Когда Глория нарочито величавой походкой прошла и села на свое место, а Питер юркнул на свое, Проссер сказал:

— Питер Форрестер!

Отыскивая в книге нужные места, Питер поднялся и проямлил:

— Да?

— Будьте любезны, объясните классу смысл слов: «Завтра, завтра, завтра, — а дни ползут...»

Питер взглянул на школьное издание «Макбета», лежавшее перед ним. На задних партах одна из туповатых девиц захихикала, предвкушая «цирк». Питер пользовался в классе популярностью у девчонок: в этом возрасте у них ума что у мухи.

— Питер, — сказал мистер Проссер, — а книга должна быть закрытой. Ведь сегодня все учили этот отрывок наизусть, не так ли?

Та же девица с задней парты взвизгнула от восторга. Глория положила перед собой открытую книгу так, чтобы было видно Питеру.

Питер резко захлопнул свою и уставился в книгу Глории.

— Да, пожалуй, — вымолвил он наконец, — что там сказано, то они и значат.

— А именно?

— Ну-у-у, что завтрашний день — это то, о чем мы часто думаем, что дни ползут, что слово «завтра» постоянно вкрадывается в наши разговоры. Без мыслей о завтрашнем дне мы бы не могли строить наши планы...

— Так, так. Понятно. Иначе говоря, вы хотите сказать, что Макбет имеет в виду чисто календарную сторону жизни?

Джоффри Лангер засмеялся, несомненно, чтобы польстить учителю. Марк и вправду на какое-то мгновение почувствовал удовлетворение. Потом до него дошло, что он работает на публику за счет ученика. Ведь в его интерпретации толкование Питера прозвучало еще глупей. Он дал было задний ход:

— Я должен признать...

Но Питер шел напролом. Рыжие никогда не умеют вовремя остановиться,

— Макбет хотел сказать... что-то замечательное... что происходит у нас под носом, можно оценить, отбросив заботы о завтрашнем дне и живя лишь сегодняшним...

Марк подумал и решил: нет, не стоит ехидничать.

— Э-э, не отрицая той доли истины, — сказал он, — которая есть в ваших словах, Питер... Скажите, впрочем, насколько это вероятно, чтобы Макбет в той ситуации высказывал столь... — он не удержался, — лучезарные сантименты?

Джоффри опять захохотал. У Питера побагровела шея; он в упор разглядывал пол. Глория взглянула на мистера Проссера с нескрываемым негодованием.

Марк стал поспешно перестраиваться.

— Пожалуйста, поймите меня правильно, — сказал он, обращаясь к Питеру. — Ведь и я не могу дать ответ на все вопросы. Но мне кажется, что весь монолог до слов «нет лишь смысла» выражает такую мысль: жизнь — это, как бы сказать точнее, это сплошной обман. Замечательного, как видите, в этом ничего нет...

— Неужели Шекспир действительно так считал? — спросил Джоффри Лангер, голос которого от волнения стал еще выше.

В его вопросе Марк прочел то, что волновало его самого в юности: страшную истину, которая угадывалась лишь подсознательно. Посадив Литера на место, он посмотрел в окно на небо, которое становилось ровного стального цвета.

— В творениях Шекспира, — медленно начал Марк Проссер, — много мрачного. Но нет, пожалуй, более мрачной пьесы, чем «Макбет». Атмосфера в ней гнетущая, пропитанная ядом. Как сказал один критик: все человеческое гибнет в ней.

Он сам вдруг почувствовал, что задыхается, и откашлялся.

— В средний период своего творчества, — продолжал Марк, — Шекспир посвящал пьесы таким героям, как Гамлет, Отелло, Макбет. Людям, которые по вине общества, или из-за собственного неведения, или из-за каких-то своих незначительных пороков не смогли стать великими. Даже комедии, написанные в этот период, рассказывают о мире, в котором все плохо. Кажется, будто, взглянув в глубины жизни, сквозь то светлое, что он запечатлел в своих комедиях, Шекспир увидел там нечто ужасное, что испугало его. Так же, как когда-нибудь испугает вас...

В поисках нужных слов он все время глядел на Глорию, сам не замечая этого. В смущении она кивала головой. Осознав это, он улыбнулся.

Он старался говорить мягко, как бы смиренно...

— Но затем, как мне кажется, Шекспир вновь ощутил, что все же она существует — эта всеискупающая правда! Его последние пьесы символичны и в общем безоблачны, словно ему удалось пробиться сквозь уродливую действительность в царство прекрасного. В этом смысле творчество Шекспира дает более исчерпывающее представление о жизни, чем творчество любого другого автора. Кроме, пожалуй, одного итальянского поэта по имени Данте, который создавал свои произведения за несколько веков до Шекспира...

Он увлекся и ушел далеко от Макбета и его монолога. Ехидным учителям всегда доставляло удовольствие рассказывать ему, что ребята нарочно втягивают его в разглагольствования. Он взглянул на Джоффи. С безразличным видом мальчик рисовал в своем блокноте какие-то каракули. Мистер Проссер закончил так:

Последняя пьеса, написанная Шекспиром, — это необыкновенная поэма под названием «Буря». Возможно, кто-нибудь захочет подготовить по ней доклад к нашему следующему уроку по домашнему чтению, к десятому мая. Вещь небольшая...

В классе царило веселье. Бэрри Снайдер обстреливал доску дробью, при этом поглядывая на Брута Янга — оценит или нет?

— Еще выстрел, Бэрри, — сказал Марк Проссер, — и за дверь!

Бэрри покраснел, пытаясь за довольно глупой улыбкой скрыть искреннее смущение, не спуская, впрочем, взгляда с Брута. Девушка, что сидела за последней партой, красила губы.

— Алиса, уберите это, — сказал Проссер, — вы не в косметическом кабинете!

Сежак, польский мальчик, тот, что работал по ночам, спал. Его щека, прижатая к парте, побелела, а губы обвисли. Первым побуждением Марка Проссера было не трогать его. Однако, как ему показалось, это было продиктовано не искренней добротой, а самолюбованием: этакая добренькая поза, в которой он иногда заставлял сам себя. И, кроме того, одно нарушение дисциплины повлекло бы за собой другое. Он медленно подошел к парте, где сидел Сежак, и потрепал его по плечу. Мальчик проснулся.

На передних партах разрастался шум.

Питер Форрестер шептал что-то Глории, пытаясь рассмешить ее. Но лицо девочки оставалось холодным и торжественным. Казалось, у нее в голове родилась какая-то мысль, казалось, слова Марка Прос-

сера что-то пробудили в ней. Взяв себя в руки, Марк сказал:

— Питер, судя по всему, вы что-то хотите сказать в подтверждение ваших теорий?

Питер учтиво парировал:

— Нет, сэр. Честно говоря, я не понял монолога. Простите, сэр, что же все-таки он означает?

Столь странная просьба и простодушное признание потрясли класс. Светлые, круглые лица, полные желания в конце концов понять монолог, обратились к Марку. Он ответил:

— Не знаю. Я надеялся, что мне об этом расскажете вы...

В колледже подобное заявление, сделанное профессором, прозвучало бы весьма эффектно. Публичное самосожжение профессора во имя творческого сближения преподавателя и студента, совершенное с такой помпой, произвело бы большое впечатление на группу. Однако для 11-го «Д» невежество учителя словно дыра в крыше, беспорядок. Казалось, будто Марк одним движением руки разрубил сорок туго натянутых нитей, с помощью которых он держал на привязи сорок лиц. Головы завертелись, глаза опустились, зажужжали голоса.

— Тише! — крикнул Проссер. — Я обращаюсь ко всем. Поэзия — это вам не арифметика. В ней не существует однозначных ответов. Я не желаю вам навязывать свое мнение, я здесь не для этого...

Безмолвный вопрос — «А зачем же ты здесь?» — повис в воздухе.

— Я здесь, — сказал он, — затем, чтобы научить вас думать.

Поверили ли они ему или нет, было неясно, но так или иначе немного успокоились. Марк решил, что теперь он может вновь войти в свою роль: «я тоже человек». Усевшись на край парты, он начал дружески, доверительно:

— Ну, по-честному, неужели ни у одного из вас нет каких-то своих мыслей по поводу этих строчек, которыми вы бы хотели поделиться с классом, со мной?..

Чья-то рука со скомканным платком в цветочках неуверенно потянулась вверх.

— Выкладывай, Тереза, — сказал Проссер, — валяй!

Тереза была робкой и запуганной девицей.

— Они напоминают мне тени от облаков!

Джоффри Лангер засмеялся.

— Веди себя прилично, Джоффри, — тихо сказал Марк Проссер, а затем во всеуслышание: — Благодарю, Тереза! Мне кажется это интересным и ценным наблюдением. В движении облаков действительно есть нечто медленное и монотонное, что ритмично вызывает у нас ассоциацию со строкой «завтра, завтра, завтра...». А вот интересно, вам не кажется, что эта строка серого цвета?

Не было ни согласившихся, ни возразивших. А за окнами быстро сгущались настоящие облака. Блуждающие солнечные пятна проникли в класс. Грациозно поднятая над головой рука Глории покрылась золотом.

— Глория, — вызвал ее Проссер.

Она отвела свой взор от чего-то, что лежало на парте. Лицо ее залилось краской.

— А мне кажется, Тереза очень здорово сказала, — произнесла она, глядя в сторону Джоффри Лангера. Джоффри фыркнул вызывающе. — А еще я хотела спросить: почему так сказано — «дни ползут»?

— Словом «ползут» Шекспир хотел подчеркнуть обыденный смысл повседневной жизни, ну, скажем, такой, какую ведет бухгалтер или клерк в банке, или учитель, — сказал Марк, улыбаясь.

Она не ответила на его улыбку. Беспokoйные морщинки испещрили ее прекрасный лоб.

— Но ведь Макбет дрался в войнах, убивал королей, да и сам он был королем. И все такое... — сказала она.

— Да, но именно эти свои действия Макбет клеймит, говоря, что в них нет смысла. Понимаете?

Глория покачала головой:

— И потом вот еще что меня смущает... Ну, вот скажите, разве это не глупо: идет битва, только что скончалась жена, а Макбет стоит и разговаривает сам с собой, и все такое...

— Не думаю, Глория. Независимо от того, как быстро происходят события, мысль течет еще быстрее...

Ответ был неубедителен. Это стало ясно всем и без Глории, которая, как бы размышляя про себя, но достаточно громко, чтобы слышал весь класс, сказала:

— Все это как-то по-дурацки...

Марк сжался под пронзительными взглядами учеников; они, казалось, видели его насквозь. Он взглянул на себя их глазами и вдруг понял, как нелепо он выглядел: в старомодных очках, руки в мелу, волосы разлохмачены, запутавшийся весь в своей литературе, где в трудные минуты король бормотал никому не понятные стихи... Только сейчас он неожиданно оценил их потрясающие терпение и доверчивость, было великодушно с их стороны, что они не подняли его на смех. Он опустил глаза и попытался стереть с пальцев мел. Воздух в классе казался процеженным, такая стояла неестественная тишина.

— Уже много времени, — промолвил Марк наконец. — Начнем чтение отрывка, того, что вы учили наизусть. Бернард Ямилсон, начинайте.

У Бернарда не все было в порядке с дикцией, и отрывок он начал так:

— Завтва, завтва... завтва...

Хорошо хоть класс изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться. Против имени Бернарда в журнал Проссер поставил «отлично». Он всегда ставил Бернарду за чтение «отлично». Правда, школьная медсестра уверяла, что дело не в органических дефектах речи, а в небрежности.

Возможно, эта традиция и была жестокой, но так уж повелось в школе: читать выученные на память отрывки надо было у доски. Алиса, как только подошла ее очередь, была совершенно парализована первой же смешной рожей, которую скорчил ей Питер Форрестер. Марк, подержав ее с минуту у доски и видя, как лицо ее становится цвета спелой вишни, наконец сжалился.

— Попробуйте еще раз, позже, Алиса, — мягко сказал Марк.

Многие в классе неплохо знали отрывок, хотя почему-то пропускали слова «мы последний слог и видим».

Джоффри Лангер, как обычно, выпендривался, прерывая собственное чтение заумными вопросами:

— ...«Что всё вчера лишь озаряли путь». Хм... Разве можно так сказать — «все» и «вчера»?

— Можно. Слово «вчера» здесь используется образно, для создания впечатления прошлого. Продолжайте читать! Только без комментариев...

Что все-е-е вчера лишь озаряли путь

К могиле пыльной. Дотлевой, огарок!

Жизнь — это только тень.

— Да нет же, нет! — Проссер вскочил со стула. — Это поэзия, а у вас горячая каша во рту! Сделайте небольшую паузу после слова «пыльной»...

На этот раз Джоффри был искренне удивлен. Даже Марк сам не мог понять причину своего раздражения. Пытаясь объяснить его себе, он на какое-то мгновение вспомнил глаза Глории, бросившей на Джоффри взгляд, полный возмущения. И тут он увидел себя в глупейшей роли рыцаря Глории в ее войне с этим смышленным мальчишкой. Марк примирительно вздохнул.

— Поэзия состоит из строк, — начал он, поворачиваясь лицом к классу.

Глория передала записку Питеру Форрестеру.

Вот наглость! Писать записки в то время, как из-за нее достается парню. Марк перехватил записку. Он прочел ее про себя, но так, чтобы весь класс видел, хотя подобные меры воздействия презирал. В записке говорилось:

«Пит! Ты насчёт м-ра Проссера, пожалуй, не прав. Мне кажется, он — прелесть, и я очень много получаю от его занятий. В поэзии он как бог в небесах. Мне даже кажется, что я его люблю. Да, люблю. Так что вот!»

Проссер сложил записку и сунул её в боковой карман.

— Останьтесь после занятий, Глория, — сказал он, затем обратился к Джоффри: — Попробуем ещё раз. Начните сначала...

Пока мальчик читал отрывок, раздался звонок. Это был последний урок. Комната быстро опустела. В классе осталась лишь Глория.

Он не заметил, когда именно начался дождь, но лило уже вовсю. Марк ходил по классу, закрывая палкой форточки и опуская занавески. Капли дождя отскакивали от его рук. Разговор с Глорией он начал решительным голосом. И решительный голос, и процедура закрывания форточек предназначались для того, чтобы защитить их обоих от смущения.

— Так вот, насчет записок в классе...

Глория точно застыла за своей партой в первом ряду. По тому, как она сидела, сложив обнаженные руки под грудью, ссутулясь, он понял — ей зябко.

— Во-первых, мазюкать записки, когда говорит учитель, невоспитанно, — начал Марк, — а вторых, глупо писать то, что могло бы прозвучать не так дурацки, если бы это было сказано вслух...

Он прислонил палку к стене и пошел к своему столу.

— Теперь насчет любви. На примере этого слова можно показать, как мы опошляем наш язык. Сегодня, когда это слово мусолят кинозвезды и безголосые певички, священники и психиатры, оно просто означает весьма туманную привязанность к чему-либо. В этом смысле я «люблю» дождь, эту доску, эти парты, вас. Как видите, теперь оно ничего не значит... А ведь когда-то оно говорило о весьма определенных желаниях разделить все, что у тебя есть, с другим человеком. Пожалуй, пришла пора придумать новое слово. А когда вы его придумаете, — мой вам совет — берегите его! Обращайтесь с ним так, как если бы вы знали, что его можно истратить лишь один раз. Сделайте это если не ради себя, то хотя бы ради языка...

Он подошел к столу и кинул на него два карандашу, как бы говоря: «вот и все».

— Я очень сожалею, — сказала Глория.

Несказанно удивленный мистер Проссер пролепетал:

— Ну и зря...

— Но вы не поняли!

— Очевидно! И, вероятно, никогда не понимал. В вашем возрасте я был такой, как Джоффри Лангер...

— Не могли вы таким быть. Спорить могу. — Девочка почти плакала, он был в этом уверен.

— Ну и будет, будет, Глория. Беги! Забудем об этом...

Медленно, собрав книги, прижав их обнаженной рукой к груди, Глория вышла из класса. Она шла такой унылой, такой характерной для девочки-подростка шаркающей походкой, что ее бедра, казалось, проплыли над партами.

«Что нужно этим ребятам? — спрашивал себя Марк. — Чего они ищут? Скольжения, — решил он. — Научиться жить без трения, скользя. Скользить по жизни всегда ритмично, ничего не принимая близко к сердцу. Крутятся под тобой колесики, а ты, собственно, никуда и не едешь. Если существуют небесные кущи, то там, наверное, вот так и будет. Хм... «В поэзии он как бог в небесах». Любят они это слово. «Небеса» эти почти во всех их песнях...»

— Боже! Стоит и мурлыкает!

Марк не заметил, как вошел в класс Странк, учитель физкультуры. Уходя, Глория оставила открытую настежь дверь.

— А-а-а, — сказал Марк, — падший ангел!

— Боже, Марк, куда это ты вознесся?

— В небеса. И не вознесся. Я всегда как бы там. Не понимаю, почему ты меня недооцениваешь...

— Да-а, слушай-ка! — воскликнул Странк, как всегда распираемый сплетнями. — Ты насчет Мэри-Кисона слышал?

— Нет, — ответил Марк шепотом, подражая Странку.

— Ну и спустили же с него штаны сегодня!

— Да ну!

Как обычно, Странк расхохотался еще до того, как рассказал очередную историю.

— Ты ведь знаешь, каким дьявольским сердцеedom им себя считает!

— Еще бы! — сказал Марк, хотя знал, что Странк говорит это о каждом преподавателе.

— Глория Ангстром у тебя, да?

— Конечно.

— Ну так вот, сегодня утром Мэрки перехватывает записку, которую она написала, а в записке говорится, что она считает его чертовски интересным парнем и что она его любит...

Странк помолчал, ожидая, что Марк что-нибудь скажет. Он тоже молчал. Тогда он продолжал:

— Он был в таком восторге, что от него аж пар шел... Но... слушай дальше... То же самое произошло вчера с Фрайбергом на истории! — Странк расхохотался и хрустнул пальцами. — Девка слишком тупа, чтобы самой придумать такое. Мы все считаем, что это затея Питера Форрестера...

— Возможно, — согласился Марк.

Странк проводил его до учительской, на ходу описывая выражение на лице Мэркисона, когда Фрайберг (без всякой задней мысли, учти!) рассказал о происшедшем...

Марк набрал шифр на замке своей кабинки.

— Извини меня, Дэйв, — сказал он. — Меня в городе жена ждет...

Странк был чересчур толстокож, чтобы уловить неприязнь в голосе Марка.

— А мне надо топтать в спортзал, — сообщил он. — Маменькиных крошек не положено вести сегодня на воздух: дождь идет, того и гляди мамочки начнут писать ругательские записки учителю...

Все той же гусиной походкой он направился к спортзалу. Затем, обернувшись в конце коридора, крикнул:

— Только ты не говори сам-знаешь-кому!

Марк Проссер взял из кабинки пальто и натянул его, затем надел шляпу, влез в галоши, при этом больно придавив указательный палец, и снял зонтик с крючка. Он хотел раскрыть его прямо там, в пустом холле, шутки ради, но потом передумал.

А девчонка почти плакала. В этом он был уверен.

ДЖОН ЛЭНГДОН

«СИНИЙ ГАБАРДИНОВЫЙ КОСТЮМ»

В субботу, за несколько дней до школьного выпускного вечера, отец все продолжал пить. Прошло уже больше месяца, как он потерял работу, и почти две недели подряд он пил.

Выглядел он ужасно. Лицо его, обычно худое, очень загорелое, теперь распухло и покраснело. Глаза налились кровью, один глаз, который всегда был немного навывкате, теперь выдавался еще больше. Ему давно было пора побриться, но руки у него так сильно дрожали, что он не мог пользоваться опасной бритвой, а безопасную он употреблял лишь в редких случаях.

Отец являлся домой, как правило, не раньше полуночи, и шум, который он поднимал в соседней комнате, вечно меня будил. Он садился на край кровати и принимался скручивать сигареты из оберточной бумаги; табак он брал из жестяной фунтовой коробки, которую дедушка дарил ему каждый месяц. Готовые сигареты он клал на стул возле кровати. Затем он принимался курить, пить и разговаривал сам с собой и все грозил кому-то. Кулаками он умел работать здорово, но хватало его ненадолго, потому что он начинал задыхаться от астмы. Спустя немного он успокаивался и ложился спать. Храпел он очень громко, а от его кашля сотрясался весь дом. Сильный, раздражающий кашель мучил его по ночам. Он хрипел, задыхался, давился, словно пытался избавиться от чего-то внутри, что никак не хотело его отпускать, и сплевывал мокроту в картонную коробку, доверху наполненную обрывками газет. А по утрам, когда я, уходя в школу, заглядывал к нему в комнату, он обычно спал; голову и плечи его подпирали две подушки, так что казалось, будто он сидит. Пепельница всегда была полна окурков, две-три нетронутые сигареты лежали на стуле, а на полу возле кровати валялась пустая бутылка из-под виски.

Всю эту неделю мне не удавалось с ним поговорить. Утром мне не хотелось его будить только затем, чтобы сказать, что я иду в школу, а по возвращении из школы и не заставлял его. Но больше откладывать я не мог. В среду у нас должен был состояться выпускной вечер с вручением дипломов в большой аудитории, которая служила также гимнастическим залом; в одном конце зала находилась сцена, и днем во вторник там должна была происходить репетиция.

Я вошел в комнату и несколько раз потряс отца за плечо. Он проснулся, спустил ноги с постели и, усевшись на краю, закурил сигарету, а затем стал обеими руками растирать себе лицо. Я сказал ему, что мне нужен костюм.

— Но почему именно синий габардиновый? — спросил он. — Почему не подойдет серый или, например, коричневый? — Это были единственные два костюма, которые он имел.

Я сообщил отцу, что сказала по этому поводу мисс Хармен — наша учительница естествознания и классная руководительница. «Выпускной вечер, — сказала она, — это важное событие в жизни, в этот вечер все мальчики должны явиться в синих габардиновых или темных костюмах, а девочки — в белых фланелевых юбках и темных жакетах».

— Непонятная причуда, — сказал отец. — И ты думаешь, все ребята придут, вырядившись таким образом?

— Я не слышал, чтобы кто-нибудь из ребят возражал.

— А они и не скажут ничего, — заявил отец. — Если у кого не найдется такого костюма, он просто-напросто не явится. Тебе ведь все равно диплом выдадут, явись ты хоть в комбинезоне, и учиться ты дальше будешь. Разве не верно я говорю?

— Думаю, из-за этого меня из школы не выставят, — согласился я.

Отец говорил как-то шутливо, и я не знал, смогу ли объяснить ему все как следует: ведь я был старше всех в классе, я много пропускал школу и поэтому держался особняком, и явись я в другом костюме, это привлекло бы к себе ненужное внимание.

Когда мне было девять лет, отец с матерью разошлись, и я жил то с матерью, то с отцом. Мать часто переезжала с места на место, и каждый раз мы жили с ней в новом городе, так что мне вечно приходилось менять школу. В некоторых школах требования были очень высокие, и когда я приезжал в середине или конце семестра, меня заставляли начинать все заново. И к тому же не прошло еще и двух месяцев, как я поступил в эту школу, и у меня еще не было здесь настоящих друзей. Мне казалось, что их у меня никогда и не будет, если я не стану таким же, как все. Ни в одной школе, где я учился, не было так много детей из богатых или состоятельных семей, как в этой; они жили в красивых особняках, расположенных на Брентвудских высотах и в Вествуде, родители у многих работали на киностудиях, а у двоих были даже кинозвездами.

Отец спросил:

— Отметки у тебя хорошие, Нил?

— Хорошие, — ответил я.

— Ну а что важнее — отметки или одежда?

— Отметки, — сказал я. Ведь именно такой ответ он ожидал от меня услышать. Сам он окончил только пять классов, и ему очень хотелось, чтобы я получил образование. Он всегда говорил мне, что образование — это самая ценная вещь на свете и единственное, что у человека никто никогда не сможет отнять.

— Хорошо, Нил, — сказал он. — Попробую что-нибудь придумать.

Теперь он перестанет пить, я был в этом уверен. Но работать он еще не мог, даже если бы нашел работу, — слишком уж он ослабел.

Отец был хорошим кровельщиком. Заработок его зависел от того, сколько «квадратов» — квадратных метров — крыши ему удавалось покрыть. Случалось, он зарабатывал по тридцать долларов в день. Но на последней работе он ввязался в драку. И в этой драке избили управляющего строительной компании, которая строила много больших домов в Вествуде, на Беверли-Хиллс и на Брентвудских высотах. Управляющий обвинил во всем отца и, верно, оповестил об этом случае другие компании, потому что с тех пор отец нигде не мог получить работу.

Все это произошло больше месяца назад; походив недели две в поисках работы и везде получив отказ, отец запил.

Не знаю, как он умудрялся напиваться, не имея гроша в кармане. Занять он мог только у бабушки. Но у бабушки у самого ничего не было, кроме маленького домика за три квартала от нас, как раз по пути в школу, да пенсии, которую ему выплачивали в Доме ветеранов два раза в месяц. Пенсия была совсем небольшая, но бабушка уже несколько раз нас с отцом выручал. Он был очень хороший старик и время от времени давал мне доллар на карманные расходы, покупал отцу рубашку или галстук, дарил ему ежемесячно фунтовую банку табаку. Отец был у него единственным сыном, а я — единственным внуком.

Отец натянул штаны, сунул ноги в домашние туфли и прошел на кухню варить кофе. Он с трудом налил кофе в чашки и с трудом поднес чашку ко рту; при этом ему приходилось действовать двумя руками. Выпив две чашки кофе, отец задумчиво потрогал отросшую на лице щетину.

— Похоже, пора мне мои бакенбарды подравнять, — пошутил он.

Я сказал, да невредно бы, вид у него станет намного лучше. Он вытянул вперед правую руку и стал внимательно ее осматривать.

— Пожалуй, мне не справиться с моей старой бритвой, — сказал он, — что, если я возьму твою безопасную?

Я сказал, пожалуйста, пусть берет, но там осталось только одно лезвие, и я им бреюсь уже целый месяц. Отец только ухмыльнулся.

— Значит, оно еще достаточно острое, — сказал он.

Мы вышли с ним на веранду, и он намылил щеки и начал бриться. В воздухе стоял приятный запах мыльного крема, смешанный с ароматом перечных деревьев, ветви которых свисали над самым тротуаром. На противоположной стороне улицы и за оградой Дома ветеранов рядами выстроились высокие гладкоствольные эвкалипты; местами тонкая кора на них облезла. Листья эвкалиптов были серебристого цвета, молодые побеги — зеленые, а опавшие листья и похожие на желуди плоды высохли, потрескались и стали буро-желтыми. От них пахло каким-то лекарством. На стволах и ветвях перечных деревьев выступали капли клейкого сока, по ним ползали цепочки мелких черных муравьев.

Отец кончил бриться и надел рубашку, галстук и серый пиджак. Теперь он выглядел гораздо лучше. Порезался он всего в двух местах.

— Ну а теперь, я думаю, прежде всего мы пойдем навестим деда, — сказал он.

Верно, согласился я. Но где мог дедушка достать для меня синий габардиновый костюм, я себе не представлял. Единственно, в чем я его видел, был военный мундир цвета хаки. Такие мундиры выдавали солдатам в Доме ветеранов.

День был чудесный, солнце не слишком пекло, и дул приятный ветерок. Он качал верхушки эвкалиптов, и я шел и вспоминал, как сверкает медь водосточных желобов: по субботам, а иногда и по воскресеньям я помогал отцу, когда ему нужно было подработать. Будь у него сейчас работа, я пошел бы с ним и заработал бы достаточно, чтобы купить себе костюм в рассрочку. Отец платил мне по пять центов за связку кровельной дранки, которую нужно было поднимать на крышу и раскладывать вокруг, чтобы она была у него под рукой, когда понадобится, и несколько раз мне удавалось заработать по пять долларов в день.

Сидя на небольшой скамеечке, утыканной снизу гвоздями, чтобы она не соскользнула с крутой крыши, отец работал очень проворно. Рот его был набит гвоздями. Он клал дранку на нужное место и забивал гвозди двумя ударами молотка, да так ловко, что слышался только один сплошной звук: тат-тат, тат-тат, и стальной топорик двигался вверх-вниз, вверх-вниз, блестя на солнце и отливая синевой.

Иногда я приносил отцу воды напиться, и он усаживался прямо на крыше, доставал сигарету и принимался курить — чтобы перешибить вкус гвоздей во рту, говорил он. Два своих топорика он всегда держал в порядке, оттачивал их и выравнивал тем же точилом, которым подправлял свою бритву. Он проделывал это каждый вечер после ужина в те дни, когда имел работу, и, вспомнив об этом, я еще сильнее пожалел, что он ввязался в ту драку. Но когда мы шли к дедушке, мне не хотелось снова беречь старую рану.

Мы миновали два квартала, и тут отец вдруг закашлялся и остановился. Он ухватился за ствол молодого перечного дерева, сотрясаясь от приступа раздражающего кашля. По лицу его текли слезы.

— Проклятая астма, — произнес он, когда кашель немного приутих.

Я не стал говорить, что раньше, когда он не пил, астма его не беспокоила.

— Мы что-нибудь должны дедушке? — спросил он.

— Насколько мне известно, сказал я, долг наш равняется всего шести долларам, если, конечно, отец у него больше ничего не брал. Отец кивнул в ответ, и мы двинулись дальше, но уже медленнее.

Последние три дня, когда я по утрам шел в школу, дедушка поджидал меня, сидя в своей качалке на крыльце, и каждый раз у него были припасены для меня две однодолларовые купюры. Он не любил, когда я начинал его благодарить и говорить, что мы ему непременно вернем долг. В таких случаях он обычно хмурился, сдвигал мохнатые брови — они почти совсем скрывали его маленькие синие глаза, откашливался и отвечал, что его сын Джефф хороший парень и скоро наверняка станет на ноги. И говорил он так долго, что потом мне всю дорогу до школы приходилось бежать, чтобы не опоздать на урок. Он вспоминал те дни, когда служил солдатом на Филиппинских островах и в Никарагуа. И пока я стоял рядом с ним, он тыкал в меня своей сигарой и говорил:

— Не пей, Нил. Из-за этой самой выпивки ни у отца твоего, ни у меня ничего нет. Запомни.

Я обещал ему, что буду помнить, но знал, что дедушка и сейчас еще прикладывается к бутылке. Он позволял себе каждую неделю выпивать четвертинку ирландского виски.

Когда мы пришли, Дедушка был дома. Он сидел в старом кожаном кресле в крошечной гостиной, где стоял запах сигар и еще какой-то особый запах, присущий жилью одиноких стариков. В комнате была

полутьма, но мои глаза скоро привыкли. На стене позади кресла висела фотография бабушки и бабушки — бабушка умерла, когда мне сровнялось пять лет. Над этажеркой, на которой стоял старомодный граммофон с огромным медным блестящим рупором, висела на стене еще одна фотография. На ней была изображена группа солдат; среди них был и дедушка. Над фотографией к стене были прибиты две скрещенные пальмовые ветки. Ветки давным-давно засохли и пожелтели под слоем лака, и мне всегда казалось, что они вот-вот рассыплются. Дедушка качался в кресле и внимательно смотрел на отца.

— Вид у тебя неважный, — сказал он. — Как твое самочувствие?

— Если ты пришел из-за денег, Джефф, то много дать я не смогу, всего доллара два-три до получки.

— За деньги спасибо, старик, — сказал отец. — Но дело тут больше в Ниле. Ему нужен костюм для выпускного вечера.

Дедушка посмотрел на меня из-под насупленных бровей.

— Синий габардиновый костюм, — сказал я. — Или какой-нибудь темный. — И я передал дедушке слова мисс Хармен и рассказал, в каких костюмах придут другие ребята. Видимо, не желая выглядеть хуже других в классе, я в своем рассказе немного сгустил краски. Дедушка устремил взгляд в окно, на желтые деревянные строения Дома ветеранов, видневшиеся позади эвкалиптов. Ряды пальм окаймляли главную аллею сада; какие-то огромные черные птицы, то ли вороны, то ли ястребы, кружили в небе над домами и садом.

Дедушкины жесткие седые усы, кончики которых побурели от сигарного дыма, несколько раз сердито вздрогнули, он что-то проворчал насчет стада баранов — куда, мол, один, туда и все, или что-то в этом роде, я точно не расслышал, — и хмуро на меня посмотрел.

— Тебе, видно, очень хочется быть таким, как все, да, Нил? — спросил он.

Я сказал, что именно в этот раз мне хочется не выделяться среди других. Дедушка кивнул. Костлявыми пальцами он сжал полированную головку трости так, что суставы побелели от напряжения, а в его маленьких светло-голубых глазках заиграл веселый огонек. Он встал с качалки и пошел в спальню. Я слышал, как он там передвигает вещи, а когда он снова появился в дверях, в руках он держал костюм. От костюма сильно пахло нафталином.

Это был синий габардиновый костюм, неуклюжий и старомодный. Дедушка зацепил крючок вешалки за дверь гостиной и остановился, любуясь костюмом.

— Я его сшил себе много лет назад, — сказал он.

Отец подошел поближе и пощупал материю на рукаве.

— Прекрасный товар, — сказал он.

— Ноский, словно из железа сделан, — заметил дедушка. — Теперь такой материи ни за какие деньги не купишь. А о работе и говорить нечего.

— Верно, — согласился отец. — Ни за что не купишь.

Дедушка отвел назад плечи, выпятил грудь и стоял так, лишь слегка опираясь на трость.

— Давай посмотрим, как он на тебе сидит, Нил, — сказал он.

Я взял костюм и в спальне переоделся. Надев его, я понял, что он мне не годится.

Вроде и не очень велик, мы с дедушкой были почти одного роста. Но двубортный пиджак с неподложенными плечами как-то слишком сужался в талии и нелепо расширялся книзу. Пиджак был длиннее тех, что носили последние тридцать лет, а брюки заканчивались небольшими узкими манжетами, из-за чего ступни моих ног казались непомерно большими.

Отец, увидев меня в этом костюме, чуть не расхохотался. Лицо его перекошилось и покраснело, а больной глаз начал слезиться. Он поперхнулся, и у него начался приступ кашля и удушья.

— Проклятая астма совсем замучила, — сказал он дедушке, когда кашель отпустил его. Он внимательно осмотрел меня. — Не так уж плохо, Нил. Сойдет.

Говорил он так, словно рот у него был забит гвоздями. Я смотрел на его руки, на вывихнутый мизинец, на старые зажившие порезы и изуродованный большой палец левой руки, расплюснутый, с неровным выпуклым ногтем, похожим на ракушку.

— У Нила есть одно качество, — сказал он дедушке, оглядев меня со всех сторон. — Никто не ста-

нет отрицать, что он парень с головой.

Я никогда не обольщался насчет своих ног, не считал, что они у меня маленькие, но что они таких огромных размеров, этого я никогда не предполагал. Они казались длиной в милю. На лбу у меня выступил пот, и мне почудилось, что я не могу повернуться в этой маленькой гостиной, не наткнувшись на что-нибудь.

Отец, видимо, понял, что перегнул палку, потому что вдруг сказал:

— Не знаю, но мне кажется, для мальчика такой костюм немного старомоден.

Дедушка еще больше выпрямился.

— В этом костюме, Джефф, я венчался.

— Знаю, — сказал отец. — Это было сорок шесть лет назад в день святого Патрика, верно?

— Сорок семь, — поправил дедушка.

— Вот именно, отец. С тех пор моды немного изменились, а ты ведь знаешь, как ребята смотрят на эти вещи...

— Черт возьми, не пойму, куда ты гнешь, Джефф! — Дедушка ударил об пол своей тростью, и усы его при этом вздрогнули. — Может, ты хочешь сказать, что фасон костюма важнее, чем качество материала и хороший покрой?

Отец только плечами пожал, а дедушка добавил:

— Кроме того, Нил уже не мальчик. Он почти взрослый мужчина. Правда, Нил?

Дедушка сердито посмотрел на меня, сдвинув свои мохнатые брови, и я не мог понять, смеется он надо мной или нет. Я его недостаточно хорошо знал. Но мне казалось, во взгляде его было что-то, какая-то искорка, огонек, говоривший, несмотря на его свирепый взгляд, что он меня поддразнивает.

Я не знал, что ответить. Я не мог надеть этот костюм. Уж лучше было совсем бросить школу, чем показаться на выпускном вечере в таком наряде. Но как мне сказать об этом дедушке? Пока я пытался что-нибудь придумать, я заметил, что дедушкин взгляд смягчился, сердитое выражение исчезло. Он моргнул и попытался снова напустить на себя строгий вид, но глаза его подернулись влагой. Он опустил голову и уставился в пол.

— Я не надевал этот костюм с похорон Элин, — сказал он тихо.

Отец наблюдал за мной, я знал, но не мог заставить себя взглянуть на него.

— Я хотел надеть его в последний раз, — сказал дедушка, — когда меня положат рядом с Элин. — Адамово яблоко на его морщинистой шее задвигалось.

Приходит момент, когда ты вдруг перестаешь быть ребенком и становишься взрослым. Во всяком случае, делаешь значительный шаг в этом направлении. Это случается не тогда, когда ты впервые начинаешь бриться, или носить длинные брюки, или идешь вместе с отцом на работу. Это что-то иное, в этот момент с тобой что-то происходит. И когда это происходит, ты это чувствуешь. Многие вещи, мне кажется, ты еще продолжаешь воспринимать как ребенок, и это продолжается еще долгое время. Но с этого момента ты поступаешь так, как подсказывает тебе чувство долга. Дедушка сделал все, что мог, подарив мне свой костюм, и единственное, что мне оставалось, — надеть его на выпускной вечер и плевать на то, как посмотрят на меня ребята и все остальные.

И тем не менее, когда я осознал все, настроение мое не улучшилось.

— Замечательный костюм! — проговорил я. — Просто замечательный!

Дедушка поднял глаза и посмотрел на меня. На какую-то долю секунды взгляд его сделался ясным и молодым, но тут же затуманился, плечи опустились, он оперся на трость и снова стал стариком.

— Теперь костюм твой, Нил, — сказал он. — Когда пробьет мой час, найдется для меня какой-нибудь другой.

И прежде чем я успел его поблагодарить, дедушка открыл дверь и вышел на крыльцо. Он уселся в свое плетеное кресло-качалку и вынул сигару из жилетного кармана. Руки у него так дрожали, что он едва мог открыть перочинный ножик, который носил на цепочке от часов, и ему стоило большого труда отрезать кончик сигары. Раскурив сигару, дедушка стал качаться в кресле и наблюдать за Домом ветеранов, ожидая, когда кто-нибудь выйдет оттуда — он любил поболтать с людьми.

А у меня не лезло из головы, как я буду выглядеть в этом костюме, мне было как-то зябко и не по себе. И все же я твердо решил его надеть. Но только на выпускной вечер, а не на генеральную репетицию, которая должна была состояться во вторник днем.

Я сказал об этом отцу, и он одобрительно кивнул. Я знал, что он все понимает, и мне казалось, что он гордится мною.

Весь вторник я ловил на себе насмешливые взгляды ребят: они пришли в своих выходных костюмах, а на мне были мои старые вельветовые штаны и синяя рубашка, и я не сомневался, что они шушукуются на мой счет. Однако я заметил, что только на самых богатых мальчиках были изящные, модные костюмы из синего габардина. Несколько мальчиков победнее были в темных костюмах совсем не идеального покроя, и только два из них были из синего габардина. Но ни один из этих костюмов не выглядел таким старомодным и смешным, как тот, в котором собирался появиться я.

Днем, увидев мисс Хармен на репетиции, я сказал ей, что у меня будет костюм завтра вечером, но она в ответ только кивнула. Ей было не до меня, она очень волновалась, как пройдет репетиция.

Выстроившись, мы прошли на сцену и уселись на стулья — в первом ряду девочки, во втором мальчики, — пока все места не оказались заполнены. Анна Хендриксон, лучшая ученица, произнесла прощальную речь, а Колби Энос прочел стихи о нашем классе собственного сочинения. Мисс Хармен и старый мистер Эсбау, директор школы, не читали свои речи целиком, чтобы не затягивать репетицию. Пока выступала Анна и Колби читал стихи, я смотрел на пустой зал, гимнастические кольца и параллельные брусья, площадку для баскетбола и баскетбольные сетки, на высокие запыленные сводчатые окна и думал о девочках. Все они без исключения выглядели такими аккуратненькими и хорошенькими в белых фланелевых юбках и темных жакетах.

Речи закончились, мы все встали — сначала девочки, потом мальчики, — шеренгой сошли со сцены, сделали поворот и прошли обратно; по мере того как называли наши фамилии, мы продвигались вперед, так что человек пять все время стояли возле сцены на виду у всего зала. Тот ученик, фамилию которого называли, проходил вдоль сцены, делал вид, что получает диплом, и снова садился на свое место. Все шло отлично.

Мисс Хармен, которая вызывала нас и разыгрывала церемонию вручения дипломов, после того как репетиция закончилась, окликнула меня.

— Ну как, Нил, ты сможешь достать темный костюм? — спросила она.

— Да, мэм, — ответил я, — завтра вечером я приду в нем.

Вот и прекрасно, — сказала она и улыбнулась мне. — Пока что все идет хорошо, и так хочется, чтобы все было в порядке, правда? — Она перестала улыбаться и вдруг нахмурилась. — Но если тебе не удастся, ну... я хочу сказать, если ты боишься, что не сумеешь раздобыть костюм... я хочу сказать, в таком случае я могу тебе его достать.

Я видел, что она говорит серьезно. Она постарается как-нибудь достать мне костюм, в этом я не сомневался. Мне нужно было только сказать ей, что у меня нет костюма. И мне хотелось это сделать. Мне так сильно хотелось сказать ей это, что я даже покраснел, а губы от волнения пересохла и вспухли. Но я не мог сказать ей этого.

— Нет, мэм, — сказал я. — У меня есть костюм. Его... его просто чистят и утюжат.

— Очень хорошо, Нил.

Мисс Хармен отошла к директору, который разговаривал с Анной Хендриксон, и все втроем они вышли из зала.

На следующий день после ужина я надел костюм, начистил ботинки, а отец дал мне одну из своих белых рубашек и самый лучший галстук. Когда настало время идти, он спросил меня, не пойти ли ему со мной. Он хотел бы присутствовать на выпускном вечере. Я ответил, не надо, лучше мне быть там одному, и, кроме того, я решил пройтись пешком все пятнадцать кварталов до школы, чтобы немного собраться с мыслями и успокоиться. Тогда отец сказал, чтобы я зашел к дедушке, пусть тот посмотрит, как я выгляжу в костюме.

— Я как раз и думал это сделать.

Отец положил мне руку на плечо.

— Хорошо, Нил. Желаю тебе удачи. Не так уж нее плохо, как подчас кажется.

Я хотел объяснить ему, как я себя сейчас чувствую, но промолчал.

Дедушка готовил ужин, когда я пришел. Осмотрев меня с головы до ног, он одобрительно кивнул; глаза его радостно заблестели.

— Подожди минутку, Нил, — сказал он, пошел в спальню и принес оттуда золотые часы с цепочкой.

Я знал эти часы. Такие часы носят железнодорожники, они на двадцати камнях, а чтобы перевести стрелки, надо открыть крышку и вытащить сбоку маленький рычажок. Часы были очень хорошие, у дедушки они хранились с давних пор, но носил он их редко. Я почувствовал, как слезы подступают к горлу, мне не хотелось брать у него эти часы.

— Я думал оставить их тебе в наследство, Нил, — сказал дедушка. — Но ты стал взрослым мужчиной и, я думаю, уже можешь их носить.

Я завел часы, поставил стрелки и положил часы в жилетный карман. Совсем как дедушка, только у него были другие часы. Дедушка пожал мне руку и пожелал удачи.

На улице меня начал тряссти озноб, хотя вечер был теплый. Времени было много, и я шел медленно. На каждом углу горели голубовато-белые дуговые лампы, и свет их пронизывал листву эвкалиптов, росших на другой стороне улицы, и перечных деревьев, вершины которых терялись во тьме, бросал на мостовую и тротуар густые синие тени. Старые деревянные домики с освещенными окнами казались в этом полумраке невзрачными и заброшенными.

Я поравнялся со школьной оградой, вошел во двор и ступил на площадку для игр. Меня трясло сильнее прежнего; свет, лившийся из окон школы, будто жег меня.

Дойдя до середины площадки, я долго стоял, весь дрожа. Я сжал зубы так крепко, что у меня свело челюсти, и я чуть было не повернул и не пошел обратно к воротам. Но, когда я вспомнил, как дедушка дарил мне свой костюм и свои замечательные часы, я понял, что обратного пути теперь нет. Я пересек площадку, обошел здание сзади и по дорожке, посыпанной гравием, подошел к запасному выходу. Двойные железные двери, от которых шел бетонированный скат, были открыты. Со сцены слышались голоса, и я видел, как там бегали ребята, но не мог их как следует разглядеть. Занавес был опущен и сцена ярко освещена, но перед глазами у меня как-то все расплывалось. Незаметно я пробрался в темный угол между занавесом и грудой декораций из холстины, так что меня никто не заметил.

Мисс Хармен выглядела сегодня совсем по-иному, как-то моложе. На ней было длинное белое платье и нечто вроде темной накидки или жакета, а на плече приколоты цветы. Мисс Хармен была маленькой полной женщиной, но сегодня она стала словно выше ростом и худее, ее можно было даже принять за одну из учениц. Она что-то сделала со своими волосами, видно, изменила прическу, потому что седые пряди куда-то исчезли. И очки, из-под которых нос ее всегда торчал, словно пуговица, она тоже сняла.

Учительница прохаживалась по сцене, где все еще резвились ребята. Видимо, она проверяла, все ли пришли, и время от времени с некоторыми переговаривалась. Она подошла ко мне почти вплотную и только тогда меня заметила.

— Это ты, Нил?

— Да, мэм, — ответил я. Мне пришлось выйти из своего убежища. Она несколько раз моргнула, делая над собой усилие, и мне казалось, что она вот-вот рассмеется. Но она не засмеялась. Она словно чего-то даже испугалась. Рот ее слегка приоткрылся, а глаза, маленькие, голубовато-серые, увлажнились, как глаза отца в то утро, когда я впервые у дедушки в доме примерил костюм. Затем она опустила глаза, и я понял, что она смотрит на мои ноги. Когда она подняла голову, лицо у нее было красное, а глаза блестели. Губы ее сжались в тонкую линию. В этот момент я проклинал себя за то, что согласился надеть костюм, проклинал и выпускной вечер, и все на свете.

Однако дело на этом не кончилось. Я заметил, как все вдруг притихли и усталились на меня — даже старый мистер Эсбау, директор.

И вдруг Физел Ньюбар — отец его был владельцем знаменитой компании «Кофе Ньюбар», а сам он был из тех парней, которые воображают, что они умнее всех, — опросил:

— Ты зачем так вырядился, Нил? Для маскарада, что ли?

Раздался смех, и Физел продолжал:

— Ты кого, собственно, изображаешь, старика Эйба Линкольна? А где тогда твой цилиндр?

На этот раз никто не засмеялся, и чей-то голос сказал:

— Брось, Физ.

И тут впервые за все время в глазах у меня прояснилось — я увидел мисс Хармен, мистера Эсбау, девочек, мальчиков и Физела, с которым я одной рукой мог бы справиться. Все они улыбались. Даже старый Эсбау, про которого говорили, что он всю свою жизнь ни разу не засмеялся, весело улыбался всем своим длинным лошадиным лицом. Мисс Хармен тоже улыбалась и кусала нижнюю губу так, словно стеснялась своей улыбки и пыталась ее спрятать. Я видел, как она переглянулась с мистером Эсбау. Директор слегка наклонил голову, а мисс Хармен едва заметно кивнула в ответ и сжала губы.

Я понял, что сейчас она спросит меня, не хочу ли я получить свой диплом попозже или еще что-нибудь в этом роде.

Но, прежде чем она успела что-нибудь оказать, Раймонд Данбар, любимец всего класса и самый лучший подающий в бейсболе, который всегда начинал подачу в игре на первенство с командой старших классов, подошел ко мне, положил мне руку на плечо и сказал:

— Ну как дела, Нил? — или что-то в этом роде.

Я не помню, что я ему ответил, но помню только, что он спросил, какие у меня планы на сегодня, и, когда я ответил, что никаких, он сказал:

— Ну а может, ты зайдешь ко мне, когда все кончится? Мы собираемся целой компанией на пляж — поплаваем и костер разложим.

Я сказал, что у меня нет купальных трусов, а он на это ответил, что у него есть лишние и он может мне одолжить — мы с ним почти одного роста. А потом, перед тем как подняли занавес, ко мне подходили и другие ребята, с которыми мне никогда раньше не приходилось разговаривать. Каждый из них что-нибудь говорил мне, или хлопал меня по спине, или толкал в бок, а другие мальчики приветственно махали мне рукой и ухмылялись. Все это делалось по-дружески, и я почувствовал себя лучше. Девочки тоже смотрели на меня. Но когда я ловил их взгляды, они отворачивались, и я заметил, как Анна Хендрик-сон улыбнулась. Она не смеялась надо мной, вовсе нет, просто приветливо улыбнулась.

Старый мистер Эсбау и мисс Хармен, пока все это происходило, как-то странно переглядывались, и мисс Хармен вдруг стала рассаживать нас по местам. И когда поднялся занавес, я сидел на сцене среди ребят и у меня было легко и приятно на душе, и так продолжалось, пока мы не встали и не промаршировали со сцены. Я почти забыл про свой костюм, пока не подошел к самому краю сцены, где мне пришлось стоять на виду у публики. Тут сердце мое стало биться так сильно, что я едва улавливал фамилии, которые называли, а в глазах у меня рябило.

То, что произошло потом, я, видно, никогда не смогу по-настоящему понять.

Как только я вышел из-за занавеса и очутился перед публикой, наступила какая-то странная тишина. Я хорошо слышал то, что говорила мисс Хармен, я слышал даже, как дышат люди, сидящие в первых рядах на складных стульях.

Парень, что стоял впереди меня, пошел получать диплом, и я оказался первым в шеренге. И только я оказался на виду у всех, какой-то мужской голос грубо захохотал. Но едва раздался этот хохот, как кто-то зашипел: «Ш-шш!» — и тут же стали шипеть и другие: «Ш-шш!»

Я услышал, как мисс Хармен произнесла мое имя, и, когда я пошел вдоль сцены, раздался хлопок. Сначала захлопал один, потом другой, и пока я шел вдоль сцены, а затем получал диплом, казалось, все собравшиеся в зале аплодировали мне.

Никогда в жизни я так не удивлялся. Хлопали только ораторам и автору стихов, больше никому, а тут даже после того, как я сел на свое место, они все продолжали аплодировать.

Никогда в жизни мне никто не аплодировал. Такое случилось впервые.

ТРУМЭН КАПОТЕ



«ДЕТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Вчера вечером шестичасовой автобус переехал мисс Боббит. Сам не знаю, как мне рассказывать об этом: ведь что там ни говори, мисс Боббит было всего десять лет, и все же я уверен — в нашем городе ее никто не забудет. Начать с того, что она всегда поступала необычно, с той самой минуты, когда мы впервые ее увидели, а было это около года тому назад. Мисс Боббит и ее мать, они приехали этим же самым шестичасовым автобусом — он прибывает из Мобила и идет дальше. В тот день было рождение моего двоюродного брата Билли Боба, так что почти все ребята из нашего городка собрались у нас. Мы как раз угощались на веранде пломбиром «тутти-фрутти» и обливным шоколадным тортом, когда из-за Гиблого поворота с грохотом вылетел автобус. В то лето не выпало ни одного дождя; все было присыпано ржавой сушью, и, когда по дороге проходила машина, пыль иной раз висела в недвижном воздухе по часу, а то и больше. Тетя Эл говорила — если в ближайшее время дорогу не замостят, она переедет на побережье; впрочем, она говорила это уже давным-давно.

В общем, сидели мы на веранде, и «тутти-фрутти» таяло у нас на тарелочках, и только нам всем подумалось — а хорошо бы сейчас произошло что-нибудь необычайное, — как оно и произошло: из красной дорожной пыли возникла мисс Боббит — тоненькая девочка в нарядном подкрахмленном платье лимонного цвета. Она важно выступала с таким взрослым видом: одну руку уперла в бок, на другой висел большой зонт, какие носят старые девы. За нею плелась ее мать — растрепанная, изможденная женщина с голодной улыбкой и тихим взглядом, тащившая два картонных чемодана и заводную виктролу.

Все ребята на веранде до того обомлели, что, даже когда на нас с жужжанием налетел осиный рой, девочки забыли поднять свой обычный визг. Все их внимание было поглощено мисс Боббит и ее матерью — они как раз подошли к калитке.

— Прошу прощения, — обратилась к нам мисс Боббит (голос у нее был шелковистый, как красивая лента, и в то же время совсем еще детский, и дикция безупречная, словно у кинозвезды или учительницы), — но нельзя ли нам побеседовать с кем-нибудь из взрослых представителей семьи?

Относилось это, конечно, к тете Эл и до некоторой степени ко мне. Но Билли Боб и остальные мальчишки, хотя всем им было не больше тринадцати, потянулись к калитке вслед за нами. Поглядеть на них, так они в жизни девочки не видели. Такой, как мисс Боббит, — определенно. Как говорила потом тетя Эл — где это слыхано, чтобы ребенок мазался? Губы у нее были ярко-оранжевые, волосы, напоминавшие театральный парик, все в локонах, подрисованные глаза придавали ей бывалый вид. И все же была в ней какая-то сухощавая величавость, в ней чувствовалась леди, и, что самое главное, она по-мужски прямо смотрела людям в глаза.

— Я мисс Лили Джейн Боббит, мисс Боббит из Мемфиса, штат Теннесси, — торжественно изрекла она.

Мальчишки устали себе под ноги, а девочки на веранде во главе с Корой Маккол, за которой в то время бегал Билли Боб, разразились пронзительным, как звуки фанфар, смехом.

— Деревенские ребяташки, — проговорила мисс Боббит с понимающей улыбкой и решительно крутанула зонтиком. — Мы с матерью, — тут стоявшая позади нее простоватая женщина отрывисто кивнула, словно подтверждая, что речь идет именно о ней, — мы с матерью сняли здесь комнаты. Не будете ли вы так любезны указать нам этот дом? Его хозяйка — некая миссис Сойер.

— Ну конечно, — сказала тетя Эл, — вон он, дом миссис Сойер, прямо через дорогу. Это единственный пансион у нас в городе, старый, высокий, мрачный дом, и вся крыша утыкана громоотводами, — миссис Сойер до смерти боится грозы.

Зарумянившись, словно яблоко, Билли Боб вдруг сказал — простите, мэм, сегодня такая жарница и вообще, так не угодно ли отдохнуть и попробовать «тутти-фрутти»; и тетя Эл тоже сказала — да, да, милости просим; но мисс Боббит только качнула головой.

— От «тутти-фрутти» очень полнеют, но все равно мерси вам от души.

Они стали переходить улицу, и мамаша Боббит поволокла чемоданы по дорожной пыли. Вдруг мисс Боббит повернула обратно: лицо у нее было озабоченное, золотистые, как подсолнух, глаза потемнели, она чуть скосила их, словно припоминая стих.

— У моей матери расстройство речи, так что я вынуждена говорить за нее, — торопливо сказала она и тяжело вздохнула. — Моя мать — превосходная портниха; она шила дамам из лучшего общества во многих городах, больших и маленьких, включая Мемфис и Таллахасси. Вы, разумеется, обратили внимание на мое платье и пришли от него в восторг. Это работа моей матери, каждый стежок сделан вручную. Моя мать может скопировать любой фасон, а совсем недавно она получила приз от журнала «Спутник хозяйки дома» — двадцать пять долларов. Моя мать знает также любую вязку — крючком и на спицах — и делает всевозможные вышивки. Если вам понадобится что-нибудь сшить, обращайтесь, пожалуйста, к моей матери. Пожалуйста, порекомендуйте ее своим друзьям и родственникам. Спасибо.

И она удалилась, шурша накрахмаленным платьем.

Кора Маккол и остальные девочки, озадаченные, настороженные, нервно дергали ленты у себя в волосах, они что-то скисли, лица у всех вытянулись. Я мисс Боббит, передразнила Кора и состроила злобную гримасу, а я принцесса Елизавета, вот я кто, ха-ха-ха! А платье-то, сказала Кора, самое что ни на есть муровое. И вообще, я лично выписываю все свои платья из Атланты, а еще есть у меня пара туфель из Нью-Йорка, и уж не говорю о том, что серебряное кольцо с бирюзой мне прислали из Мехико-Сити, из самой Мексики.

Тетя Эл сказала — зря они так обошлись с приезжей, ведь она такая же девочка, как они, да к тому же нездешняя. Но девочки бесновались, как фурии, а кое-кто из мальчишек — те, что поглупей и любят водиться с девочками, — взяли их сторону и понесли такое, что тетя Эл залилась краской и сказала —

она сейчас же отправит их по домам и все-все расскажет ихним папашам, чтобы взгрели их хорошенько. Но исполнить свою угрозу тетя Эл не успела, и причиной тому была мисс Боббит собственной персоной — она появилась на веранде сойеровского дома в новом и совсем уже странном одеянии.

Ребята постарше, как, скажем, Билли Боб и Причер Стар, которые упорно отмалчивались, покуда девчонки язвили по адресу мисс Боббит, и только мечтательно поглядывали затуманенными глазами на дом, где она скрылась, разом повскакали и пошли к садовой калитке. Кора Маккол фыркнула и презрительно выпятила губу, но мы, остальные, тоже поднялись с мест и расселись на ступеньках веранды. Мисс Боббит не обращала на нас ни малейшего внимания. В сойеровском саду темно от тутовых деревьев, он весь зарос шиповником и бурьяном. Иной раз после дождя шиповник пахнет так сильно, что даже у нас в доме слышно. Посреди двора стоят солнечные часы — миссис Сойер воздвигла их еще в тысяча девятьсот двенадцатом году над могилкой бостонского бульдога по кличке Солнышко, который издох, умудрившись вылакать ведро краски. Мисс Боббит величественной походкой спустилась с веранды, держа в руках виктролу, поставила ее на солнечные часы, завела и пустила пластинку — вальс из «Графа Люксембурга». Уже почти стемнело; наступил час летающих светлячков, когда воздух становится голубоватым, как матовое стекло, и птицы, поспешно слетаясь в стайки, рассеиваются затем в складках листвы. Перед грозю цветы и листья словно бы излучают свой собственный свет, их окраска становится ярче; так и мисс Боббит в пышной, похожей на пуховку белой юбочке и со сверкающей повязкой из золотой канители в волосах, казалось, вся светится в сгущающихся сумерках. Выгнув над головой руки с поникшими, словно головки лилий, кистями, она встала на пуанты и простояла так довольно долго. Тетя Эл сказала — вот молодчина какая. Потом она принялась кружиться под музыку, кружилась, кружилась, кружилась. Тетя Эл даже сказала — ой, у меня уже все перед глазами плывет. Останавливалась она лишь для того, чтобы завести виктролу. Уже и луна скатилась за гребень горки, и отзвонили колокольчики, сзывавшие семьи к ужину, и все ребята разошлись по домам, и стал раскрывать свои лепестки ночной ирис, а мисс Боббит все еще была там, в темноте, и кружилась без устали, словно волчок.

Потом она несколько дней не показывалась. Зато теперь к нам зачастил Причер Стар, он являлся с утра и торчал до самого ужина. Причер — худущий, как жердь, парнишка с огромной копной ярко-рыжих волос; у него одиннадцать братьев и сестер, но даже они его боятся, — нрав у него бешеный, и он знаменит на всю округу своими дикими, злобными выходками: четвертого июля он так отдубасил Олли Овертона, что того пришлось отвезти в больницу в Пенсаколу, а в другой раз он откусил у мула пол-уха, пожевал-пожевал и выплюнул. Пока Билли Боб не вымахал такой здоровенный, Причер и над ним измывался черт знает как: то набьет ему репьев за шиворот, то вотрет перцу в глаза, то изорвет тетрадку с домашним заданием. Зато сейчас они самые закадычные дружки во всем городе; и повадки у них одинаковые и разговоры; иногда они оба пропадают по целым дням — одному богу известно где. Но в те дни, когда мисс Боббит не показывалась, они все время вертелись около дома — то стреляли из рогатки по воробьям, усевшимся на телефонных столбах, то Билли Боб брэнчал на гавайской гитаре, и оба они что есть мочи горланили:

Отпиши-ка мне, милашка,
От тебя я писем жду.
Отпиши мне поскорее
В Бирмингемскую тюрьму.

Орали они так громко, что дядюшка Билли Боб (он у нас окружной судья) уверял — их даже в суде было слышно. Но мисс Боббит не слышала их; во всяком случае, она ни разу носа за дверь не высунула. Потом зашла к нам как-то миссис Сойер одолжить чашку сахара и много чего наболтала про своих новых постояльцев. А знаете, сыпала она, прижмуривая блестящие, как у курицы, глазки, папаша-то ихний — мошенник, да-да, девчушка мне сама говорила. Стыда у нее ни на грош. Лучше моего папочки, говорит, на свете не сыщешь, а уж поет он слаще всех в Теннесси... Тогда я и спрашиваю — а где же он, кисонька? А она мне как ни в чем не бывало — да он, говорит, в каторжной тюрьме, и у нас от него никаких вестей. Ну что вы на это скажете — просто кровь стынет в жилах, а? И еще я так думаю — ее мама, думаю, не иначе как иностранка какая: никогда слова не скажет, а другой раз сдается мне — ничегошеньки она не пони-

мает, что ей говорят. Да, потом, знаете, — они все едят сырое. Сырые яйца, сырую репу, сырую морковь. А мясо в рот не берут. Девчушка говорит, это для здоровья полезно, а вот и нет! Сама-то она с прошлого вторника пластом лежит, у ней лихорадка.

В тот же день тетя Эл, выйдя полить свои розы, обнаружила, что они все исчезли. Розы эти были особенные, она собиралась везти их в Мобил на выставку цветов и потому, ясное дело, тут же устроила небольшую истерику. Позвонила шерифу и говорит — вот что, шериф, давайте-ка приезжайте сию же минуту. Такое дело — тут кто-то срезал все мои розы «леди Энн», а я с ранней весны хлопотала над ними, все сердце, всю душу в них вкладывала. Когда машина с шерифом остановилась у нашего дома, все соседи вылезли на веранды, а миссис Соьер, с белым от крема лицом, затрусилась к нам через улицу. Тьфу ты пес, — пробурчала она, страшно разочарованная тем, что у нас никого не убили, тьфу ты, да никто их не крал, эти розы. Ваш Билли Боб притащил их к нам, розы эти, и велел передать малышке Боббит.

Тетя Эл не сказала ни слова. Она подошла к персиковому дереву, срезала ветку и сделала из нее хороший прут. Ну-у-у, Билли Боб, выкрикивала она, идя по улице. Ну-у-у, Билли Боб. Она обнаружила его у Лихача в гараже — они с Причером сидели и смотрели, как Лихач разбирает мотор. Она безо всяких подняла Билли Боба за вихры и потащила домой, что есть силы нахлестывая прутом. Но так и не заставила его просить прощения и не выжала из него ни слезинки. Когда тетя Эл наконец выпустила его, он убежал на задний двор, забрался на самую верхушку высоченного pekanового дерева и поклялся, что оттуда не слезет. Потом к окну подошел его отец и стал громко его уговаривать: сынок, мы на тебя больше не сердимся, слезай, ужинать пора. Но Билли Боб — ни в какую. Вышла тетя Эл, она припала к дереву, и голос у нее стал мягкий, как чуть затеплившийся день. Ну не сердись, сынок, говорила она, я же не хотела так сильно тебя отхлестать. А ужин-то, сынок, я приготовила какой вкусный — картофельный салат, вареный окорок, фаршированные яйца. Но Билли Боб твердил — уходи, не надо мне твоего ужина, ненавижу тебя, не-на-ви-жу! Тогда его отец говорит — нельзя так с матерью разговаривать, и тетя Эл заплакала. Она стояла под деревом, и плакала, и утирала глаза подолом. Да я ж не со зла, сынок... Да когда б я тебя не любила, разве стала бы я тебя драть... Листья pekanа зашелестели, Билли Боб медленно сполз с дерева, и тетя Эл, взъерошив ему волосы, притянула его к себе. Ох, мам, приговаривал он, ох, мам...

После ужина Билли Боб пришел ко мне в комнату и улегся у меня в ногах на кровати. От него пахло чем-то кислым и сладковатым, мальчишки всегда так пахнут, и мне стало ужасно жаль его, он был такой удрученный, даже глаза прикрыл. Но так ведь положено — когда люди болеют, посылать им цветы, сказал он вполне резонно. Тут мы услышали виктролу, отдаленный ритмичный звук, в окошко влетела ночная бабочка и закачалась в воздухе, нежная, слабая, как эта музыка. Уже стемнело, и мы не могли разглядеть, танцует ли мисс Боббит. Билли Боб, словно от боли, сложился вдвое, как складной нож, но лицо его вдруг просветлело, диковые мальчишеские глаза замерцали, как свечки. До чего же она мировая, зашептал он, никогда таких мировецких девчонок не видел. А, на фиг все, плевать мне, да я бы в Китае и то все розы пообрывал.

Причер тоже готов был пообрывать все розы в Китае. Он совсем ошалел от нее, как и Билли Боб. Но мисс Боббит не замечала их. Ее дальнейшее общение с нами ограничилось запиской к тете Эл — она благодарила за розы. День за днем просиживала она на веранде, разодетая в пух и прах, — вышивала, расчесывала локоны или читала словарь Вебстера; держалась со всеми сдержанно, но вполне дружелюбно: поздоровается, и она поздоровается в ответ. И все же мальчишки никак не могли набраться духу подойти к ней и завести разговор; обычно она их попросту не замечала, даже когда они носились по улице и вытворяли черт знает что, лишь бы привлечь ее внимание: боролись, играли в Тарзана, выделывали идиотские трюки на велосипедах. Невеселое это было дело. Многие девчонки по два, по три раза за час проходили мимо сойеровского дома, чтоб хоть одним глазком взглянуть на мисс Боббит. Среди них были Кора Маккол, Мэри Мэрфи — Джонс, Дженис Аккермэн. Но мисс Боббит и к ним не проявляла ни малейшего интереса. Кора перестала разговаривать с Билли Боббом, а Дженис — с Причером. Дженис даже прислала Причеру письмо — оно было написано красными чернилами на бумаге с узорным обрезаем, и в нем говорилось, что подлее его нет в целом свете, и у нее просто нет слов, и она разрывает их помолвку, и он может забрать обратно чучело белки, которое он ей подарил. Причер, желая все сделать по-хорошему,

— так он потом объяснял, — остановил Дженис, когда она в следующий раз проходила мимо нашего дома, и говорит — ладно уж, елки-палки, если она так хочет, то может оставить эту самую белку себе, — и совершенно не мог понять, с чего это Дженис вдруг разревелась и убежала.

Однажды мальчишки разошлись пуще обычного. Билли Боб напялил отцовскую форму, оставшуюся после войны, а Причер разгуливал без рубашки, и на груди у него старой губной помадой тети Эл была намалевана голая красotka. Выглядели они оба совершеннейшими кретинами, но мисс Боббит, полулежавшая на скамейке-качелях, при виде их только зевнула. Был полдень, на улице ни души, кроме цветной девчушки, по— детски пухленькой и смахивающей на круглый леденец. Она брела с ведерком ежевики в руке, что-то мурлыкая себе под нос. Мальчишки тут же прилипли к ней, словно рой мошкар; взявшись за руки, они не давали ей пройти — пускай заплатит пошлину. Да ни про какую я пошлину знать не знаю, твердила девчушка, какую такую вам пошлину, мистер? Прогулочку в амбар, прошипел Билли Боб сквозь зубы, веселенькую прогулочку в амбар. Девчушка надулась и, передернув плечами, сказала — да ну еще, какие такие амбары? В ответ Билли Боб опрокинул ее ведерко. С отчаянным поросычьим визгом она бросилась собирать рассыпанную ягоду, тщетно пытаясь ее спасти, и тут Причер Стар — а он иногда бывает гнусней самого сатаны — как наподдаст ей, и она плюхнулась, словно желе, прямо в пыль, на ежевику. А с другой стороны улицы уже мчалась мисс Боббит, и ее указательный палец раскачивался, как метроном. Она хлопнула в ладоши, как заправская учительница, топнула, сердито сказала:

— Хорошо известно, что джентльмены для того и созданы на этой земле, чтобы служить защитой для дам. Неужели вы думаете, что в таких городах, как Мемфис, Нью-Йорк, Лондон, Голливуд и Париж, мальчишки держат себя подобным образом?

Мальчишки попятились, спрятали руки в карманы. Мисс Боббит помогла цветной девчушке подняться, отряхнула с нее пыль, вытерла ей глаза и, протянув свой носовой платок, велела ей высморкаться.

— Хорошее дело, — сказала она, — красивое положение, чтобы дама среди бела дня не могла спокойно пройти по улице.

Затем обе они направились к дому миссис Сойер и сели на веранде, и потом целый год они были неразлучны, мисс Боббит и этот слоненок в юбке по имени Розальба Кэт. Сперва миссис Сойер подняла бучу — почему цветная девчонка целыми днями околачивается у нее в доме. Ну куда это годится, жаловалась она тете Эл, чтоб черномазая этак вот, у всех на виду, сидела, нахально развалилась, у нее на веранде; но, по-видимому, мисс Боббит обладала какими-то чарами; уж если она за что бралась, то делала все основательно и притом всегда действовала напрямик и с такою торжественной серьезностью, что людям ничего другого не оставалось, как подчиниться. Вот вам к примеру: сперва все торговцы у нас в городе пофыркивали, называя ее «мисс Боббит», но мало-помалу она стала для них просто мисс Боббит, и, когда она проносилась мимо, решительно крутя зонтиком, они отвешивали ей церемонные полупоклоны. Мисс Боббит твердила всем и каждому, что Розальба — ее сестра, и сперва это вызывало немало шуточек, но постепенно к этому привыкли, как и ко всем ее выдумкам, и никто из нас больше не улыбался, слыша, как они окликают друг друга: «Сестрица Розальба!», «Сестрица Боббит!»

А между тем сестрица Розальба и сестрица Боббит проделывали довольно странные вещи. Взять хоть эту историю с собаками. Дело в том, что у нас в городе множество бездомных собак — тут и терьеры, и легавые, и овчарки. В полуденные часы они небольшими стайками сонно трусят по горячим улицам и лишь дожидаются, покуда стемнеет и взойдет луна, чтобы громко завывать; и всю ночь напролет слышится этот тоскливый вой: кто-то умирает, кто-то уже мертв. Так вот, мисс Боббит обратилась к шерифу с жалобой: стая собак облюбовала себе место у нее под окошком, а у нее очень чуткий сон, это во-первых, но что самое главное — вот и сестрица Розальба тоже так считает, — что совсем не собаки, а нечистая сила. Шериф, разумеется, палец о палец не ударил, и тогда мисс Боббит взяла это дело в свои руки. В одно прекрасное утро, после особенно беспокойной ночи, мы видим: мисс Боббит шествует по улице, рядом — Розальба с цветочной корзинкой, доверху набитой камнями. Завидев собаку, они останавливаются, и мисс Боббит внимательно ее разглядывает; иной раз мотнет головой, но куда чаще кивает: да, сестрица Розальба, это одна из них! — после чего сестрица Розальба достает из корзинки камень, свирепо примеривается — и трах собаку между глаз.

А вот еще случай с мистером Гендерсоном, занимающим заднюю комнатку в пансионе миссис Сойер. Этот самый мистер Гендерсон — крошечный старичишка весьма крутого нрава; когда-то он рыл поисковые скважины в Оклахоме, а сейчас ему лет под семьдесят, и, как многие старики, он буквально помешан на отправлениях своего организма. Вдобавок он горький пьяница. Однажды он пил запоем целых две недели и только услышит, бывало, что мисс Боббит и сестрица Розальба прохаживаются по двору, как сразу взбегает по лестнице на самый верх и оттуда орет хозяйке, что в стенах завелись карлицы и хотят извести всю его туалетную бумагу. Вот уже на пятнадцать центов украли.

Как-то вечером, когда девочки сидели во дворе под тутовым деревом, мистер Гендерсон выскочил из дому в одной ночной рубашке и стал за ними гоняться. Ах так, орет, задумали у меня всю туалетную бумагу разворовать? Ну я вам покажу, карлицы окаянные! Эй, кто-нибудь, помогите, не то эти сучонки всю бумагу в городе разворуют, до последнего листочка!

Билли Бобу и Причеру удалось схватить Гендерсона, и они крепко держали его, покуда не подросли взрослые и не стали его вязать. Тогда мисс Боббит, которая держалась с изумительным хладнокровием, объявила мужчинам, что никто из них толком узла завязать не умеет, взялась за дело сама и сделала его на славу — у Гендерсона онемели руки и ноги, он потом целый месяц шага сделать не мог.

Вскоре после этой истории мисс Боббит нанесла нам визит. Явилась она в воскресенье. Я был в доме один, вся семья ушла в церковь.

— В церкви такой невыносимый запах, — сказала она и, слегка подавшись вперед, чинно сложила руки на коленях. — Впрочем, мне не хотелось бы, мистер К., чтобы вы сочли меня язычницей. У меня достаточно опыта, и я знаю — бог есть, и дьявол есть тоже. Но дьявола не приручишь, если ходить в церковь и слушать про то, какой он дурак и мерзкий грешник. Нет, возлюбите дьявола, как вы возлюбили Иисуса. Потому что он могущественная личность и, если узнает, что вы ему доверились, окажет вам услугу. Мне, например, он нередко оказывает услуги — вот как в балетной школе в Мемфисе... Я все время звала к дьяволу, чтобы он помог мне получить самую главную роль в ежегодном спектакле. И это благоразумно: видите ли, я понимаю, что Иисуса танцы ни капельки не интересуют. Да, в сущности, я звала к дьяволу совсем недавно — только он может помочь мне выбраться из этого городишка. Я ведь не здесь живу, если говорить точно. Мыслями я все время в каком-то другом, совсем другом месте, где все так красиво и все танцуют, знаете, как люди танцуют на улицах, и все такие славные, как дети в свой день рождения. Мой бесценный папочка говорил, что я витаю в облаках, но если бы он сам почаще витал в облаках, он бы разбогател, как ему того хотелось. В том-то и беда с моим папочкой — вместо того чтобы самому возлюбить дьявола, он дал дьяволу возлюбить себя. А я на этот счет большой молодец; я знаю: выход, который кажется нам не самым лучшим, а чуть похуже, очень часто как раз и есть самый лучший. Переезд в этот городишко — для нас не самый лучший выход, но раз уж я не могу продолжать здесь свою карьеру танцовщицы, значит, мне надо делать какой-нибудь маленький побочный бизнес. Именно этим я и занялась. Я единственный в округе агент по подписке на «Популярную механику», «Детектив на пятак», «Детскую жизнь» и другие журналы — весьма внушительный список. Право же, мистер К., я сюда не за тем явилась, чтобы что-нибудь вам навязать. Я так подумала: эти два мальчика, которые вечно здесь толкутся... Меня осенило — ведь они как-никак мужчины! Как вы полагаете, смогут они быть хорошими помощниками в моем деле?

Билли Боб и Причер трудились для мисс Боббит не за страх, а за совесть. И для сестрицы Розальбы тоже: она открыла торговлю каким-то косметическим снадобьем под названием «Росинка», и в их обязанности входило доставлять покупки ее клиенткам. К вечеру Билли Боб до того изматывался, что едва мог проглотить свой ужин. Тетя Эл говорила — это же ужас, на него смотреть жалко; и вот как-то раз, когда с Билли Бобом случился солнечный удар и он еле добрал до дома, она объявила — ну, теперь все, придется ему расстаться с мисс Боббит. Но Билли Боб стал ругаться на чем свет стоит, и отцу пришлось запереть его; тогда он сказал, что покончит жизнь самоубийством. Наша бывшая кухарка говорила ему, что если наестся капусты, хорошенько сдобренной черной патокой, то угодишь на тот свет — это как пить дать. Так он и сделал. Я умираю! — вопил он, катаясь по кровати. Я умираю, а всем наплевать!

Пришла мисс Боббит и велела ему умолкнуть.

— Ничего страшного у тебя нет, мальчик. Боль в животе, только и всего, — сказала она.

Потом все с него сорвала и с головы до ног крепко растерла спиртом. Тетя Эл, ужасно шокированная, сказала ей, что девочке это как-то не пристало, на что мисс Боббит ответила:

— Не знаю, пристало или не пристало, но, безусловно, очень освежает.

После чего тетя Эл сделала все, что было в ее силах, чтобы Билли Боб перестал работать на мисс Боббит, но его отец сказал — надо оставить мальчика в покое, пусть живет своей жизнью.

Мисс Боббит была весьма щепетильна в отношении денег. Комиссионные Билли Бобу и Причеру она выплачивала с величайшей точностью и никогда не позволяла им платить за нее в аптеке-закусочной и в кино, хотя они и порывались.

Лучше поберегите деньги, — говорила она. — То есть если вы собираетесь поступать в колледж. Поэтому что у вас у обоих мозгов не хватит, чтоб получить стипендию, — хотя бы ту, что дают футболистам.

Но именно из-за денег у Билли Боба с Причером вышла жуткая ссора. Суть, конечно, была не в деньгах: суть была в том, что они бешено ревновали друг к другу мисс Боббит. Словом, в один прекрасный день Причер ей заявил — и у него еще хватило наглости сделать это прямо в присутствии Билли Боба, — пусть она ведет свою бухгалтерию повнимательней, а то у него есть подозрение, что Билли Боб отдает ей не все деньги, которые собирает, и это не просто подозрение. Подлая ложь! — воскликнул Билли Боб. Чистым левым хуком он сбросил Причера с сойеровской веранды и прыгнул вслед за ним на грядку с настурцией. Но когда Причер его обхватил, Билли Бобу было уже не сладить с ним. Причер даже песок ему втер в глаза.

Во время всей этой катавасии миссис Сойер, свесившись из окна верхнего этажа, издавала пронзительный орлиный клекот, а сестрица Розальба в полном упоении выкрикивала: убей его! убей! убей! Кого она имела в виду — непонятно. Одна только мисс Боббит, по-видимому, точно знала, что ей делать: она открыла шланг для поливки и, подбежав к мальчишкам вплотную, хорошенько их окатила. Причер с трудом поднялся на ноги, громко пыхтя. Ох, радость моя, сказал он, отряхиваясь, словно мокрый пес, радость моя, ты должна сделать выбор.

— Какой выбор? — сердито оборвала его мисс Боббит.

Ох, радость моя, просипел Причер, не хочешь же ты, чтобы мы с Билли Бобом поубивали друг друга. Вот и реши, который из нас взаправду твой миленок.

— Миленок — скажите пожалуйста, — фыркнула мисс Боббит. — И как я только могла связаться с деревенскими ребятишками? Ну какие из вас выйдут бизнесмены? А теперь слушай, Причер Стар: не нужно мне никакого миленка, но уж если бы я его завела, это был бы не ты. О чем говорить, ты даже не встаешь, когда в комнату входит дама.

Причер сплюнул себе под ноги и вразвалочку подошел к Билли Бобу. Пошли, — сказал он как ни в чем не бывало, пошли, деревяшка она, и больше никто; ей только одного надо — хороших друзей перессорить.

На какой-то момент показалось, что сейчас Билли Боб и Причер удалятся в мирном согласии, но Билли Боб, вдруг спохватившись, подался назад и замотал головой. Долгую минуту глядели они друг на друга, и близость их переходила в другую, уродливую форму — ведь ненавидеть с такой силой можно только того, кого любишь. Все это было написано у Причера на лице. Но ему ничего другого не оставалось, как уйти. Да, Причер, такой ты был потерянный в тот день, что я впервые почувствовал к тебе настоящую симпатию — такой худуший, гадкий, потерянный брел ты по улице и до того одинокий.

Они так и не помирились, Билли Боб с Причером: и не то чтобы им не хотелось мириться, только вот не было какого-то простого способа возобновить дружбу. По и покончить с этой дружбой они не могли; один всегда знал, что затевает другой, а когда Причер завел себе нового друга, Билли Боб целыми днями места себе не находил: то за одно возьмется, то за другое, и все валится у него из рук, а то вдруг выкинет какой-нибудь дикий номер, — скажем, нарочно засунет палец в электрический вентилятор. По вечерам Причер иногда останавливался у нашей калитки поболтать с те гей Эл. Он оставался со всеми нами в дружеских отношениях, — я думаю, только для того, чтобы помучить Билли Боба, — и даже преподнес нам на рождество огромную коробку очищенного арахиса. Он и для Билли Боба оставил подарок, — ока-

залось, что это книжка про Шерлока Холмса, и на первом листе нацарапано: Если ты неверный друг, для тебя найдется сук. Сроду не видел такой муры, сказал Билли Боб, господи, вот балда! Но потом, хотя день был холодный, он убежал на задний двор, залез на пекановое дерево и до самого вечера просидел, скорчившись, в его по-декабрьски синеватых ветвях.

Но вообще-то он ходил счастливый — ведь у него была мисс Боббит, а теперь она стала с ним очень мила. Обе они с сестрицей Розальбой обращались с ним как с мужчиной; — то есть милостиво разрешали все для них делать. Зато они проигрывали ему в бридж, никогда не уличали его во лжи и не расхолаживали, когда он делился с ними своими заветными мечтами. Счастливая это была пора. Но с началом школьных занятий пошли новые беды. Мисс Боббит отказалась учиться.

— Это смешно, право же, смешно, — заявила она директору школы мистеру Копленду, когда он зашел, чтобы выяснить, почему она не является на занятия. — Я умею читать и писать, и кое у кого здесь, в городе, были все основания убедиться, что я умею считать деньги. Нет, мистер Копленд, поразмыслите-ка минутку, и вы сами поймете, что ни у вас, ни у меня нет на это ни времени, ни энергии. В конце концов, дело только в том, кто из нас первый дрогнет духом — вы или я. Да и потом, чему вы можете меня научить? Вот если б вы что-нибудь понимали в танцах, тогда другое дело, но при данных обстоятельствах, да, мистер Копленд, да, при данных обстоятельствах, на мой взгляд, нам обоим лучше предать это дело забвению.

Мистер Копленд, со своей стороны, вполне готов был предать дело забвению. Но весь город считал, что мисс Боббит следует хорошенько всыпать. Хорейс Дизли прислал в нашу местную газету статью под заголовком «Трагическая ситуация». Создается поистине трагическая ситуация, писал он, если какая-то девчонка может игнорировать конституцию Соединенных Штатов, — почему-то он выразился именно так. Статья кончалась вопросом: «Можем ли мы допустить, чтобы это сошло ей с рук?»

Но все-таки это сошло ей с рук. И сестрице Розальбе тоже. Впрочем, так как Розальба была цветная, всем было решительно наплевать, учится она или нет. А вот Билли Бобу не удалось так счастливо отделаться. Пришлось-таки ему ходить в школу. Но толку от этого было мало, он мог бы с таким же успехом сидеть дома. В первом же табеле у него красовались три плохие отметки — своего рода рекорд. Но вообще-то он парень смысленный, и, я думаю, ему просто было неважно столько часов подряд не видеть мисс Боббит; без нее он всегда был какой-то полусонный. И вечно лез в драку — то придет с фонарем под глазом, то с разбитой губой, то вдруг захромает. Насчет этих драк он никогда не распространялся, но мисс Боббит была достаточно проницательна, чтобы догадаться, в чем тут дело.

Я знаю, знаю, ты сокровище. И я тебя очень ценю, Билли Боб. Только не надо лезть из-за меня в драку. Конечно, люди болтают про меня всякие гадости. А знаешь почему? Ведь это комплимент своего рода. Потому что в глубине души они считают, что я просто замечательная.

И она была права: ведь если никто вами не восхищается, кому интересно вас ругать?

Но, по сути дела, мы и понятия не имели, какая она замечательная, пока в наших краях не объявился один тип, назвавшийся Мэнни Фоксом. Дело было в конце февраля. Впервые мы узнали о Мэнни Фоксе из зазывных афиш, расклеенных по всех лавках города:

ПОКАЗЫВАЕТ МЭННИ ФОКС
ТАНЕЦ ЖИВОТА — ДЕЙСТВУЕТ ЖИВОТВОРНО

А внизу помельче:

Сенсационная любительская программа —
выступают ваши соседи.
Первая премия — гарантированная кинопроба
в Голливуде.

Все это должно было состояться в следующий четверг. Входная плата — один доллар; по местным масштабам — целое состояние, но подобного рода греховные развлечения у нас здесь такая редкость, что

все раскошелились, и вообще вокруг этой затеи поднялась страшная кутерьма. Шалопаи, работавшие под ковбоев и целыми днями прохлаждавшиеся в аптеке-закусочной, всю неделю изощрялись в похабщине — главным образом по адресу исполнительницы танца живота, которая оказалась не кем иным, как миссис Мэнни Фокс. Остановились Фоксы за городской чертой, в Чеклвудском туристском кемпинге, но весь день проводили в городе, разъезжая в старом «паккарде», на всех четырех дверцах которого было выведено полное имя Фокса. Своей штаб-квартирой они сделали бильярдную, и под вечер их всегда можно было там застать — они потягивали пиво и перебрасывались шуточками с нашими городскими лоботрясами. Как выяснилось в дальнейшем, сфера деловой активности Мэнни Фокса не ограничивалась театральными представлениями. У него была еще своего рода контора по найму: исподволь он дал понять, что за вознаграждение в сто пятьдесят долларов может обеспечить любому предприимчивому парню в округе классную работенку на грузовых судах «Юнайтед фрут», курсирующих между Новым Орлеаном и Южной Америкой. Шанс, какой выпадает только раз в жизни, — так он выражался. У нас тут не найдется и двух ребят, которые могли бы набрать без труда хоть пять долларов, и все же человек десять умудрились наскрести нужную сумму. Ада Унллингем отдала сыну все, что сумела скопить на мраморного ангела, которого ей хотелось поставить на могиле мужа, а отец Эйсы Трампа продал свою привилегию на закупку хлопка.

Да, но что творилось в день представления! В этот день было забыто все — и закладные, и тарелки в кухонной раковине. Можно подумать, будто мы собираемся в оперу, сказала тетя Эл, — все так нарядились, раздумянились, от всех так хорошо пахнет. Давно уже «Одеон» не знал такого наплыва публики... Почти у каждого кто-нибудь из родных участвовал в любительской программе, так что волнений было много. Из всех выступающих мы знали толком одну мисс Боббит. Билли Боб весь извертелся: он снова и снова повторял нам, чтобы мы не хлопали никому, кроме мисс Боббит, но тетя Эл сказала — это было бы очень невежливо, и тут на него опять накатило, а когда его отец купил нам всем по мешочку поджаренных кукурузных зерен, он к своему и не прикоснулся — сказал, что боится засалить руки, и потом, чтобы мы, бога ради, не шумели и не вздумали грызть кукурузу, когда на сцену выйдет мисс Боббит.

То, что она участвует в конкурсе, вообще-то было для нас полнейшим сюрпризом. Правда, этого можно было ожидать, да мы и сами могли б догадаться по некоторым признакам — хотя бы по тому, что вот уже сколько дней она носу не высовывала за калитку, и по звукам виктролы, игравшей до глубокой ночи, и по тени, кружившейся на шторе, и по таинственному, важному виду, который принимала сестрица Розальба всякий раз, как у нее справлялись о здоровье сестрицы Боббит. Одним словом, имя ее значилось в программе, но, хотя оно стояло вторым, не появлялась она очень долго. Сперва вышел Мэнни Фокс, сверкая напояженной головой и шныряя глазами; он долго рассказывал анекдоты для курящих, похлопывая в ладоши и гогоча. Тетя Эл объявила, — если он расскажет еще один такой анекдот, она тут же уходит. Рассказать-то он рассказал, но уйти она не ушла. До мисс Боббит выступило одиннадцать человек, среди них — Юстасия Бернстайн, изображавшая кинозвезд (так, что все они смахивали на Юстасию), и совершенно бесподобный старикан, некий мистер Бастер Райли, лопоухий деревенщина, сыгравший на пиле «Вальсирующую Матильду». Пока что номер его оставался гвоздем программы, хотя, в общем-то, публика оказывала участникам конкурса довольно ровный прием: все хлопали щедро; все — это значит все, кроме Причера Стара. Он сидел на два ряда впереди нас и каждое выступление встречал возмущенным ослиным ревом. Тетя Эл сказала: с этого дня она с ним больше не разговаривает. Аплодировал он только мисс Боббит.

Несомненно, на сей раз дьявол действовал с ней заодно, и она того заслуживала. Вихрем вылетела она на сцену, потряхивая локонами, вращая глазами, покачивая бедрами. Мы сразу поняли, что это будет номер не из ее классического репертуара. Она прошла в чечетке через сцену, изысканным жестом приподнимая на бедрах пышную, словно облако, голубую юбочку. Вот это лихо, сроду такого не видел, сказал Билли Боб и хлопнул себя по ляжке, и тете Эл пришлось согласиться, что мисс Боббит и вправду выглядит просто прелестно. Она закружилась по сцене, и публика разразилась аплодисментами. А она все кружилась, кружилась и только шипела: «Быстрее, быстрее!» аккомпанировавшей ей на рояле мисс Аделаиде,

хотя та, бедняга, и так старалась изо всех сил.

Я родилась в Китае,
Но Япония — мой дом...

До тех пор мы ни разу не слышали, как она поет; оказалось, что голос у нее резкий, царапающий, как наждак.

...Коль товар мой не по вкусу,
Лучше вам забыть о нем! Э-эй! Э-эй!

Тетя Эл даже задохнулась. Потом она задохнулась вторично — это когда мисс Боббит, бойко топнув, задрала юбочку и выставила на всеобщее обозрение голубые гипюровые штанишки, в результате чего на ее долю достались почти все одобрительные свистки, приберегавшиеся парнями для исполнительницы танца живота. (Впрочем, как мы убедились в дальнейшем, та тоже не сплеховала — под звуки популярной песенки «Яблочко для учительницы» и возгласы «гип-гип!» дама эта проделала все, что положено, в одном купальнике.)

Но на том, что мисс Боббит продемонстрировала свою попку, триумф ее не кончился. Под руками мисс Аделаиды зловеще загремели басы, на сцену выскочила сестрица Розальба с зажженной римской свечой и сунула ее в руки мисс Боббит, делавшей шпагат; он тоже ей удался, и в тот самый момент, когда она села на пол, свеча рассыпалась каскадом красных, синих и белых шаров, и нам всем пришлось встать, потому что мисс Боббит во всю глотку запела «Полосато-звездное знамя». Тетя Эл говорила потом — это было одно из самых пышных зрелищ, какие ей довелось видеть на американской сцене.

Словом, мисс Боббит, бесспорно, заслуживала кинопробы в Голливуде, а так как она вышла победительницей на конкурсе, похоже было, что дело на мази. Мэнни Фокс так и сказал ей: детка, сказал он, вы из того самого теста, из какого делают кинозвезды. Но на другой день он смылся, наобещав своим подопечным с три короба. Следите за почтой, друзья мои, я всем вам дам знать. Так он сказал ребятам, у которых взял деньги, и так он сказал мисс Боббит. Письма у нас доставляются три раза в день, и каждый раз на почте собиралось порядочно народу — веселая ватага, оживление которой мало-помалу угасало. Как тряслись у мальчишек руки всякий раз, когда в их почтовый ящик падало письмо! Но дни шли, и молчаливый ужас сковывал их все сильнее. Каждому было ясно, что думают другие, но никто не осмеливался произнести это вслух, даже мисс Боббит. Впрочем, почтмейстерша Паттерсон высказалась начистоту: этот тип — мошенник, сказала она, я с первого дня поняла, что он мошенник, и, если мне еще хоть день придется глядеть на ваши физиономии, я застрелюсь.

Наконец к исходу второй недели заклятие было снято — не кем иным, как мисс Боббит.

Все это время взгляд у нее был совершенно отсутствующий — никто бы и не подумал, что она бывает такая, — но в один прекрасный день, после того, как была разобрана вечерняя почта, к мисс Боббит снова вернулась ее кипучая энергия.

— Ну так, мальчишки. Теперь вступает в действие закон джунглей, — объявила она и увела всю ватагу к себе домой.

Там состоялось учредительное собрание Клуба вешателей Мэнни Фокса, каковая организация в несколько более цивилизованном виде существует и по сей день, хотя Мэнни Фокса давным-давно удалось изловить и, выражаясь фигурально, повесить. А в том, что это удалось, — прямая заслуга мисс Боббит. За неделю она настроила свыше трехсот писем с описанием примет Мэнни Фокса и разослала их всем шерифам Юга; кроме того, она написала в газеты всех более или менее крупных городов, и письма ее привлекли внимание широкой публики. В результате «Юнайтед фрут компани» предложила четверем из жертв Мэнни Фокса хорошо оплачиваемую работу, а позднее весной, когда Фокс был арестован в Апхае, штат Арканзас, где он пытался проделать все тот же старый трюк, организация «Лучезарные девушки Америки» представила мисс Боббит к медали «За доброе дело». Но по какой-то причине мисс Боббит постаралась оповестить всех и вся, что она отнюдь не в восторге.

— Мне не нравится эта организация, — заявила она. — Трубят в горн что есть мочи. Ничего веселого тут не вижу, и вовсе это неженственно. И вообще — что такое доброе дело? Не давайте себя одурачивать: всякое доброе дело делается для того, чтобы что-нибудь получить взамен.

Как отрадно было бы сообщить здесь, что она ошиблась и что другая, желанная награда, когда она наконец получила ее, была вручена ей от чистого сердца, в знак любви. Но на самом деле это было не так. С неделю назад все ребята, которых обжулил Мэнни Фокс, получили от него чеки в возмещение понесенных убытков, и мисс Боббит весьма решительно прошествовала на заседание клуба. (Заседания эти и поныне служат кое для кого предлогом, чтобы по четвергам весь вечер дуться в покер и наливаться пивом.) Мисс Боббит сразу взяла быка за рога.

Вот что, мальчики, — оказала она, — никому из вас и во сне не снилось когда-нибудь снова увидеть эти деньги, но раз уж вы их получили, вам надо вложить их в какое-нибудь реальное дело, — скажем, в меня.

Предложение ее заключалось в следующем: они сложатся и оплатят ее поездку в Голливуд; за это она обязуется пожизненно выплачивать им десять процентов от своих гонораров, и, значит, когда она станет звездой — а этого ждать недолго, — все они будут богатыми людьми.

— Во всяком случае, по местным понятиям, — добавила она.

Никому из мальчишек не хотелось расставаться с деньгами, но, когда мисс Боббит смотрит тебе в глаза, что тут поделаешь?

...С понедельника сыплет летний дождик, днем веселый, пронизанный солнцем, но по ночам мрачный и полный звуков — стука капель по листьям, перезвона струй, незатихающего тревожного топотка.

Билли Боб — начеку, и глаза у него сухие, но все эти дни он какой-то замороженный, и язык у него не ворочается, будто это язык колокола. Нелегкая для него штука — отъезд мисс Боббит. Потому что она была для него не только безумной мальчишеской любовью, но чем-то гораздо большим. Так чем же? Да все его странности — и то, что он удирал на pekanовое дерево, и то, что любил книги, и то, что настолько считался с людьми, что позволял им себя обижать, — все это была она. И то, что он боязливо таил от всех, кроме нее, — это тоже была она. А в темноте струилась сквозь дождь отдаленная музыка. Ведь будут такие ночи, когда мы услышим эту музыку так ясно, словно и впрямь через дорогу играет виктрола. И ранние вечера, когда вдруг смешаются тени и она красиво развертывающейся лентой пройдет перед нами по лужайке. Она улыбалась Билли Бобу, брала его за руку, даже поцеловала его.

— Я же не собираюсь умирать, — говорила она. — Ты приедешь ко мне, и мы уйдем на высокую гору, и проживем там все вместе: ты, и я, и сестрица Розальба.

Но Билли Боб знал: этому не бывать, и, когда сквозь тьму доносилась музыка, засовывал голову под подушку.

А вчера день вдруг улыбнулся странной улыбкой, и это как раз был день ее отъезда. Около полудня появилось солнце и принесло с собой ласковый запах глицинии. Снова цвели желтые розы тети Эл, и она поступила замечательно — сказала Билли Бобу, что он может их срезать и подарить мисс Боббит на прощание. До самого вечера мисс Боббит просидела у себя на веранде, и все время вокруг нее толпились люди — они заходили пожелать ей всего хорошего. Казалось, она собралась к причастию — в белом платье, в руках белый зонт. Сестрица Розальба подарила ей носовой платок, но тут же его позаимствовала — она все плакала и никак не могла остановиться. Другая девчушка принесла жареного цыпленка — на дорогу; одно было плохо — она позабыла его выпотрошить. Но мать мисс Боббит сказала — что ж, это ничего: цыпленок есть цыпленок; слова знаменательные, если учесть, что это было единственное мнение, когда-либо высказанное ею.

Лишь одно омрачало всем настроение: вот уже сколько часов Причер Стар околачивался на углу — то играл в расшибалочку на тротуаре, то прятался за дерево, словно хотел остаться незамеченным. Всех это очень нервировало. Минут за двадцать до прихода автобуса он вразвалку подошел к нашему дому и встал у калитки, прислонившись к ней лбом. Билли Боб все еще срезал розы в саду: он набрал уже столько, что хватило бы на огромный костер, и их запах был плотным, как ветер. Причер смотрел на Билли Боба, пока тот не поднял головы. И покуда они глядели друг на друга, снова стал сеяться дождик, тонкий, как водяная пыль над морем, и расцвеченный радугой. Ни слова не говоря, Причер подошел к Билли Бобу, помог ему разделить розы на два больших букета, и они вместе вышли за калитку. На той стороне улицы шмелями гудели разговоры, но когда мисс Боббит увидела их, двух мальчиков, чьи лица, скрытые

букетами роз, были как желтые луны, она сбегала по ступенькам веранды и бросилась через дорогу, протягивая к ним руки. Мы поняли, что сейчас произойдет, и мы закричали, наш крик, словно молния, прорезал завесу дождя, но мисс Боббит, бежавшая к лунно-желтеющим розам, казалось, не слышала нас. Вот тогда-то шестичасовой автобус и переехал ее.

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ



«ТИХОНЯ»

В пятницу утром занятия окончились, и Тихоня шел по коридору третьего этажа общежития к себе в комнату — положить книжки, и тут его остановил Пит Дауне. В комнате Пита сидело еще двое ребят, и дверь была открыта. Тихоня увидел их. Он был должен Питу сорок центов и подумал, что Пит сейчас попросит деньги.

— Эй, Тихоня! — крикнул Пит. — Поди сюда на минутку.

Тихоня подошел к двери и заглянул в комнату. Том и Джек Филлипс сидели на чемодане, посвистывая.

— У меня с собой ни гроша, Пит, — сказал Тихоня, — как только получу, сразу отдам.

— Какие там деньги, Тихоня, — сказал Пит. — Иди-ка сюда. Я хочу тебе показать одну штучку, ты таких в жизни не видывал.

Тихоня сел рядом с Питом на кровать и взглянул на карточку, которую Пит сунул ему под нос.

— Это кто? — спросил Тихоня.

— Моя девушка, — ответил Пит. — Видал когда-нибудь таких красоток?

Тихоня покачал головой.

— Она ничего себе, Пит, — сказал он.

— «Ничего себе»?! — фыркнул Пит. — Да она будет самой первой красавицей на завтрашнем банкете. А ты говоришь «ничего себе».

Том и Джек Филлипс засвистели еще громче. Каждый раз, поглядев на Пита, они начинали свистеть тоном выше.

Пит кивнул в их сторону.

— Не обращай на них внимания, Тихоня, — сказал он. — Они-то думают, что их девушки будут лучше моей, но погоди, вот увидят ее — засвистят по-другому. Моя подружка специально приезжает из нашего городка показать здешним ребятам, что такое хорошенькая девушка.

Тихоня совсем забыл, что до банкета футболистов оставался один день. Неделю назад отпраздновали День благодарения, а ежегодный банкет футболистов всегда устраивался в субботу вечером после праздников.

Том перестал свистеть.

— А кто твоя девушка, Тихоня? — спросил он. — Придется идти одному.

Все устали на Тихоню.

— Это не разрешается, Тихоня, — сказал Джек Филлипс. — Тебя даже в дверь не впустят без дамы.

Тихоня посмотрел на Пита, потом на Тома. Оба кивнули. Тихоне стало неприятно. Он совсем забыл это правило.

— Нельзя идти без девушки, — сказал Том. — Разве тебе некого пригласить?

Джек нахмурился и посмотрел на Тихоню.

— Разве у тебя нет девушки, Тихоня? — спросил он.

— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Тихоня. — Да у меня никогда в жизни никого не было.

Том свистнул сквозь зубы, а Пит расхохотался. Оба с любопытством поглядели на Тихоню.

— Плохо твое дело, — сказал наконец Пит. — Ведь ты здорово играл в команде в этом сезоне. Подумай, какая обида, на банкет тебе не попасть, — значит, и поесть там вволю не придется.

— Ведь ты целую четверть играл с риверсайдовцами, верно? — спросил Джек Филлипс. — Разве не ты играл левым крайним, когда выбыл Чэк Гаррис?

— Конечно, я, — сказал Тихоня, — и я ни разу не пропускал тренировки. Все остальное время я был, правда, в запасе, но я здорово старался — хотел попасть в первую команду.

— У тебя такое же право пойти на банкет, как у самого капитана, — сказал Пит. — Просто обидно, что тебе нельзя пойти только из-за того, что у тебя нет девушки, как у всех у нас.

— Может, мне удастся пригласить кого-нибудь из здешних девочек? — спросил Тихоня с надеждой.

Ребята устали в пол. Пит покачал головой. Том и Джек Филлипс тоже покачали головами. Тихоня сразу понял, о чем они подумали.

— Все здешние уже приглашены на банкет еще в начале года, в сентябре, — сказал Пит. — Теперь уже поздно раздобывать себе гостью. Жаль, что мы раньше об этом не подумали, Тихоня.

Тихоня выпрямился.

— А как насчет гарперовской дочки? — спросил он. — Ты знаешь, про какую я думаю, про Фрэнсис Гарпер?

Мальчики смотрели на Тихоню очень пристально, потом покачали головами и устали в пол.

— Фрэнсис Гарпер — барышня Чэка, Тихоня. Она будет сидеть во главе стола с Чэком, на капитанском месте.

— Эх, — сказал Тихоня и хлопнул книжками по столу, — мне бы только знать об этом вовремя, я бы завтра вечером привел самую хорошенькую девушку в штате. Ей-богу, привел бы!

Джек Филлипс вскочил:

— Самую хорошенькую девушку в штате? — расхохотался он. — Брось эти шуточки, Тихоня. Самая хорошенькая девушка штата живет в Сондерстауне.

— А как ее зовут? — спросил Тихоня.

— Не знаю, как ее зовут, я видел ее всего раз в жизни. Пробовал было с ней познакомиться на одной вечеринке в Сондерстауне, но передо мной в очереди стояло еще человек сорок — даже подойти к ней близко не удалось. Но раз я говорю, что она самая хорошенькая, значит, знаю, что говорю. Спроси кого хочешь, если не веришь. Ты бы посмотрел на нее — сам увидел бы, что я не вру. Если бы Сондерстаун был не так далеко...

Том и Пит кивнули, глядя в окно.

— Как ее фамилия, Джек? — спросил Тихоня.

— Кажется, Хэмптон, впрочем, я не уверен. Но какое это имеет значение, все равно тебе...

Тихоня встал, подошел к окну и долго смотрел на здания общежитий. Скоро надо было идти завтра-

кать.

— Раздобуду для тебя кого-нибудь в будущем году, Тихоня, — сказал Пит, — Если бы я только знал заранее...

Тихоня не слушал, что они говорили. Он бормотал себе под нос:

Вошел в команду с первого дня тренировок, ни разу не пропустил ни единой минутки. Думал, наверняка можно будет пойти на банкет. А кто целую четверть играл с риверсайдовцами? Ну ладно, был бы я запасной.

Том, услышав его бормотание, подошел к окну и стал рядом с ним.

— До чего обидно, Тихоня, — сказал он и положил ему руку на плечо. — Ты имеешь такое же право пойти на банкет, как и я. Но... но даже самого капитана и то не впустили бы в зал без дамы. Такое уж правило, ничего не поделаешь.

Тихоня вышел из комнаты, прошел по коридору к себе и положил книги на стол. Ему не хотелось сидеть в комнате и ждать, пока позовут завтракать, и он спустился по лестнице и вышел из общежития. Пока Тихоня спускался во двор, он придумал одну штуку. Он пошел к выходу и, едва миновав ворота, бросился бежать в город.

Банк на углу был открыт. Тихоня влетел туда и спросил, сколько у него денег на текущем счету. Оказалось, ровно четыре доллара. Он выписал чек на три доллара и попросил дать ему всю сумму серебром. Ему хотелось положить деньги в карман и чувствовать, что они там лежат. Долларовую бумажку легко было потерять, а тогда он уже не смог бы сделать то, что решил.

Выйдя из банка, он зашел в парикмахерскую и сел постричься. Постричься было необходимо: последний раз он стригся недели три тому назад. Сидя в кресле, он начал высчитывать, сколько будет стоить поездка в Сондерстаун. У него останется доллар и двадцать центов. Если он хоть что-нибудь съест за это время, ему придется потратить по меньшей мере половину этих денег. А кроме того, может быть, придется кое-что потратить и в Сондерстауне.

Когда парикмахер кончил его стричь, Тихоня решил, что нужно взять в банке оставшийся доллар. Он попросил парикмахера погасить чек. Парикмахер взял чек и сказал, что надо послать этот чек в банк и разменять. Тихоня снова сел и стал ждать, пока мальчишка-чистильщик бегал в банк.

— Уезжаете на воскресенье? — спросил парикмахер. — Кажется, завтра банкет футболистов?

Уезжаю, но к банкету успею вернуться, — сказал Тихоня. — Я был запасным весь сезон, а когда Чэк Гаррис выбыл из строя, участвовал в матчах с риверсайдовской командой целую четверть.

— В форрест-гровской команде никогда не было капитана лучше Чэка Гарриса, — сказал парикмахер.

Мальчишка-чистильщик прибежал обратно, но вместо денег вернул парикмахеру чек на один доллар, который ему дал Тихоня.

— Это зачем? — спросил парикмахер.

— В банке сказали, что чек недействителен, — объяснил мальчик.

Парикмахер искоса поглядел на Тихоню, покачал головой.

— В чем дело? — спросил он. — Хотели меня надуть?

Тихоня старался изо всех сил объяснить, как обстояло дело с деньгами. До отхода поезда осталось совсем мало времени. Тихоня объяснил, что он был в банке, и спросил, сколько у него на счету. Ему сказали — ровно четыре доллара. Он взял три доллара, оставив один доллар на текущем счету. И на этот вот доллар повторял Тихоня, он и дал чек. Парикмахер перестал слушать его и вышел вместе с ним. Они пошли через улицу в банк на углу.

Когда они вошли, Тихоня спросил кассира, есть ли на его текущем счету один доллар. Кассир порылся в своих книгах и покачал головой.

— Только что пришел чек, — сказал он. — Чек на один доллар. Ваш счет исчерпан.

Все на свете, в том числе и кассир и парикмахер, были правы. Один Тихоня был неправ. Он не понимал, как это вышло, не знал, что он не может быть прав, раз все говорят, что он не прав. Он разорвал чек и заплатил парикмахеру сорок центов за стрижку. После этого у него осталось в кармане всего восемьдесят

центов, не считая билета в оба конца.

Он поспел на поезд в последнюю минуту и занял место в вагоне для курящих. Усевшись, он вдруг вспомнил, что никому из футбольной команды не разрешалось нарушать режим тренировки до банкета, и обрадовался, что не придется тратить десять центов на сигару.

Было около семи часов вечера, когда поезд остановился в Сондерстауне. Тихоня спрыгнул с подножки и первым делом бросился в ресторан. Он заказал бутерброд с ломтиком холодной курицы и стакан молока. После этого у него оставалось всего пятьдесят пять центов.

В телефонной книжке было пятнадцать или двадцать Хэмптонов. По пяти центов за вызов... Он решил записать на бумажке несколько адресов и попробовал узнать, где живет самая хорошенькая хэмптоновская дочка. Он был уверен, что все они между собой в родстве и что он сможет разузнать, где живет та, которую он искал.

Он отыскал по адресу первых Хэмптонов. Они жили в девяти кварталах от вокзала, и было почти восемь часов, когда он туда добрался. Негритянка-горничная вышла на звонок. Тихоня небрежно сунул ей в руку монету. У него осталось всего сорок пять центов.

— Это за что же? — спросила она, с любопытством разглядывая десятицентовую монетку.

— Я приехал в ваш город по важному делу, — решительно проговорил Тихоня, — и мне необходимо найти мисс Хэмптон.

— Которую мисс Хэмптон? — спросила горничная. — Здесь молодых барышень Хэмптон целый выводок. У нас в доме ни одной, правда, нет, но зато в других домах их много.

Тихоня пошарил в кармане. Он сунул еще одну монетку горничной, когда она отвернулась. Теперь у него осталось только тридцать пять центов.

— Я не знаю, как ее зовут, — сказал Тихоня, — но у меня к ней важное поручение. Она — самая хорошенькая из них всех.

— Хэмптоновские барышни почти все хорошенькие, — сказала негритянка, — я просто не знаю...

— Но есть же самая красивая? — настойчиво повторил Тихоня.

— Наверно, вы думаете про мисс Салли Хэмптон, — быстро сказала горничная, — она чудо какая красивая.

— А где она живет?

Служанка подошла к перилам крыльца и показала вдоль по улице. Надо было повернуть раз пять или шесть, а дом был белый, трехэтажный. Тихоня сразу забыл, куда надо поворачивать, но шел и глядел, где же трехэтажный белый дом.

Когда он дошел наконец до такого дома, как описывала негритянка, он взбежал по ступенькам террасы и уже собирался позвонить у двери. Но еще не успел дотронуться до звонка, как услышал, что кто-то в дальнем конце террасы встал и подошел к нему. На террасе было темно, а уличные фонари тоже давали мало света.

— Я пришел к мисс Салли Хэмптон, — сказал Тихоня.

— Серьезно? Это забавно...

— Почему забавно? — спросил Тихоня.

— Потому что я — Салли Хэмптон. А... а кто вы такой?

— Я — Тихоня, — сказал он. — То есть я хочу сказать... я хочу сказать, что я — Тихоня. Моя фамилия... я Рэссел Шерман. То есть я... я — Тихоня

— И вы пришли ко мне в гости? — спросила девушка.

— Я приехал из форрест-гровского колледжа, вернее... Ну да, я за этим и приехал. Я приехал к вам.

— Вы с поручением от каких-нибудь знакомых или за вами послали от нас?

— Не совсем так, — сказал Тихоня, напряженно всматриваясь в нее при слабом свете уличных фонарей. — Я приехал к вам, потому что ребята мне сказали, что вы самая... что вы...

— Но я ни души не знаю в Форрест-Грове, — сказала она. — Вы, наверно, ошиблись. Я знаю очень много мальчиков в Риверсайде, но из ваших я ни с кем не знакома.



— Мы сыграли двадцать один — ноль на прошлой неделе, — сказал Тихоня. — Если бы Чэк Гаррис не выбыл из строя, мы бы им набили еще больше, и я играл всю последнюю четверть вместо Чэка, когда он ушибся и должен был уйти с поля.

— И вы специально приехали из Форрест-Грова, чтобы мне это рассказать? — засмеялась она.

— Нет, не совсем так, — сказал Тихоня. — Но все это имеет прямое отношение к моему приезду. У нас завтра банкет, мы всегда так празднуем конец футбольного сезона — наедаемся до отвала.

— А вы пойдете на банкет? — спросила Салли.

— Ну, ясно, — сказал Тихоня. — То есть я хочу сказать... ну, в общем, мне бы хотелось пойти. А вам?

— Мне?

— Салли Хэмптон, — сказал он, — я думал, что вам, может быть, захочется пойти. Вот я и приехал в Сондерстаун пригласить вас.

— Не знаю, право, — сказала она нерешительно. — Мама, может быть, меня не пустит. И, кроме того, я вас совсем не знаю.

— Я же Тихоня, — сказал он серьезно. — Со мной вы можете пойти совершенно спокойно.

Она рассмеялась.

— Вот если бы вы были знакомы с кем-нибудь, кого я знаю, может быть, мама меня ипустила бы. Вы знаете Ральфа Кэррола из Риверсайда? Он тоже играет в футбольной команде.

— Ясно, знаю, — сказал Тихоня. — Он играл как раз против меня в День благодарения, в последней четверти.

— Пойду спрошу маму, — сказала Салли, — может, она и позволит.

Она ушла в дом, а Тихоня сел в гамак и стал ждать. Она долго не возвращалась. Тихоня даже подумал, не воспользовалась ли она этим предлогом, чтобы избавиться от него. Прошло почти десять минут, прежде чем она вернулась на террасу. Он вскочил ей навстречу.

— У меня завтра вечер занят, — сказала Салли.

— Ну, скажите пожалуйста! — огорчился Тихоня. Она села в качалку. Тихоня сел рядом с ней.

— Но я думаю, что откажусь от этого приглашения и поеду в Форрест-Гров, — сказала она, искоса поглядывая на него. — Мама мне разрешила. Она сама свезет меня туда, и мы остановимся в отеле.

— Вот это да! — сказал Тихоня. — Вы правду говорите?

— Конечно, — сказала Салли, раскачивая кресло.

— И вы пойдете со мной на банкет?

— С удовольствием.

— Ладно, — сказал Тихоня, — теперь, пожалуй, мне пора уходить.

— Так скоро? — сказала она.

— Сейчас уже поздно, а футболисту нельзя поздно ложиться спать, — объяснил он. — В сущности, мы не прекращаем тренировок до завтрашнего вечера.

Салли встала и вышла с ним на крыльцо. Она протянула ему руку.

— Спокойной ночи, мистер...

— Просто Тихоня, — сказал он.

— Спокойной ночи, Тихоня, — повторила она.

— Я зайду за вами в гостиницу завтра вечером ровно в девять, — сказал он.

Он спускался по ступенькам, пятясь назад и пытаясь на ходу разглядеть ее лицо в отблесках уличных фонарей. Он пятился так почти до самой калитки и все-таки не разглядел ее как следует.

Когда он пришел на станцию, было уже около десяти вечера. Негр-носильщик подметал зал ожидания. Ресторан напротив был еще открыт, и Тихоня зашел и заказал бутерброд с холодной курицей и стакан молока. Расплатившись, он даже не поинтересовался, остались ли у него еще деньги.

На станции все огни были потушены. Он прошел в зал ожидания и сел на скамейку. Через несколько минут вошел носильщик и запер двери. Следующий поезд па Форрест-Гров уходил только утром, в половине десятого.

Сняв пальто и расстелив его на скамье, Тихоня закрыл глаза и от усталости сразу уснул, даже не

успев подумать о завтрашнем банкете футболистов.

Тихоня вернулся в Форрест-Гров уже далеко за полдень. Во дворе общежития он встретил Тома и Пита, которые шли из гимнастического зала. Они помахали ему и пошли навстречу через двор.

— Где ты пропадал со вчерашнего дня? — с беспокойством спросил Пит. — Мы боялись, как бы с тобой чего не случилось. Я думал, что ты, может быть, слишком принял к сердцу все это дело насчет сегодняшнего банкета. Ей-богу, я рад тебя видеть, Тихоня. Все в порядке?

— Что я принял к сердцу? — спросил Тихоня.

— Ну ты же сам знаешь, Тихоня, — сказал Пит, — что сегодня банкет, а тебе не попасть, и все такое. Все ребята огорчены. Они готовы не знаю что сделать, лишь бы ты попал, но сам понимаешь, трудно менять правила. А в будущем году мы тебя ждем. — Том обнял Тихоню за плечи и сочувственно подмигнул ему. — Увидимся потом, Тихоня, — сказал он, — не забудь прийти в понедельник на баскетбольную тренировку. Тренер вывесил объявление, чтобы в понедельник все были а сборе. У нас будет замечательная баскетбольная команда в нынешнем году, надеюсь, и ты в нее попадешь, Тихоня.

И прежде чем Тихоня успел что-нибудь сказать, они оба повернулись и пошли к библиотеке. Тихоня попытался окликнуть их, но видно было, что им хочется поскорее уйти. Они так вели себя, что Тихоня испугался: а вдруг его имя вывешено у дверей, чтобы швейцар не впускал его в банкетный зал. Он пошел к доске объявлений, потом к двери в зал, но объявления нигде не нашел, бегом взлетел по лестнице в общежитие на третий этаж — он торопился: пора было одеваться на банкет.

Вечером в десять минут девятого Тихоня уже не мог усидеть на месте ни секунды. Он вышел из комнаты и отправился в отель за Салли Хэмптон. Проходя мимо комнаты Пита, он увидел, как Том и Пит поправляют галстуки и приглаживают проборы.

Когда он проходил, они даже не взглянули в его сторону.

В девять часов без нескольких минут, когда Тихоня вбежал в отель, Салли с матерью уже ждали в холле. Он выждал на улице, пока хватило терпения, а потом ринулся в холл, ища Салли. Всюду было полно девушек. Мальчики поминутно вбегали в холл и выбегали на улицу, чтобы в последнюю минуту купить букетик фиалок или еще каких-нибудь цветов. Тихоня увидел Джека Филлипса, но оба были слишком возбуждены и не обратили внимания друг на друга.

Когда Тихоня увидел Салли в первый раз в ярко освещенном холле отеля, он еще не был уверен, она ли это. Но когда девушка ему улыбнулась, он подбежал к ней, сразу поняв, что это она. Он увидел, как правы были Том, и Пит, и Джек, когда говорили, что она — самая хорошенькая девушка в штате. Все другие ребята в холле оборачивались и глазели на нее и, даже разговаривая со своими девушками, не сводили с нее глаз. Никто, казалось, не замечал Тихоню.

Они подошли к банкетному залу, и швейцар даже не взглянул на Тихоню. Он смотрел вслед Салли Хэмптон, пока та не скрылась из виду. Тихоне сразу стало легче, когда они вошли в зал.

Только после того, как подали первое блюдо, ребята перестали глазеть на Салли и узнали Тихоню. Пит увидел его первым. Он уронил ложку в тарелку и обрызгал супом весь свой костюм. Барышня Пита тронула его локтем. Но он не отрываясь смотрел то на Тихоню, то на Салли. Губы у него все время шевелились, как будто он шептал: «Разрази меня гром, да ведь она с Тихоней!»

Минут через пятнадцать Пит окликнул через стол Джека Филлипса, и Джек тоже уставился на Тихоню. И все остальные поняли, что произошло, и чуть не свернули шеи, разглядывая Тихоню и его соседку. Их девушки даже надулись — они все время отворачивались в другую сторону.

С конца стола, с капитанского места, Чэк Гаррис сверлил глазами Тихоню. Девушка, сидевшая рядом с ним, Фрэнсис Гарпер, то и дело трогала его за рукав, но он не обращал на нее внимания. Временами у него делалось такое лицо, как будто он сейчас схватит тарелку или блюдо и швырнет через весь стол в Тихоню.

Салли Хэмптон веселилась больше всех. Все сидевшие рядом мальчики старались разговаривать только с ней. А Тихоня съедал дочи́ста каждое кушанье, которое ставилось перед ним. Он не отвлекался на разговоры, не смотрел ни на кого, пока не было доедено последнее блюдо.

При выходе из зала, часов в одиннадцать, Тихоню кто-то здорово пнул пониже спины. Он обернулся,

чтобы поглядеть, кто это сделал, и увидел, что Чэк Гаррис и Фрэнсис Гарпер смотрят на него свирепыми глазами. Тихоня хотел остановиться и спросить Чэка, за что он его так пнул, но ему надо было проводить Салли в отель, и он не желал терять времени.

Он простился с Салли в холле и пошел назад к общежитию. Казалось, что все ребята торопились вернуться в общежитие. Нижний коридор и лестница были битком набиты. Кто-то схватил Тихоню за руку и втащил в дверь.

— Да что с тобой, Фрогги? — удивленно спросил Тихоня.

Фрогги тянул его к лестнице.

— Что со мной? — повторил Фрогги. — Я хочу знать, что с тобой! Привел самую хорошенькую девушку в штате на банкет и за весь вечер не обмолвился с ней ни словом.

— Фу ты пропасть! — сказал Тихоня. — Нужно же мне было поесть. Я играл в запасе весь сезон и, кроме того, целую четверть был в команде против риверсайдовцев. Мне до того, хотелось есть, что я не знал, что делать. Со вчерашнего дня ничего не ел, кроме двух бутербродов с курицей и двух стаканов молока. Надо же мне было поесть, Фрогги.

Пит взял Тихоню под руку и потащил его наверх. Когда они выбрались из толпы, Пит стал хлопать Тихоню по спине. По дороге в комнату Пита Тихоня пытался ему объяснить, что он просто умирал с голоду и что ему необходимо было поесть как следует.

Том и Джек Филлипс уже ждали их у двери. И прежде чем другие ребята успели взбежать по лестнице, чтобы услышать от Тихони, как все это вышло, Пит вместе с Томом и Джеком втащили его в комнату. Они заперли дверь на ключ и накрепко задвинули щеколду.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН



«СКАЖИ, КОГДА УШЕЛ ПОЕЗД?»

Когда мне было десять лет, моему брату Калебу исполнилось семнадцать. Мы с ним очень дружили. По правде говоря, он был моим самым лучшим другом и долгое время единственным.

Я не могу сказать, что он всегда со мной хорошо обращался. Я здорово действовал ему на нервы, а он злился, когда ему приходилось меня повсюду с собой таскать и отвечать за меня, в то время как ему

хотелось бы заняться совсем другим. Поэтому нередко рука его опускалась на мой затылок, и мои слезы не раз являлись причиной того, что его здорово наказывали. И все-таки я каким-то образом сознавал, что доставалось ему вовсе не за мои слезы, не за обиду, причиненную лично мне; его наказывали потому, что так уж было заведено в нашей семье, и, как ни странно, наказания, которые он получал, еще больше укрепляли нашу с ним дружбу. Но самое странное было то, что, когда его огромная ручища обрушивалась на мою голову и перед глазами у меня плыли кроваво-красные круги, я все же чувствовал, что бьет-то он вовсе не меня. Рука его поднималась помимо его воли, и удар приходился по мне просто потому, что я оказывался в этот момент рядом. И часто получалось, что, прежде чем я успевал перевести дыхание и закричать благим матом, рука, нанеся мне удар, обнимала меня и прижимала к себе, и, по правде говоря, трудно было определить, кто из нас двоих плакал. Он бил, бил, бил; потом рука его словно просила прощения, и я сердцем угадывал смятение, овладевшее им. И при этом я понимал, что он хочет научить меня уму-разуму. А у меня, бог свидетель, кроме него, иных учителей не было.

Отец наш — как бы мне получше описать нашего отца — был обнищавший крестьянин родом с Барбадоса и жил в ненавистном ему Гарлеме, как в ссылке, где он никогда не видел солнца и неба, таких, как на его родине, где ни дома, ни на улице не было настоящей привольной жизни, не было никакой радости. Я хочу сказать — той радости, какую он знал в прошлом. Если бы он сумел привезти с собой хоть чуточку той радости, которой была полна его жизнь на том далеком острове, тогда, наверное, наша любовь к танцам и морской воздух могли бы подчас скрасить существование в нашей ужасной квартире. Жизнь для нас могла бы стать совсем иной.

Но нет, он привез с собой с Барбадоса лишь страсть к черному рому, угрюмый, заносчивый нрав и веру в магические заклинания, а они ни от чего не излечивали и ни от чего не спасали.

Он не понимал людей, среди которых ему приходилось теперь жить: они не умели толково выражать свои мысли, не обладали ни внушительной внешностью, ни чувством собственного достоинства. Народ, к которому принадлежали предки моего отца, пережил пору расцвета на самой заре человеческой цивилизации. Это был народ более великий, нежели римляне или иудеи, и более могущественный, чем египтяне, — предки моего отца были царями, которые никогда не терпели поражений в битвах, царями, не знавшими, что такое рабство. Он рассказывал нам о племенах и империях, о войнах, победах и монархиях, мы не имели об этом понятия и никогда не слыхали — в наших учебниках о них не упоминалось, — и в атмосфере всей этой славы мы чувствовали себя еще более неловко, чем в своих поношенных ботинках. В душной атмосфере его притязаний и надежд мы с понурым видом брели, сами не зная куда, обдирали коленки о ларцы из чистого золота и с ликующим детским криком срывали великолепные пурпурные гобелены, золотом на них были вытканы наши судьбы и ожидающее нас в будущем богатство. Да иначе и быть не могло, ведь главное, что заботило наше детское воображение, — это как бы получше приспособиться к миру, который с каждым часом все больше открывался нам своей безжалостной стороной.

Если в жилах нашего отца и текла королевская кровь, а значит, мы были принцами, то уж отец наш наверняка был единственным в мире человеком, которому сие было известно. Наш домохозяин об этом не ведал: отец никогда не упоминал при нем о своем высоком происхождении; и когда мы запаздывали с квартирной платой, а это случалось нередко, хозяин грозился выбросить нас на улицу, пуская в ход выражения, какие ни один простой смертный не осмелился бы бросить в лицо королю. Он жаловался, что только наша беспомощность, которую он не колеблясь считал неизменным атрибутом черной расы, заставляет его, старого человека с больным сердцем, влезать так высоко по лестнице и умолять нас отдать причитающийся ему долг. Но это уж в последний раз; он желал, чтобы мы уразумели: делает он это в последний раз.

Отец наш был моложе домохозяина, худее его, крепче и выше ростом. Одним ударом он мог заставить старика пасть на колени. И мы знали, как сильно отец его ненавидит. В зимнее время мы целыми днями сидели на корточках вокруг газовой плиты в кухне, потому что хозяин не отапливал нашу квартиру. Когда оконные стекла у нас побились, хозяин не торопился их вставить; картон, которым мы заделали окна вместо стекла, всю ночь напролет трещал на ветру; а когда шел снег, картон под его тяжестью прогибался и падал на пол. Всякий раз, когда нашу квартиру нужно было заново окрашивать, мы покупали

краску и сами занимались ремонтом; мы сами уничтожали крыс. Как-то зимой обвалился целый кусок потолка чуть не на голову нашей маме.

Все мы ненавидели нашего домохозяина острой, горячей ненавистью и были бы счастливы увидеть, как наш гордый отец убивает его. Мы бы с удовольствием помогли ему. Но отец наш и не помышлял ни о чем подобном. Он стоял перед хозяином с невыразимо измученным лицом. И подыскивал оправдания. Он извинялся. Он клялся, что это больше никогда не повторится. (Мы-то знали, что это непременно повторится.) Он вымаливал себе отсрочку. И в конце концов хозяин спускался по лестнице, заставляя нас и всех соседей убеждаться в том, какой он мягкосердечный, а отец наш шел на кухню и наливал себе стакан рому.

Но мы знали, что отец никогда бы не позволил ни одному негру разговаривать с ним так, как это делал хозяин, полицейский, лавочники, служащие благотворительных заведений или ростовщики. Он бы тут же вышвырнул его за дверь. Уж он бы твердо дал понять любому черному, что предки его никогда не были рабами! И отец так часто давал им это понять, что у него почти не осталось друзей среди негров, а если бы мы следовали его примеру, то и от нас бы тоже все друзья отвернулись. Едва ли стоило гордиться своим царским происхождением, если цари эти были черные, да и никто о них никогда даже краем уха не слышал.

Наверное, именно из-за отца мы с Калемом сделались неразлучны, несмотря на большую разницу в возрасте, а возможно, именно благодаря этой разнице дружба наша была такой крепкой. Не знаю. Таких вещей, по правде говоря, никто никогда не знает. Мне кажется, гораздо проще любить беззащитного младшего брата, ведь он не может быть тебе соперником, да и ни в чем вообще с тобой равняться не может и никогда не станет возражать против твоей первенствующей роли или подвергать сомнению твой авторитет. Что касается меня, то мне, конечно же, и в голову не приходило соперничать с Калемом, и я, разумеется, не мог подвергать сомнению его роль и его авторитет, потому что нуждался и в том и в другом. Он был моей опорой в жизни, образцом во всем и моим единственным советчиком.

Но, как бы то ни было, отец наш, с грустью мечтая о своем любимом Барбадосе, презираемый и осыпаемый насмешками соседей, не понятый сыновьями, продолжал тянуть свою нудную работу на фабрике, а по субботам и воскресеньям сидел в баре и потягивал ром. Не знаю, любил ли он нашу маму. Мне кажется, любил.

У них родилось пятеро детей, из которых только Калев и я — первый и последний — остались в живых. Оба мы были чернокожие, как наш отец; но две из трех умерших девочек родились светлокожими, как мама.

Она была родом из Нью-Орлеана. Волосы ее отличались от наших. Они были тоже черные, но гораздо мягче и красивее, чем у нас. Цвет ее кожи напоминал мне цвет бананов. Такая же светлая и такая же приятная; вокруг носа у мамы были чуть заметные веснушки, а над верхней губой небольшая черная родинка. Без этой родинки лицо ее можно было назвать просто приятным или миловидным. Эта родинка, сам не знаю почему, делала ее красивой. Но родинка была очень забавная.

Она создавала впечатление, что наша мама человек веселый, любящий посмеяться. Родинка заставляла обратить внимание на ее глаза — огромные, необычайно темные, глаза, которые, казалось, всегда чему-то изумлялись и смотрели на собеседника открыто и искренне, все, казалось, примечали и ничего не боялись. Мама была добродушная, полная, крупная женщина. Она любила красивые платья и яркие украшения, которых у нее почти никогда не водилось, любила стряпать для большой семьи, и еще она любила нашего отца.

Она хорошо его знала, прекрасно изучила его характер. И если я говорю, что никогда не смогу понять, что она в нем нашла, то это вовсе не от излишней скромности и не ради красного словца — я говорю это искренне и со всей откровенностью. То, что видела в нем она, было скрыто от других глаз; то, что она в нем видела, придавало ему сил работать всю неделю и отдыхать по воскресеньям; то, что она в нем видела, спасало его. Она видела в нем человека. Для нее он, возможно, был великим человеком. Я, правда, думаю, с точки зрения нашей матери, любой человек, который стремился быть человеком, тем самым уже становился, великим, и это означало, что отец наш был для нее редким и очень любимым человеком. Я

не переставал дивиться тому, как она могла мириться и выносить приступы его гнева, его слезы, его униженность.

В субботние вечера отец обычно бывал зол как собака, в стельку пьян и плаксив. Он приходил с работы домой днем и давал нашей матери немного денег. Их никогда, конечно, не хватало, но он всегда оставлял себе достаточно, чтобы уйти и напиться. И мать никогда слова ему поперек не говорила, по крайней мере я никогда этого не слышал. Затем она отправлялась за покупками. Обычно я шел вместе с нею, потому что Калевб вечно где-нибудь пропадал, а мама не любила оставлять меня в квартире одного. И это, видимо, было правильно. Люди, которые недолюбливали нашего отца, наверняка (по той же самой причине) уважали нашу мать; и соседи, которые считали, что Калевб с возрастом все больше становится похож на отца, в то же время видели во мне много материнских черт. Да, кроме того, ненавидеть маленького ребенка по большей части бывает довольно трудно. Всегда рискуешь показаться смешным, в особенности если ребенок этот мирно шествует со своей матерью.

И тем более если мать — это не кто иная, как миссис Праудхэммер. Миссис Праудхэммер прекрасно знала, что люди думают о мистере Праудхэммере. Ей было известно и то, сколько она задолжала в каждой лавке, в которую заходила, сколько сможет сегодня отдать и что собирается купить. В лавку она входила с готовой улыбкой на лице.

— Добрый вечер! Отпустите мне немного вон тех красных бобов.

— Добрый вечер! Знаете, за вами изрядный долг.

— А я как раз собираюсь вам часть отдать. Мне нужно немного маиса, пшеничной муки и немного рису.

— Знаете, миссис Праудхэммер, я тоже наконец хочу получить по счету.

— А разве я только что не сказала вам, что собираюсь заплатить? Еще мне нужен корнфлекс и немного молока. — Те продукты, что она могла достать сама, она уже положила на прилавок.

— Когда, по-вашему, вы сможете отдать долг, я имею в виду весь долг?

— Да знаете, я намерена расплатиться сейчас же, как только у меня будет возможность. Сколько все это стоит? Дайте-ка мне вон тот остаток шоколадного торта. — Шоколадный торт предназначался для меня и для Калеба. — Ну вот, а теперь приплюсуйте все к общему счету. — С высокомерным видом, словно не придавая этому ровно никакого значения, она выкладывала на прилавок два-три доллара.

— Вам везет, миссис Праудхэммер, что у меня такое мягкое сердце.

— На окраине цены не такие высокие, вы думаете, я не знаю? Вот. — И она платила за то, что взяла. — Спасибо. Вы были очень добры.

И мы покидали лавку. Мне часто хотелось помочь ей — взять и набить карманы разными товарами, пока они с хозяином разговаривали. Но я никогда этого не делал не только потому, что в лавке часто толклось полно народу, или из боязни быть уличенным хозяином. Нет, я не делал этого потому, что очень боялся унижить свою мать. Когда я начал заниматься кражами, чуть попозже, я крал в лавках, расположенных подальше от нашего района, где нас никто не знал.

Когда нам надо было сделать солидные покупки, мы отправлялись на рынок под мост, перекинутый через Парк-авеню, — Калевб, мама и я; и иногда, правда редко, к нам присоединялся отец. Обычной причиной для солидных закупок являлось то, что какие-нибудь родственники нашей матери или старые друзья матери и отца собирались нанести нам визит. Мы, разумеется, не могли допустить, чтобы они уехали от нас голодными — даже если это означало для нас залезть в долги. Хотя я и упомянул о крутом нраве отца и о том, как несправедливо он с нами порой обращался, он был слишком самолюбивым и гордым человеком, чтобы позволить себе обидеть кого-либо из своих гостей; напротив, он делал все, чтобы им было у нас хорошо, как дома. К тому же он чувствовал себя очень одиноким, скучал по своему прошлому, скучал без тех людей, которые окружали его в прошлом. Вот почему он порой делал вид, будто убежден, что наша мать понятия не имеет, как делать покупки, и шел вместе с нами на рынок под мост, чтобы поучить ее. В такие дни он оставлял пиджак дома, чего обычно не делал, и в рубашке выглядел совсем мальчишкой, и, поскольку наша мама не выказывала особого желания брать у него уроки по части того, как надо покупать, он переключал свое внимание на Калеба и на меня. Он брал с прилавка рыбу, открывал ей

жабры и подносил ее к носу.

— Смотрите! Рыба выглядит свежей? Так вот, я и то посвежее этой рыбы, хотя жизнь меня порядком потрепала. Они ее подсвежили. Пошли отсюда.

И мы шли дальше, немного пристыженные, но вообще-то довольные тем, что наш отец так во всем разбирается. Тем временем наша мама успевала сделать нужные покупки. По таким дням она чувствовала себя особенно счастливой, потому что отец был в счастливом настроении. Он был счастлив, хотя и не высказывал этого вслух, что вышел погулять с женой и сыновьями. Если бы мы жили на острове, где он родился, а не в этом отвратительном Манхэттене, всем нам было бы гораздо проще любить друг друга и доверять друг другу, считал он. Ему казалось, и, я думаю, не без основания, что на том, другом острове, потерянном для него навсегда, сыновья относились бы к нему совсем по-другому, да и он бы относился к ним по-другому. Жизнь там не была бы такой уж легкой; нам бы и там приходилось бороться за кусок хлеба, более или менее бессмысленно страдать и более или менее бессмысленно погибать. Но, во всяком случае, там нас не пугал бы так сильно окружающий мир, по крайней мере так нам всем казалось, и мы не боялись бы вступать в самую важную пору нашей жизни. Мы бы там смеялись и ругались от души, резвились в воде, а не плелись бы робко за отцом на рынок под мост; мы меньше бы знали об исчезающих африканских королевствах и больше о самих себе. Или, что тоже вполне вероятно, и о том и о другом одинаково хорошо.

Если стояло лето, мы покупали арбуз, который тащил домой либо Калеб, либо отец, ссорясь друг с другом за эту привилегию. В такие дни они бывали очень похожи друг на друга — оба рослые, оба чернокожие, у обоих смеющиеся физиономии.

Когда Калеб смеялся, вид у него всегда делался какой-то совершенно беспомощный. Он смеялся, и все тело его содрогалось, он припадал к вам плечом или склонял на одно мгновение голову к вам на грудь, а затем быстро отстранялся и отбегал в угол комнаты или в конец улицы. Я, наверное, никогда в жизни не забуду его смех. По таким дням он тоже всегда пребывал в счастливом настроении. Потому что если отец наш нуждался в обществе сына, то Калеб уж тем более нуждался в обществе отца. Однако подобные дни выпадали редко — должно быть, по этой причине они и приходят мне теперь на память.

Наконец все мы взбирались по лестнице в свою квартиренту, которая в этот момент становилась для нас сказочным замком. И каждый из нас испытывал такое чувство, будто в ту минуту, когда отец закрывал дверь, за нами поднимался разводной мост.

Ванну еще рано было наполнять холодной водой и класть в нее арбуз, потому что была суббота и вечером нам всем предстояло мыться. Арбуз накрывали одеялом и клали на пожарную лестницу. Затем мы вынимали все покупки — изобилие их поражало нас, отец же в таких случаях обычно пугался, как много потрачено денег. А я всегда с грустью думал, что от всего этого уже завтра ничего не останется и все это, в конце концов, предназначено вовсе не для нас, а для других.

Мать принималась подсчитывать, сколько ей понадобится денег до конца недели, — билеты на транспорт для отца и для Калеба: он ездил в школу в другой район; взнос страховому агенту; деньги мне на молоко в школе; плата за свет и за газ; деньги, которые следует, если удастся, отложить для уплаты за квартиру. Она уже точно знала, сколько отец оставил себе, и рассчитывала, что он даст мне из этих денег на кино, когда я попрошу. Калеб после школы работал и уже имел собственные карманные деньги. Но Калеб, если только он не пребывал в самом добром расположении духа или если я ему не мог на что-либо понадобиться, не особенно стремился взять меня с собой в кино.

Мать никогда не настаивала, чтобы Калеб сообщал ей, куда отправляется, и не спрашивала его, куда он тратит заработанные деньги. Она боялась услышать в ответ неправду, и ей не хотелось вынуждать его врать. Она считала, что он достаточно разумный парень и его достаточно хорошо воспитали, а теперь он больше, чем когда-либо, нуждается в том, чтобы его оставили в покое.

Но тем не менее она была с ним очень тверда.

— Я не желаю, чтобы ты вваливался в квартиру в три часа ночи, Калеб. Я прошу тебя являться к ужину вовремя, и ты знаешь, что перед сном нужно принять ванну.

— Да, конечно, мам. Но почему бы мне не принять ванну утром?

— Не прикидывайся дурачком. Ты прекрасно знаешь, что утром никогда не встанешь вовремя, чтобы успеть помыться.

— И потом, кто это позволит тебе все утро занимать ванную комнату? — сказал отец. — Являйся домой вовремя, как говорит мать.

— Кроме того, — сказал я, — ты никогда не моешь за собой ванну.

Калеб бросил на меня насмешливо-удивленный взгляд с высоты своего роста, губы его и подбородок опустились, и он презрительно отвернулся.

— Понимаю, — сказал он. — Значит, все вы заодно против меня. Ладно, Лео. Я хотел взять тебя в кино, но теперь раздумал.

— Извини, — быстро проговорил я. — Я беру обратно.

— Что ты берешь обратно?

— То, что сказал: что ты не моешь после себя ванну.

— Ни к чему тебе брать свои слова обратно, — упрямо проговорил отец. — Ты сказал правду. Человек никогда не должен брать обратно свои слова, если это правда.

— Значит, ты это сказал, — проговорил Калеб с легкой усмешкой. И вдруг схватил меня, притянул к себе и впился в меня взглядом.

— Берешь свои слова обратно?

— Лео не собирается брать их обратно, — сказал отец.

Положение мое было печальным. Калеб со злой усмешкой наблюдал за мной.

— Берешь обратно?

— Перестань издеваться над ребенком и отпусти его, — сказала мать. — Беда не в том, что Калеб не моет за собой ванну, он просто плохо ее вымывает.

— Я не видел, чтоб он ее вообще когда-нибудь мыл, — сказал отец, — кроме тех случаев, когда я его заставляю.

— Да что там говорить, никто из вас особенно по дому не помогает, — сказала мать.

Калеб засмеялся и отпустил меня.

— Ты не взял свои слова обратно.

Я молчал.

— Думаю, что мне придется пойти без тебя.

Я продолжал хранить молчание.

— Ты что, решил довести ребенка до слез? — спросила мать. — Если хочешь взять его с собой — бери, и все. А не дразни.

Калеб снова засмеялся:

— Я и собираюсь его взять. Уж лучше поведу куда-нибудь, чем смотреть, как он сейчас распустит нюни. — Он направился к двери. — Но тебе нужно набраться решимости, — сказал он мне, — и ответить, что, по— твоему, правда.

Я схватил Калеба за руку — сигнал опустить разводной мост. Мать радостно посмотрела нам вслед. Отец проводил нас сердитым взглядом, но в то же время на лице его появилось чуть шутливое выражение и своего рода гордость.

Выясним это потом, — сказал Калеб, и дверь за нами закрылась.

В коридоре было темно и пахло кухней, кислым вином и помоями. Мы сбежали вниз по лестнице. Калеб перескакивал сразу через две ступеньки, на секунду останавливался на каждом пролете и смотрел на меня. Я прыгал за ним вниз по ступеням, стараясь не отставать. Когда я добрался до первого этажа, Калеб был уже на крыльце и обменивался шутками со своими приятелями, стоявшими в подъезде — они вечно торчали в подъезде.

Я не любил приятелей Калеба, потому что побаивался их. Единственная причина, почему они не пытались портить мне жизнь, как портили ее многим другим детям, заключалась в том, что они боялись Калеба. Я проскользнул мимо них и спустился на тротуар, чувствуя по взглядам, которые они изредка на меня бросали, продолжая обмениваться шутками с Калебом, что они при этом думали: лупоглазый

хлипкий сопляк, этот младший братишка Калеба, ведь ему приходится водить меня за собой. С другой стороны, им тоже хотелось пойти в кино, но у них не было денег. Поэтому хоть они и презирали меня, но молча позволяли мне проскальзывать мимо. Это были очень опасные минуты, ведь Калек в любой момент мог изменить свое решение и прогнать меня.

Так каждый раз по субботам я стоял, дрожа от страха, но напуская на себя независимый вид, и ждал, пока Калек расстанется со своими друзьями и спустится с крыльца. Я всегда очень боялся, что он повернется ко мне и скажет: «О'кэй, мальчик. Беги-ка один, увидимся позже». Это означало, что мне следует идти в кино одному и околачиваться около кассы, поджидая, пока какой-нибудь взрослый не проведет меня в зал. Я не мог возвратиться домой, потому что тогда мать и отец поняли бы, что Калек, пообещав взять меня с собой в кино, на самом деле отправился один неизвестно куда.

Не мог я и просто крутиться возле дома и играть с ребятами нашего квартала. Во-первых, весь мой вид, с каким я выходил из дому, очень ясно показывал, что мне предстоит нечто гораздо более интересное, чем играть с ними; во-вторых, они и сами не очень-то рвались играть со мной; и, наконец, останься я на улице, это имело бы те же последствия, что и возвращение домой. Остаться на улице, получив отставку от Калеба, означало отдать себя во власть улицы, а Калеба — во власть родителей.

Итак, в субботние дни я готовился к тому, чтобы услышать холодное «О'кэй, увидимся попозже», а затем с безразличным видом повернуться и уйти. Это был поистине самый ужасный момент. В ту минуту, когда я поворачивался, я чувствовал себя словно в плену, в ловушке, и мне предстояло пройти целые мили — так мне казалось — до конца нашего квартала, пока я не сворачивал на авеню и не скрывался из виду. Мне хотелось бегом пробежать весь квартал, но я никогда этого не делал. Я никогда не оборачивался. И заставлял себя идти очень медленно, не смотреть по сторонам; старался напустить на себя одновременно рассеянный и независимый вид; сосредоточить внимание на трещинах на тротуаре и нарочно спотыкался; насвистывал себе под нос; ощущал каждый мускул в своем теле, чувствовал, что весь квартал следит за мной, и, что самое странное, считал, что так мне и надо.

Но вот я доходил до авеню, сворачивал, все еще не оглядываясь назад, и наконец-то отделялся от всех следящих за мной глаз; но теперь передо мной оказывались другие глаза, глаза, которые двигались на меня. Это были глаза ребят, тех, что были сильнее и могли отнять у меня деньги на кино; это были глаза белых полисменов, которых я боялся и ненавидел буквально убийственной ненавистью; это были глаза стариков, которые могли заинтересоваться, каким образом я вдруг очутился на этой авеню один.

А потом я подходил к кинотеатру. Иногда кто-нибудь тут же проводил меня внутрь, а иногда мне приходилось стоять и ждать, разглядывая людей, подходящих к кассе. И это было не так-то просто, поскольку я вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь из соседей узнал, что я ошиваюсь возле кинотеатра в надежде попасть в зрительный зал. Узнай об этом отец, он убил бы меня с Калебом вместе.

Наконец я замечал подходящее лицо и бросался к этому человеку — обычно к мужчине, мужчин легче уговорить — и шептал: «Возьмите меня с собой» — и совал ему монету. Иногда человек просто брал монету и исчезал в зале; иногда он отказывался взять деньги и все-таки проводил меня в зал. Иногда же дело кончалось тем, что я бродил по улицам, причем бродить по чужим кварталам я не мог из боязни быть избитым, до тех пор, пока, по моим подсчетам, фильм не кончался. Возвращаться домой слишком рано было опасно, и, конечно, было просто смертельно опасно приходить чересчур поздно. Иногда все сходило хорошо, и мне удавалось прикрыть Калеба, сказав, что я оставил его на крыльце с приятелями. В таком случае, если он являлся слишком поздно, я тут был ни при чем.

Хотя бродить по улицам было небезопасно, но в то же время порой случались приятные и неожиданные вещи. Так, например, я открыл для себя метрополитен. То есть я открыл, что могу ездить один в подземке, и, больше того, как правило, ездил бесплатно. Иногда, когда я нырял под турникет, меня ловили, и порой толстые черные леди, схватив меня, пользовались случаем, чтобы прочесть мне высокоморальную лекцию о непослушных детях, которые разбивают сердца своим родителям. Порой, делая все, что было в моих силах, чтобы они меня не приметили, я ухитрялся создать впечатление, будто нахожусь под присмотром какого-нибудь солидного мужчины или женщины; для этого я проскальзывал в подземку, держась к ним поближе, и потом скромно усаживался рядом. Лучше всего было изловчиться сесть между двумя

такими людьми, потому что каждый, естественно, мог подумать, что я еду с его соседом. Так я и сидел, все время опасаясь разоблачения, слушал шум поезда и следил за мелькающими мимо огнями станций. Поезд подземки, казалось мне, несется с бешеной скоростью, ничто с ним не может сравниться, и мне нравилась такая скорость, потому что в ней таилась опасность.

Во время таких путешествий я подолгу сидел и рассматривал людей. Многие выглядели нарядно — вечер был субботний. Волосы у женщин были завиты локонами или выпрямлены, а ярко-багровая помада на их полных губах сильно контрастировала с темными лицами. На них были какие-то чудные накидки или пальто самых ярких расцветок и длинные платья, у некоторых в волосах сверкали украшения, а к платью иногда были приколоты цветы. Красота их могла соперничать с красотой кинозвезд. И такого же мнения придерживались, по-видимому, сопровождавшие их мужчины.

Волосы у мужчин были блестящие и волнистые, высоко зачесанные на макушке, некоторые носили очень высокие шляпы с заливчато загнутыми на один бок полями, а на лацканах их разноцветных сюртуков красовался цветок. Они смеялись и разговаривали со своими девушками, но делали это вполголоса, потому что в вагоне находились белые. Белые почти никогда не выражались и вовсе не разговаривали друг с другом — только читали газеты и разглядывали рекламы и объявления. Но они приковывали мое внимание больше, чем цветные, потому что я о них ровным счетом ничего не знал и ума не мог приложить, что это за люди.

В подземке я получил свое первое представление о других районах Нью-Йорка и под землей же впервые ощутил то, что можно назвать гражданским страхом. Я очень скоро обнаружил, что стоило поезду, идущему в любом направлении, миновать определенную станцию, как все цветные пассажиры исчезали. Впервые, когда я это заметил, меня обуяла паника, и я совершенно растерялся. Я кинулся из вагона, с ужасом думая о том, что эти белые люди со мной сделают — ведь рядом не было ни единого цветного, который мог бы меня защитить; цветных я не боялся, хотя они могли меня отругать или даже побить, я знал, что цветные, уж во всяком случае, не имеют намерения меня прикончить, и я пересел в другой поезд только потому, что заметил там негра. Но почти все остальные пассажиры в вагоне были белые.

Поезд не остановился ни на одной известной мне станции, и я все больше сжимался от страха, боясь выйти из вагона и боясь в нем оставаться, боясь сказать что-нибудь этому негру и боясь, что он выйдет прежде, чем я успею задать ему вопрос. Он был моим спасением, и он стоял с неприступным и грозным видом, какой часто бывает у спасителя. На каждой станции я с отчаянием поднимал на него глаза.

А тут еще, как назло, я вдруг почувствовал, что хочу в уборную. Стоило мне это почувствовать, и терзания мои усилились; от одной мысли, что я напущу в штаны на глазах у всей публики, я едва не сходил с ума. В конце концов я потянул негра за рукав. Он посмотрел на меня с высоты своего роста — в глазах у него было сердитое удивление, — а затем, увидев отчаяние в моем взгляде, нагнулся ко мне.

Я спросил, есть ли в поезде туалет.

Он засмеялся.

— Нет, — сказал он, — но на станции есть. — Он снова на меня посмотрел. — Куда ты едешь?

Я ответил, что еду домой.

— А где твой дом?

Я сказал.

На этот раз он не засмеялся.

— А ты знаешь, где сейчас находишься?

Я покачал головой. В этот момент поезд подошел к станции и наконец-то остановился. Двери открылись, и мужчина отвел меня в туалет. Я поспешно вбежал туда, боясь, как бы он не ушел. Но я был рад, что он за мной не последовал.

Когда я вышел из туалета, он стоял, поджидая меня.

— Ты находишься в Бруклине, — сказал он. — Слышал когда-нибудь о Бруклине? Что ты здесь делаешь один?

— Я запутался, — сказал я.

— Знаю, что ты запутался. Но я хочу знать, как это произошло? Где твоя мама? Где твой папа?

Я чуть не сказал, что у меня нет ни мамы, ни папы, потому что мне понравилось лицо этого человека и его голос и у меня зародилась надежда, что вот сейчас он скажет, что у него нет маленького сынишки, воспользуется случаем и возьмет меня с собой. Но я ответил, что мои мама и папа сейчас дома.

— А они знают, где ты?

Я сказал:

— Нет.

Наступило молчание.

— Ну что ж, думаю, тебе здорово достанется, когда ты вернешься домой. — Он взял меня за руку. — Пошли.

Он повел меня вдоль платформы, а потом мы спустились на несколько ступеней, прошли узким переходом, снова поднялись на несколько ступеней и вышли на противоположную платформу. Этот маневр произвел на меня большое впечатление: чтобы достичь того же результата, я обычно выходил из подземки и попадал на улицу. Теперь, поскольку мучение мое окончилось, я вовсе не спешил расстаться со своим благодетелем. Я спросил его, нет ли у него маленького сынишки.

Есть, — сказал он. — Но уж если бы ты был моим сыном, я бы так исполосовал твою задницу, что ты неделю сидеть бы не смог.

Я спросил, сколько лет его сынишке, как его зовут и дома ли он сейчас.

— Пусть попробует не быть дома! — Он посмотрел на меня и рассмеялся. — Его зовут Джонатан. Ему всего пять лет.



Я ответил, что мне десять, скоро исполнится одиннадцать.

— Ты прескверный парнишка, — сказал он.

Я попытался изобразить на лице раскаяние, но мне и в голову не приходило отрицать этот факт.

— Так вот, смотри, — сказал он, — с этой платформы поезда идут к центру. Ты умеешь читать или никогда в школу не ходил? — Я уверил его, что читать умею. — Так вот, чтобы попасть домой, тебе надо будет пересест на другой поезд. — Он сказал мне, где пересест. — Смотри, я напишу тебе. — Он нашел в карманах листок бумаги, но карандаша у него не оказалось. Послышался шум приближающегося поезда. Он оглянулся раздраженно и беспомощно, посмотрел на свои часы, посмотрел на меня.

— Ладно. Я скажу кондуктору.

Но у кондуктора, стоявшего между вагонами, было довольно неприятное лицо багрового цвета. Мой провожатый с недоверием посмотрел на него.

— Может, он и ничего, но лучше не рисковать. — Он протолкнул меня впереди себя в вагон. — А знаешь, тебе повезло, что у меня есть сынишка. Если бы у меня его не было, клянусь, я бы отпустил тебя на все четыре стороны и ты бы совсем потерялся. Ты даже не знаешь, что меня теперь дома ждет — и все из-за тебя. Жена в жизни не поверит, если я расскажу, как все произошло.

Я попросил его дать мне свой адрес и сказать имя, чтобы я мог написать письмо его жене, а также сынишке.

В ответ он громко рассмеялся.

— Ты говоришь это потому, что знаешь: у меня нет карандаша. Чертовски ты хитрый парень.

Тогда я сказал ему, что нам, может, лучше вместе сойти и пойти к нему домой.

Он помрачнел.

— А что делает твой отец?

Вопрос этот поставил меня в тупик. Я долго смотрел на него, прежде чем ответить.

— Он работает в... — я не мог выговорить слово, — у него есть работа.

Мой спутник кивнул.

— Ясно. Он сейчас дома?

По правде говоря, я этого не знал и так и сказал, что не знаю.

— А что делает твоя мать?

— Она сидит дома.

Он снова кивнул.

— У тебя есть братья или сестры?

Я сказал, что нет.

— Ясно. Как тебя звать?

— Лео.

— Лео... Фамилия?

— Лео Праудхэммер.

Он что-то прочел в моем взгляде.

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь, Лео?

— Я хочу быть... — И я сказал то, в чем никому еще не признавался. — Я хочу быть киноактером. Я хочу стать... актером.

— Худоват ты для актера, — заметил он.

— Ничего, — сказал я. — Кaleb собирается научить меня плавать. Тогда я сразу раздамся в плечах.

— Кто этот Кaleb?

Я открыл было рот и начал говорить. Но вовремя спохватился — как раз когда поезд с шумом подошел к станции. Он глянул в окно, но не пошевелился, чтобы встать.

— Он умеет плавать, — сказал я.

— Ага, — сказал мой спутник после долгой паузы, во время которой дверь закрылась и поезд снова двинулся. — И что, он хороший пловец?

Я сказал, что Калев — лучший пловец во всем мире.

— О'кэй, — сказал мой провожатый, погладил меня по голове и улыбнулся.

Я спросил, как его зовут.

— Чарльз, — ответил он. — Чарльз Вильямс. Но ты лучше зови меня дядя Чарльз, чертенок ты этакий, потому что ты определенно погубил мне субботний вечер. — Поезд подошел к станции. — Вот здесь мы сделаем пересадку.

Мы вышли из вагона, пересекли платформу и стали поджидать свой поезд.

— Ну вот, — сказал он, — этот поезд остановится как раз там, где тебе надо. Скажи мне, куда ты направляешься?

Я с удивлением уставился на него.

— Я хочу, чтобы ты точно ответил, куда ты держишь путь. Хватит дурить мне голову.

Я сказал.

— Ты уверен, что не ошибаешься?

Я сказал, что уверен.

— У меня прекрасная память, — сказал он. — Дайка мне свой адрес. Просто скажи, а я запомню.

И я дал адрес, не отрывая от него глаз, а поезд в это время уже подошел.

— Если ты сейчас же не отправишься домой, — сказал он, — я поеду и повидаюсь с твоим отцом, и, когда мы тебя вдвоем отыщем, ты об этом сильно пожалеешь. — Он втолкнул меня в поезд и плечом придержал дверь.

— Ну, поезжай, — сказал он достаточно громко, чтобы слышал весь вагон. — Твоя мама встретит тебя на станции, где я велел тебе сойти. — Он повторил название моей станции, сильнее прижал неподатливую дверь плечом и затем уже мягче добавил: — Садись, Лео.

Он стоял в дверях, пока я не сел.

— Пока, Лео, — сказал он и вышел из вагона. Двери закрылись. Он улыбнулся мне и помахал на прощание рукой, и поезд тронулся.

Я помахал в ответ. А затем он исчез, и станция исчезла, и я поехал обратно домой.

Никогда я больше не видел этого человека, но придумывал в уме разные истории о нем, мечтал о нем и даже написал письмо ему, и его жене, и его сынишке, но так это письмо и не отправил.

Я никогда ничего не рассказывал Калебу о моих одиноких путешествиях. Даже не знаю почему. Мне кажется, ему было бы интересно о них услышать. Может быть, я потому не рассказывал, что где-то в глубине души считал, что мои приключения принадлежат лишь мне одному.

В другой раз шел дождь, и было еще слишком рано возвращаться домой. В этот день на душе у меня было очень-очень уныло. На меня как раз нашло: язык и все тело отказывались мне служить, и я не способен был заставить попросить кого-нибудь провести меня в зрительный зал. Контролер у двери наблюдал за мной — а может, мне просто так казалось — с враждебной подозрительностью в глазах. Скорее всего он совсем ни о чем не думал и, уж во всяком случае, меньше всего думал обо мне. Но я ушел, потому что не мог больше выносить его взгляда, да и чьего бы то ни было вообще.

Я побрел вдоль длинного квартала домов на восток от кинотеатра. Улица была пустынна, темна, и тротуар блестел от дождя. Пальто на плечах у меня промокло, и вода с шапки стекала за воротник.

Мне сделалось страшно. Не мог я больше ходить под дождем, потому что отец с матерью догадались бы, что я шатался по улицам. Мне зададут за это трепку, а между отцом и Калевом может произойти ужасная ссора, и Калев скорее всего во всем обвинит меня и перестанет со мной на много дней разговаривать.

Я стал злиться на Калеба. Интересно, где он сейчас шатается? Я быстро пошел по направлению к дому просто потому, что не мог придумать, что бы еще предпринять. А вдруг Калев дожидается меня на крыльце?

Авеню была тоже безлюдной и бесконечно длинной. Она напоминала мне какую-то знакомую картину в книге. Авеню тянулась передо мной прямой лентой, и уличные фонари не столько освещали ее, сколько подчеркивали царящую кругом темноту. Дождь полил сильнее. Мимо проезжали машины, окатывая меня брызгами. Из баров неслись приглушенная музыка и шум голосов. Впереди шла женщина, шла

очень быстро, опустив голову, и несла сумку с провизией. Я дошел до своей улицы и пересек широкую авеню. На нашем крыльце никого не было.

Я не имел даже представления, который час, но знал, что фильм еще кончиться не мог. Я вошел в наш коридор и стряхнул кепку. Я жалел, что не уговорил кого-нибудь провести меня на фильм, и не знал, куда теперь деваться. Я, конечно, мог подняться наверх и сказать, что фильм нам не понравился и мы ушли раньше и что Калев стоит со своими друзьями на крыльце. Но это прозвучало бы странно, и Калев, который не знал, какую я сочинил историю, придя домой, был бы застигнут врасплох.

В этом коридоре стоять было нельзя, потому что отец, возможно, ушел из дому и мог явиться в любую минуту. Не решался я и войти в коридор другого подъезда, потому что, стоило кому-нибудь из ребят, живущих в этом подъезде, меня увидеть, и мне не миновать порки. Не мог я и вернуться на улицу под дождь. Я прислонился к большому холодному радиатору и стал плакать. Но и плач мне мало чем мог помочь — ведь никто меня не слышал.

И вот я снова вышел на крыльцо и стоял там довольно долго, раздумывая, что делать дальше. Потом я вспомнил о проклятом доме, что находился за углом от нас. Мы там иногда играли, хотя это было сопряжено с опасностью и нам не разрешалось там играть. Что заставило меня теперь туда отправиться, не знаю, кроме разве того обстоятельства, что во всем свете я не мог найти другого защищенного от дождя места. Я свернул направо и побежал вдоль улицы. Свернув еще два раза за угол, я очутился перед домом с темными зияющими окнами. Дом был полностью погружен во тьму. Я позабыл в этот момент, как я боялся темноты, потому что дождь вконец доконал меня. Я спустился по лестнице, ведущей в подвал, и забрался в дом через одно из разбитых окон. Там в кромешной тьме и тишине я уселся на корточки, трясясь от страха, не осмеливаясь оглянуться вокруг, и смотрел только в окно. Я сидел затаив дыхание. Потом послышалась какая-то возня в темноте, непрерывающееся движение, и я вспомнил о крысах, о том, какие у них зубы, какие они свирепые и какие огромные, и тут я снова заплакал.

Не знаю, долго ли я сидел так на корточках и плакал и что еще приходило мне на ум. Я прислушивался к шуму дождя и шороху крыс. И тут вдруг ухо мое различило еще один звук — я уже некоторое время слышал его, не сознавая, что это может быть. Это походило на стон, на вздохи, словно кого-то душили, и звук этот смешивался с шумом дождя и с ворчливым сердитым человеческим голосом. Звуки шли из двери, ведущей на задний двор.

Мне хотелось встать, но я еще сильнее сжался и припал к земле, мне хотелось бежать без оглядки, но я не мог двинуться с места. Порой звуки, казалось, приближались, и я знал, что это грозит мне гибелью; порой они приглушались или совсем прекращались, и тогда мне чудилось, будто враг наблюдает за мной. Я посмотрел в сторону двери, и мне показалось, что я различаю очертания фигуры на фоне проливного дождя; фигура была полусогнутой, и человек стонал, прислонившись к стене, испытывая невероятные страдания. Затем мне показалось, что я вижу две фигуры, вцепившиеся друг в друга, шумно дышащие, два существа, оба охваченные страшным, всепоглощающим, единственным желанием — удушить друг друга!

Я наблюдал, распластавшись на полу. Странное, непонятное возбуждение смешалось в моей душе со страхом и усугубляло этот страх. Я не мог двинуться с места. Не смел пошевелиться. Фигуры теперь немного успокоились. Мне показалось, что одна из них — женщина, и она, по-видимому, плакала, умоляла сохранить ей жизнь. Ворчливые, смачные ругательства посыпались снова: убийственная жестокость возобновилась с новой ужасающей силой. Рыдания начали нарастать, набирать силу, словно песня.

Затем все стихло, всякое движение прекратилось. Слышен был только шум дождя и шорох крыс. Все кончилось — один из них или они оба лежали, растянувшиеся на полу, мертвые или умирающие, в этом отвратительном месте. Такое случалось в Гарлеме каждую субботу. Я не мог подавить страх и закричать. Затем раздался смех, низкий, счастливый, идиотский смех, и фигура повернулась в мою сторону и, казалось, двинулась на меня.

И тут я закричал и встал во весь рост, ударившись головой об оконную раму; кепка слетела у меня с головы, и я стал карабкаться вверх по лестнице, выбираясь из подвала. Я помчался по улице, опустив голову, словно бык, подальше от этого дома и от этого квартала. Добежал до ступенек своего крыльца и

наткнулся на Калеба.

— Какого черта, где ты околачивался?! погоди! Что это с тобой такое?

Я налетел на него, чуть не сбив его с ног, весь дрожа и плача.

Ты промок до нитки, Лео. В чем дело? Где твоя кепка?

Но я не мог слова вымолвить. Я обнял его руками за шею со всей силой, однако дрожь во мне не унималась.

— Ну, давай, Лео, — сказал Калеб уже другим тоном. — Скажи мне, что произошло.

Он расцепил мои руки и отстранился от меня, чтобы лучше разглядеть мое лицо.

— Эх, Лео, Лео! В чем дело, бэби? — Вид у него был такой, словно он сам вот-вот заплачет, и от этого и разревелся еще сильнее; он вынул свой носовой платок, и вытер мне лицо, и заставил высморкать нос. Мои рыдания понемногу утихли, но я никак не мог унять дрожь. Он думал, что я дрожу от холода, и стал с силой растирать мне спину сверху вниз, потом растер мне руки.

— Что случилось?

Я не знал, как ему рассказать.

— Кто-нибудь пытался тебя побить?

Я покачал головой:

— Нет.

— Какой фильм ты смотрел?

— Я не пошел в кино. Не мог никого найти, кто бы меня провел.

— И весь вечер шатался по улице под дождем?

— Да.

Калеб уселся на ступеньки.

— Ох, Лео. — Затем: — Ты сердишься на меня?

Я сказал:

— Нет. Я просто испугался.

Он кивнул:

— Похоже, что это так, парень. — И снова обтер мне лицо.

— Можешь идти наверх? Уже поздно.

— Хорошо.

— Где ты потерял кепку?

— Я вошел в подъезд, хотел стряхнуть ее, положил на радиатор и услышал, как вошли люди, и... убежал, и позабыл про нее.

— Скажем, что ты забыл ее в кино.

— Ладно.

Мы стали подниматься по лестнице.

— Лео, — сказал он. — Извини меня за сегодняшний вечер. Мне, честное слово, очень жаль. Больше это не повторится. Ты мне веришь?

— Конечно, верю. — Я улыбнулся ему.

Он присел на корточки:

— Поцелуй-ка меня.

Я поцеловал его.

— О'кэй. Влезай. Я тебя повезу. Держись!

Я взобрался к нему на закорки, обнял руками за шею, и он стал подниматься по лестнице.

После этого случая мы разработали план действий, который, надо сказать, служил нам на славу. Когда дело грозило бедой, а Калеба я нигде не мог разыскать, я оставлял для него записку в одном магазине на авеню. Об этом магазине шла дурная слава — торговали там не только конфетами, сосисками и напитками; сам Калеб поведал мне об этом и велел меньше туда заглядывать. Но обещал позаботиться о том, чтобы меня там не обижали.

Как-то в субботу я зашел в этот магазин, и один из парней, вечно там околачивающихся, примерно

ровесник Калеба, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:

— Ты ищешь своего брата? Пошли, я тебя провожу к нему.

Это у нас не было согласовано. Я мог дать отвести себя к Калебу лишь в случае крайней необходимости, а сейчас был вовсе не такой случай. Я очутился здесь потому, что фильм окончился раньше обычного, было только четверть двенадцатого, и я подсчитал, что мне еще с полчаса придется дожидаться Калеба.

Когда парень сделал мне такое предложение, я решил, что это ему, видимо, посоветовал хозяин магазина, молчаливый негр очень сурового вида, который взирал на меня из-за прилавка.

Я сказал: «Ладно», а парень, его звали Артуром, сказал:

— Идем, сынок. Поведу тебя в компанию. — Он взял меня за руку, и мы пошли через авеню вдоль длинного темного квартала домов.

Мы молча прошли весь квартал, пересекли еще одну авеню и вошли в большой дом посредине следующего квартала. Мы очутились в просторном вестибюле, где мрачно взирали друг на друга четыре запертые двери. Вестибюль не отличался безупречной чистотой, но внешне все выглядело прилично. Мы поднялись по лестнице на бельэтаж. Артур постучал в дверь каким-то забавным стуком, негромко. Через минуту послышался скрежет, затем звон цепочки и скрип отодвигаемой дверной задвижки. Дверь отворилась.

Совсем черная и довольно полная леди в голубом платье придержала нам дверь. Она сказала:

— Входи. А зачем с тобой этот ребенок?

— Так надо. Все в порядке. Это братишка Калеба.

Мы двинулись по узкому темному коридору к гостиной; двери комнат по обеим сторонам коридора были заперты. Одна из комнат оказалась кухней. Запах жаркого напомнил мне, что я голоден. Гостиная состояла из двух комнат. Комната в глубине выходила окнами на улицу. В гостиной находилось шесть или семь человек — мужчин и женщин. Они смеялись и перебрасывались шутками, и вид у них был точно такой же, как у тех пугавших меня мужчин и женщин, которых я видел перед барами на углу.

Но здесь эти люди не показались мне такими уж страшными. Играла радиолоа, не очень громко. В руках все держали стаканы с выпивкой, и по всей комнате стояли тарелки с остатками еды. Калеб сидел на диване, обняв за талию девушку в желтом платье.

— Вот твой братишка, — сказала полная черная леди в голубом.

Артур обратился к Калебу:

— Сегодня ему не стоило ждать тебя там.

Калеб посмотрел на меня и улыбнулся. Мне стало легче на душе, когда я увидел, что он на меня не сердится. Мне нравилась эта компания, хотя я и робел слегка.

— Иди сюда, — позвал Калеб. Я подошел к дивану. — Это мой младший братишка. Его зовут Лео. Лео, это Долорес. Поздоровайся с Долорес.

Долорес улыбнулась — она показалась мне очень хорошенькой — и сказала:

— Я счастлива познакомиться с тобой, Лео. Как ты поживаешь?

— А ты не хочешь узнать, как она поживает? — усмехнулся Калеб.

— Нет, — ответила полная черная леди и засмеялась. — Я уверена, что он не хочет этого знать. И по— моему, он голоден. Ты-то за весь вечер наелся до отвала, Калеб. Разреши, я дам ему немного своего жаркого и стакан имбирного пива. — Она уже было направилась со мной из гостиной. Я посмотрел на Калеба.

Калеб сказал:

— Запомни, мы тут не весь вечер сидели. Лео, это мисс Милдред. Она умеет готовить разные кушанья, и она мой хороший друг. Что нужно сказать мисс Милдред, Лео?

— Брось ты, Калеб, строить из себя примерного брата, — заметил Артур и рассмеялся.

— Спасибо, мисс Милдред, — сказал я.

— Идем на кухню, — сказала она, — дай-ка я попробую нарастить на твои кости немного мяса. — Она провела меня на кухню. — Сядь-ка вон там. Сейчас я подогрею. — Она усадила меня за кухонный стол, дала салфетку и налила имбирного пива.

— В каком ты классе, Лео? — Я сказал ей. — Значит, ты уже умный мальчик, — сказала она с добродушной усмешкой. — Ты любишь ходить в школу, Лео?

Я ответил, что больше всего люблю испанский, историю и сочинение.

Тут вид у нее сделался еще более добродушный.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Я почему-то не мог сказать ей того, что сказал человеку в поезде, моему другу. Я ответил, что не уверен, но, может быть, стану школьным учителем.

— Об этом и я мечтала, — с гордостью заявила она, — и тоже много училась, чтобы добиться этого, и верила, что добьюсь, но потом вынуждена была оставить школу — связалась с никчемным Нигером, совсем потеряла разум. Ничего лучшего не могла придумать, как выйти за него замуж. Представляешь себе? — И она засмеялась и поставила передо мной тарелку.

— Ну а теперь принимайся за еду. Дурная моя голова! Ну вот, к примеру, твой брат, — вдруг сказала она. — Он хороший, примерный парень. Он хочет многого достичь. У него есть честолюбие. Это мне нравится — честолюбие. Не дай ему свалить дурака. Как сделала я. Тебе понравилось мое жаркое?

— Да, мэм, — ответил я, — очень вкусно.

— Хочешь еще пива? — сказала она и налила мне пива.

Я почувствовал, что больше в меня не лезет. Но мне не хотелось уходить, хотя я знал, что теперь-то уже действительно могу опоздать домой. Пока мисс Милдред болтала и хозяйничала на кухне, я прислушивался к голосам в другой комнате, к голосам и к музыке. Играли какую-то медленную, ленивую танцевальную мелодию, на мелодия уже звучала во мне вместе с другой, более живой музыкой, из которой эта ленивая музыка рождалась. Голоса не соответствовали музыке, хотя и пели в лад. Я прислушивался к голосу девушки, печальному и низкому, полному тоски и в то же время таящему в себе задор и веселье. Комната была вся полна смеха. Он прокатывался по гостиной и бил в стены кухни.

Время от времени раздавался густой голос Калеба — он гудел, как барабан, в такт музыке. Интересно, часто ли Калеб бывает здесь и как он познакомился с этими людьми, настолько непохожими — так, по крайней мере, мне казалось — на всех людей, которые когда-либо навещали наш дом.

И тут я почувствовал руку Калеба у себя на затылке. В дверях, улыбаясь, стояла Долорес.

— Ну как, наелся досыта, малыш? — спросил Калеб. — Нам пора отсюда выбираться.

Мы медленно двинулись по коридору — мисс Милдред, Долорес, Калеб и я. Дошли до двери, подпертой металлическим шестом таким образом, чтобы ее невозможно было открыть снаружи; над тремя замками висела тяжелая цепочка.

Мисс Милдред начала терпеливо открывать дверь.

— Лео, — сказала она, — не пропадай совсем. Заставь своего брата, пусть он тебя снова приведет со мной повидаться, слышишь? — Она отодвинула шест, затем сняла цепочку и повернулась к Калебу. — Приведи его как-нибудь днем. Мне днем нечего делать. Я буду рада за ним присмотреть. — Последний замок поддался, и мисс Милдред открыла дверь. Нас ослепил яркий свет в вестибюле; нет, помещение чистотой явно не отличалось.

— Спокойной ночи, Лео, — сказала мисс Милдред, затем пожелала спокойной ночи Долорес и Калебу и закрыла дверь.

Я снова услышал скрежещущий звук, и мы стали спускаться по лестнице.

— Она хорошая, — сказал я.

Калеб, зевая, согласился.

— Да, она очень милая женщина. Но не вздумай никому дома это говорить, — прибавил он. — Слышишь? — Я поклялся, что не скажу. — Это наш с тобой секрет, — сказал Калеб.

На улице теперь стало гораздо холоднее. Калеб взял Долорес под руку.

— Мы проводим тебя до подземки, — сказал он.

И мы направились по широкой темной авеню. Добрались до ярко освещенного киоска, который внезапно возник на тротуаре, словно какой-то невиданно причудливый навес или огромный пылесос.

— Пока, — сказал Калеб и поцеловал Долорес в нос. — Мне надо бежать. Увидимся в понедельник,

после уроков.

— Пока, — сказала Долорес. Она нагнулась и быстро поцеловала меня в щеку. — Пока, Лео. Не шали. — И побежала вниз в подземку.

Мы с Калебом двинулись быстрым шагом по авеню, в сторону нашего квартала. Станция подземки находилась рядом с кинотеатром, и кинотеатр был погружен во тьму. Мы знали, что уже поздно, но не предполагали, что настолько поздно.

— Картина была очень длинная, правда? — спросил Калеб.

— Да, — сказал я.

— А что мы смотрели? Расскажи-ка лучше про оба фильма. На всякий случай.

Мы быстро шли по авеню, и я, стараясь вовсю, рассказывал ему содержание фильмов. Калеб умел внимательно слушать и из того, что я рассказывал, умел отобрать нужное и сообразить, что сказать, если возникнет необходимость.

Но в этот вечер нас постигла совсем неожиданная беда, родители тут были ни при чем. Я только дошел до того места в своем торопливом рассказе, когда добрую девушку убивают индейцы и герой жаждет отомстить убийцам. Мы поспешно шли вдоль домов, тянувшихся к востоку от нашего дома, когда услышали, как затормозила машина, нас ослепил яркий свет фар и оттолкнуло к стене.

— Повернитесь к стене, — сказал голос. — И поднимите вверх руки.

Может показаться смешным, но я почувствовал себя так, словно над нами с Калебом совершилось волшебство и мы перенеслись в какой-то фильм, словно я накликал на нас беду своим рассказом. Может, нам теперь пришел конец? Никогда в жизни я не испытывал подобного страха...

Мы сделали, как нам было приказано. Под пальцами и ощущал шероховатый кирпич. Чья-то рука ощупала меня сверху донизу, и каждое ее прикосновение казалось мне унижительным. Рядом стоял Калеб, я слышал, как он затаил дыхание.

— Теперь повернитесь, — приказал голос.

Большие фары погасли; я увидел полицейскую машину, стоящую у обочины тротуара с открытыми дверными. Я не осмеливался взглянуть на Калеба, каким-то чутьем я понимал, что это будет использовано против нас. Я уставился на двух молодых белых полисменов; они стояли, сжав губы, с важным выражением на лицах.

Они навели фонарик сначала на Калеба, потом на меня.

— Куда вы, ребята, направляетесь?

— Домой, — ответил Калеб. Я слышал его тяжелое дыхание. — Мы живем в соседнем квартале. — И он сказал точный адрес.

— Где вы были?

Я почувствовал, какое Калеб делает над собой усилие, чтобы не поддаться гневу и держать себя в руках.

— Мы просто проводили мою знакомую к подземке. Мы ходили в кино. — Затем он устало и горько выдавил из себя: — А это мой брат. Я веду его домой. Ему всего десять лет.

— Какой вы смотрели фильм?

И Калеб сказал им. Я подивился его памяти. Но я также понимал, что фильм-то кончился больше часа назад, и боялся, что полисмены могут это сообразить. Но они не сообразили.

— Есть у вас какое-нибудь удостоверение?

— У брата нет, у меня есть.

— Покажи.

Калеб вынул свой бумажник и протянул им.

Они просмотрели его бумажник, взглянули на нас, вернули бумажник.

— Идите-ка домой, — сказал один из них. Потом они сели в машину и укатили.

— Спасибо, — сказал Калеб, — спасибо вам, подонки-христиане.

Его акцент теперь был безнадежно островной, такой же, как у нашего отца. Раньше я у него никогда подобного акцента не слышал. А потом он вдруг посмотрел на меня, засмеялся и потрепал по спине:

— Пошли домой, малыш. Ты испугался?

— Да, — признался я, — а ты?

— Да, черт возьми, я не на шутку струхнул. Но они, должно быть, все-таки разглядели, что тебе не больше десяти.

— По тебе не видно было, что ты испугался, — сказал я.

Мы уже дошли до своего дома, приближались к нашему крыльцу.

— Ну, теперь-то уж у нас действительно есть причина, почему мы опоздали, — заметил он и усмехнулся. А потом добавил: — Лео, я хочу тебе кое-что сказать. Я рад, что это произошло. Это должно было когда-нибудь произойти, и, конечно, я рад, что это случилось в такой момент, когда я был с тобой рядом. Я рад, что и ты был со мной, иначе они бы меня арестовали.

— За что?

— За то, что я черный, — сказал Кaleb, — вот за что.

Я ничего не ответил. Я промолчал, потому что он сказал правду, и я это знал. Должно быть, я это знал всегда, хотя никогда не заводил разговор на эту тему. Но я этого не понимал. Меня переполняло чувство ужасного смутения. Мне сдавило грудь, язык словно отнялся. «Потому что ты черный». Я пытался вдуматься, но у меня не получалось. Перед глазами снова стоял тот полицейский, его жестокие глаза убийцы, его руки. Неужели они тоже люди?

— Кaleb, — спросил я, — белые тоже люди?

— Что ты такое говоришь, Лео?

— Я хочу спросить, белые — разве они люди? Люди, как мы?

Он посмотрел на меня с высоты своего роста. На лице его было какое-то странно печальное выражение. Такого выражения лица я у него никогда прежде не видел. Мы уже вошли в дом и поднялись на несколько ступеней очень медленно. И тут он произнес:

— Я могу сказать тебе одно, Лео, они-то не считают себя такими же людьми, как мы.

Я вспомнил нашего хозяина. Потом я подумал о своей школьной учительнице, о леди по имени миссис Нельсон. Она мне очень нравилась. Мне она казалась очень красивой. У нее были длинные золотистые волосы, как у актрисы, которую я видел в кино, и она красиво смеялась, и мы все ее любили, все мои знакомые ребята. Ребята не из ее класса мечтали попасть к ней в класс. Мне нравилось писать у нее сочинения, потому что ей всегда было интересно все то, что мы делали. Но она была белая. Неужели она всю жизнь стала бы меня ненавидеть только за то, что я черный? Мне это казалось невероятным. Ведь сейчас-то она не питала ко мне ненависти. На этот счет у меня не было ни малейших сомнений. И все-таки Кaleb сказал правду.

— Кaleb, — спросил я, — все белые люди одинаковые?

— Я никогда ни одного хорошего не встречал.

Я спросил:

— Даже когда был маленький? В школе?

Кaleb сказал:

— Может быть. Не помню. — Он улыбнулся. — Никогда хороших не встречал, Лео. Но это не значит, что тебе тоже не повезет. Ну что ты так перепугался?

Мы стояли перед нашей дверью. Кaleb поднял руку, чтобы постучать. Я остановил его.

— Кaleb, — прошептал я, — а как же мама?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, мама... — Я уставился на него; он с мрачным видом наблюдал за мной.

— Мама, мама... она ведь почти белая.

— Но это еще не значит, что она белая. Чтобы называться белым, нужно быть совсем белым. — Он засмеялся. — Бедняжка Лео. Не грусти. Я знаю, тебе это еще непонятно. Я попытаюсь тебе разъяснить постепенно. — Он сделал паузу. — Наша мама — цветная. Уже потому, что она замужем за цветным мужчиной, она сама считается цветной, и у нее двое цветных детей. И ты знаешь, что ни одна белая леди подобной вещи никогда не сделает. — Он с улыбкой следил за мной. — Понимаешь? — Я кивнул. — Ну

ты что, собираешься меня здесь всю ночь продержать со своими вопросами или мы наконец войдем?

Он постучал, и наша мама открыла дверь.

Поздновато, — сухо сказала она. Волосы ее были забраны в пучок на макушке, мне такая прическа очень нравилась. — Вы, должно быть, четыре, пять раз просмотрели фильм. Так и глаза можно испортить, а хорошего в этом мало, ведь вы прекрасно знаете, что денег на очки у нас нет. Лео, иди готовься мыться.

— Пусть подойдет ко мне на минутку, — сказал отец. Он сидел на качалке около окна. Он был пьян, но не так пьян, как с ним бывало, а просто сильно навеселе. В таких случаях у него делалось хорошее настроение. И он любил рассказывать о своих островах, о своей матери и об отце, родственниках и знакомых, о праздниках, о песнях своей родины, о танцах и о море.

Я подошел к нему, и он, улыбаясь, притянул меня к себе, зажал между коленей.

— Ну, как поживает мой взрослый мужчина? — спросил он и ласково потрепал меня по голове. — Ты хорошо провел сегодня время?

Калев уселся рядом на стул и наклонился вперед.

— Пусть Лео расскажет, почему мы так запоздали сегодня. Скажи им, Лео, что случилось.

— Мы уже дошли до нашего квартала, — начал я, наблюдая за лицом отца. И тут мне вдруг не захотелось ему рассказывать. Что-то в голосе Калеба насторожило отца, и он следил за мной с сердитым испугом. Вошла мать и стала позади его кресла, положив ему на плечо руку. Я посмотрел на Калеба.

— Может, ты сумеешь рассказать лучше меня? — спросил я.

— Начинай. Я дополню.

— Мы шли вдоль квартала, — сказал я, — возвращались из кино... — Я посмотрел на Калеба.

— Обычно мы другим путем возвращаемся, — заметил Калев.

Мы с отцом переглянулись. И нас обоих вдруг обуяла непреодолимая грусть. Она появилась неизвестно по какой причине.

— Нас остановили полицейские, — сказал я. И больше не мог продолжать. Я беспомощно посмотрел на Калеба, и Калев досказал остальное.

Пока Калев говорил, я следил за отцом. Не знаю, как описать то, что я увидел. Я почувствовал, как рука его сжимается все сильнее и сильнее, на губах залегла горькая складка, глаза сделались печальными. Вид у него стал такой, словно после неопишимо тяжелого усилия, которое чуть не стоило ему жизни, после суровых лет воздержания и молитв, после потери всего, что он имел, и после того, как всевышний заверил его, что он замолил свой грех и больше ничего не потребует от его души, которая наконец-то обрела покой, в самый разгар радостного праздника, среди песен и плясок, где он восседал в царских одеждах, увенчанный короной, прибыл вестник и объявил ему, что произошла величайшая ошибка и что все придется проделать снова. Затем у него на глазах исчезли все яства, вина и нарядные гости, с него сняли корону и мантию, и он остался один, лишенный своей мечты, а все то, что, как он думал, отошло в прошлое, ему предстояло пережить сызнова.

Вид у отца сделался совсем растерянный. Он, казалось, был близок к безумию, а рука, которая меня обнимала, начала причинять мне боль, но я сдерживался. Я положил ему руку на лицо и повернул к себе; он улыбнулся — какой красивый он был в этот момент! — и своей большой рукой прикрыл мою. Он повернулся к Калебу:

— Это все? И ты им ничего не сказал?

— А что я мог сказать? Другое дело, окажись я там один. Но со мной был Лео, и я испугался за него.

— Да, ты правильно поступил. Придаться не к чему. Ты не запомнил номер у них на бляхах?

Калев усмехнулся:

— К чему? У тебя разве есть знакомый судья? Мы разве можем заплатить адвокату? Кому-нибудь, с кем они посчитаются? Они засадят нас в участок и заставят сознаться во всевозможных грехах, а могут и убить, и всем на это наплевать. Разве кого-нибудь беспокоит судьба негра? Если бы они не нуждались в нас как в рабочей силе, они бы всех нас давно уничтожили. Как сделали с индейцами.

— Это правда, — сказала мать. — Хорошо, если бы это было не так, но, к сожалению, все так и есть.

— Она погладила отца по плечу. — Мы должны поблагодарить судьбу за то, что не случилось худшего.

Слава богу, дети благополучно вернулись сегодня домой.

Я спросил:

— Папа, как получилось, что они с нами так поступают?

Отец посмотрел на меня долгим взглядом. И наконец сказал:

Лео, если бы я мог тебе на это ответить, наверно, я сумел бы тогда сделать так, чтобы все это прекратилось. Но не позволяйте им себя запугать. Слышите?

Я сказал:

— Да, сэр. — Но почувствовал, что уже напуган.

— Давайте оставим эту тему, — сказала мать. — Если вы, дети, голодны, я оставила вам две отбивные.

Калеб подмигнул мне.

— Малыш Лео, возможно, и голоден. Он не дурак покушать. Но я сыт. Послушай, старик. — Он слегка подтолкнул отца в бок, сегодня нам ни в чем не могло быть отказа. — Может, отведаем твоего рома? А?

— Я пойду принесу, — засмеялась мать и пошла к двери.

— Может, и Лео немного дадите попробовать? — сказал отец. Он посадил меня на колени.

— Попролам с водой, — весело отозвалась мать и, прежде чем войти в кухню, бросила на нас взгляд.

— Подумать только, какие мужчины меня окружают, — сказала она. — Ай-ай-ай!

ФЛАННЕРИ О'КОННОР



«ГИПСОВЫЙ НЕГР»

Проснувшись, мистер Хед увидел, что комната залита лунным светом. Он сел в постели и посмотрел на половицы — цвета серебра! — на тиковую наволочку, которая казалась парчовой, и тут же увидел в пяти шагах, в зеркале для бритья, половину луны, будто ждущей, чтобы он разрешил ей войти. Она покатилась дальше, и ее свет облагородил все предметы в комнате. Стул у стены словно замер в готовности исполнять приказания, а висящие на нем брюки мистера Хеда выглядели прямо-таки аристократично, точно брошенное на руки слуге одеяние вельможи. Но луна была печальна. Лунный диск в зеркале смотрел в окно на лунный диск, плывущий над конюшней, и, казалось, созерцал самого себя глазами юноши, которому представилась его старость.

Мистер Хед мог бы сказать луне, что старость — это дар божий и что только с годами приходит

трезвое понимание жизни, необходимое наставнику молодежи. С ним, по крайней мере, было так.

Сидя, он ухватился за прутья в изножии кровати и подтянулся, чтобы увидеть циферблат будильника, который стоял на перевернутом ведре возле стула. Было два часа ночи. Звонок будильника был испорчен, но мистер Хед и без всяких приспособлений умел просыпаться вовремя. Ему стукнуло шестьдесят, но годы не притупили его реакций; его телом и душой управляли воля и сильный характер, и эти качества были написаны у него на лице — длинном лице с длинным закругленным бритым подбородком и длинным повисшим носом. Глаза — живые, но спокойные — в чудодейственном свете луны смотрели бесстрастно и умудренно; такие глаза могли быть у одного из великих наставников человечества. У Вергилия, которого подняли среди ночи и послали сопровождать Данте, или, вернее, у ангела Рафаила, когда свет господень разбудил его, чтобы он сопутствовал Товии. Темно было только в тени под самым окном, там, где стояла раскладушка Нелсона.

Нелсон свернулся клубочком, прижав колени к подбородку. Коробки с новым костюмом и шляпой, присланными из магазина, стояли на полу около раскладушки, чтобы быть у него под рукой, как только он проснется. Ночной горшок, на который уже не падала тень, в лунном свете казался белоснежным маленьким ангелом, охранявшим сон ребенка. С уверенностью, что ему по плечу воспитательная миссия предстоящего дня, мистер Хед улегся снова. Он хотел встать пораньше Нелсона и приготовить завтрак к тому времени, когда он проснется. Мальчик всегда злился, если мистер Хед вставал раньше его. Чтобы поспеть на станцию к половине шестого, выйти надо в четыре. Поезд подойдет в пять сорок пять, и опоздать никак нельзя — ведь его остановят только ради них.

Мальчик едет в город первый раз, хотя и твердит, что второй, поскольку он там родился. Мистер Хед пробовал объяснить ему, что тогда он был еще совсем глупый и не мог понимать, где находится, но мальчик заладил свое и ничего слушать не хочет. Сам мистер Хед едет в третий раз.

Нелсон сказал ему:

— Мне вот десять лет, а я уже второй раз еду.

Мистер Хед стал с ним спорить.

— Ты там пятнадцать лет не был, — сказал Нелсон, — а вдруг ты заблудишься? Там теперь небось все по-другому.

— А ты когда-нибудь видел, чтобы я заблудился? — спросил мистер Хед.

Нелсон, конечно, этого не видел, но он любил, чтобы последнее слово оставалось за ним, и ответил:

— А тут и заблудиться-то негде.

— Придет день, — изрек мистер Хед, — и ты поймешь, что не такой уж ты умник, как тебе кажется.

Он вынашивал план этой поездки несколько месяцев, думая, правда, в основном о ее воспитательной цели. Мальчик получит урок на всю жизнь. Он перестанет задирать нос из-за того, что родился в городе. Поймет, что в городе нет ничего хорошего. Мистер Хед покажет ему город, как он есть, чтоб ему до конца жизни больше не захотелось уезжать из дому. В конце концов мальчик поймет, что не такой уж он умник, как ему кажется, думал мистер Хед, засыпая.

В половине четвертого его разбудил запах жареного сала, и он вскочил на ноги. Раскладушка была пуста, а коробки раскрыты. Он натянул брюки и побежал в кухню. Мясо было готово, на плите жарилась кукурузная лепешка. Мальчик сидел в полутьме за столом и пил из жестянки холодный кофе. Он был в новом костюме, новая серая шляпа съехала ему на глаза. Она была ему велика — на рост куплена. Нелсон молчал, но весь его вид говорил о том, как он доволен, что встал раньше мистера Хеда.

Мистер Хед подошел к плите и взял сковородку с мясом.

— Торопиться некуда, — сказал он. — Успеешь в свой город, и к тому же еще неизвестно, понравится тебе там или нет.

И он сел напротив мальчика, а шляпа Нелсона медленно передвинулась на затылок, открыв вызывающе бесстрастное лицо — живой портрет мистера Хеда. Дед и внук были похожи, как братья и чуть ли не братья-погодки, потому что при дневном свете в облике мистера Хеда проглядывало что-то детское, а у мальчика были глаза старика, который все на свете уже знает и был бы рад забыть.

Когда-то у мистера Хеда были жена и дочь, потом жена умерла, а дочь сбежала и через некоторое

время вернулась с Нелсоном. А потом однажды утром, не вставая с постели, она тоже умерла и оставила годовалого ребенка на руках у мистера Хед. Он имел неосторожность сказать Нелсону, что тот родился в Атланте. Не скажи он этого, Нелсон не твердил бы теперь, что едет в город второй раз.

— Тебе там, может, вовсе даже и не понравится, — продолжал мистер Хед. — Там черномазых полно.

Мальчик скорчил гримасу, означавшую, что черномазые ему нипочем.

— Ты же не знаешь, что это такое, — сказал мистер Хед. — Ты негра в глаза не видел.

— Не очень-то рано ты встал, — сказал Нелсон.

— Ты негра в глаза не видел, — повторил мистер Хед. — В нашей округе ни одного нет, последнего мы выгнали двенадцать лет назад, тебя тогда на свете не было. — Он с вызовом посмотрел на мальчика: попробуй, мол, скажи, что видел негра.

— Почему ты знаешь, может, я их видел, когда там жил, — сказал Нелсон. — Может, я уйму негров видел.

— А если и видел, так не понял, кто это такой, — раздраженно сказал мистер Хед. — В полгода ребенок не отличит негра от белого.

— Уж если я увижу черномазого, так как-нибудь разберусь, — сказал мальчик, встал, поправил свою серую, с шикарной вмятиной шляпу и вышел во двор, в уборную.

Они пришли на полустанок заходя и встали в трех шагах от рельсов. Мистер Хед держал пакет с завтраком — галетами и коробкой сардин. Грубое оранжевое солнце, вставая из-за гор, окрасило небо позади них в унылый багровый цвет, но впереди оно по-прежнему было серое, и на нем серела прозрачная, как отпечаток пальца, луна, совсем не дававшая света. Лишь по будке стрелочника и черной цистерне можно было догадаться, что здесь полустанок; рельсы вдоль всей вырубki шли в две колеи, не сходясь и не пересекаясь, и справа и слева скрывались за поворотом. Поезда выскакивали из леса, как из черной трубы, и, словно ушибившись о холодное небо, в ужасе снова прятались в лесу. Когда мистер Хед покупал билеты, он договорился, чтобы поезд здесь остановили, но в глубине души боялся, что он пройдет мимо и тогда Нелсон, конечно, скажет: «Так я и знал! Кто ты такой, чтобы ради тебя поезда останавливать!» Под бесполезной утренней луной рельсы казались белыми и хрупкими. Старик и мальчик пристально смотрели в одну точку, как будто ожидая явления духа.

Мистер Хед уже решил было идти домой, но тут раздалось тревожное басовитое мычание, и поезд, сияя желтым фонарем, медленно и почти бесшумно выполз из-за лесистого поворота ярдах в двухстах от них. Старик все еще опасался, что поезд не остановится, а скорость сбавил, просто чтобы над ним насмеяться. И он, и Нелсон приготовились сделать вид, что не замечают поезда, если он пройдет мимо.

Паровоз проехал, обдав их запахом горячего металла, а второй вагон остановился как раз перед ними. Проводник, похожий на старого обрюзгшего бульдога, стоял на подножке, как будто ждал их, хотя, судя по его лицу, ему было все равно, влезут они или нет.

— Направо проходите, — сказал он.

Посадка заняла не больше секунды, и, когда они вошли в тихий вагон, поезд уже набирал скорость. Пассажиры почти все спали, кто положив голову на подлокотник, кто заняв сразу два сиденья, а кто вытянув ноги в проход. Мистер Хед заметил два свободных места и подтолкнул к ним Нелсона.

— Иди вон туда, к окошку, — сказал он, и, хотя он говорил как обычно, в этот ранний час его голос прозвучал очень громко. — Там никто не сидит, значит, и возражать никто не будет. Садись, и все.

— Я не глухой, — ответил мальчик. — Можешь не орать.

Он сел и отвернулся к окну. Бледное, призрачное лицо хмуро глянуло на него из-под бледной, призрачной шляпы. Дед тоже бросил быстрый взгляд в окно и увидел другого призрака — такого же бледного, но ухмыляющегося, в черной шляпе.

Мистер Хед уселся, вытащил свой билет и начал читать вслух все, что было на нем напечатано. Спящие зашевелились, некоторые спросонья таращились на него.

— Сними шляпу, — сказал он Нелсону, снял свою и положил ее на колени.

Остатки его седых волос, которые с годами приобрели табачный оттенок, прикрывали только заты-

лок. Череп был голый, а лоб весь в морщинах. Нелсон тоже снял шляпу, положил ее на колени, и они стали ждать, пока проводник придет проверять билеты.

Напротив, упершись ногами в окно и выставив голову в проход, вытянулся человек в голубом костюме и расстегнутой желтой рубашке. Он открыл глаза, и мистер Хед хотел ему представиться, но тут за его спиной появился проводник и рявкнул:

— Ваши билеты!

Когда проводник ушел, мистер Хед дал Нелсону его обратный билет и сказал:

— На, положи в карман, да смотри не потеряй, не то придется тебе в городе остаться.

— Может, и останусь, — сказал Нелсон на полном серьезе.

Мистер Хед сделал вид, что не слышит.

— Парень в первый раз на поезде едет, — объяснил он пассажиру в желтой рубашке, который теперь сидел на своем месте, спустив ноги.

Нелсон снова нахлобучил шляпу и сердито отвернулся к окну.

— Он у меня вообще ничего не видел, — продолжал мистер Хед. — Несмышлениш, все равно что новорожденный младенец. Но я решил — пусть насмотрится досыта, раз и навсегда.

Мальчик перегнулся через деда и обратился к пассажиру напротив:

— Я в этом городе родился, — сказал он. — Я городской. Я туда второй раз еду.

Он говорил громко и уверенно, но тот, кажется, не понял. Под глазами у него были фиолетовые мешки.

Мистер Хед через проход дотронулся до его рукава.

— Когда растишь парня, — глубокомысленно произнес он, — надо показывать ему все, как оно есть. Ничего не скрывать.

— Угу, — сказал пассажир в желтой рубашке.

Он разглядывал свои отечные ноги, слегка приподняв левую. Потом опустил ее и поднял правую. В вагоне стали просыпаться, вставать, ходить, зевать, потягиваться. Раздавались голоса, слившиеся потом в общий гул. Вдруг лицо мистера Хед утратило безмятежное выражение. Рот у него закрылся, в глазах появился свирепый и тревожный блеск. Он глядел куда-то в глубь вагона. Не оборачиваясь, он дернул Нелсона за руку.

— Смотри, — сказал он.

К ним медленно приближался огромный мужчина кофейного цвета. На нем был светлый костюм и желтый атласный галстук, заколотый рубиновой булавкой. Одна рука покоилась на животе, величественно колыхавшемся под пиджаком, а в другой он держал черную трость, которую неторопливо поднимал и снова опускал при каждом шаге. Он шествовал очень медленно, глядя большими карими глазами поверх голов. У него были седые усики и седые курчавые волосы. За ним шли две молодые женщины, тоже кофейного цвета, одна в желтом платье, другая в зеленом. Им приходилось идти так же медленно, и на ходу они негромко переговаривались гортанными голосами.

Мистер Хед все крепче и настойчивей сжимал руку Нелсона. Процессия поравнялась с ними, и сверкание сапфира на коричневой руке, поднимавшей трость, отразилось в зрачках мистера Хед, но он не поднял глаз, и громадный мужчина тоже не взглянул на него. Троица прошествовала через вагон и вышла. Мистер Хед отпустил руку Нелсона.

— Кто это был? — спросил он.

— Человек, — сказал мальчик с негодованием, ему надоело, что его все время считают за дурака.

— Какой человек? — невозмутимым тоном настаивал мистер Хед.

— Толстый, — сказал Нелсон; он начал опасаться какого-нибудь подвоха.

— Так, значит, ты не знаешь, какой это человек? — подвел итог мистер Хед.

— Старый, — сказал мальчик, и вдруг у него появилось предчувствие, что этот день не принесет ему радости.

— Это был негр, — сказал мистер Хед и откинулся на спинку кресла.

Нелсон вскочил на сиденье ногами и, повернувшись, посмотрел в конец вагона, но негра уже не

было.

— А я-то думал, что ты негра сразу узнаешь, ты же с ними так хорошо познакомился, когда в городе жил, — продолжал мистер Хед. — Никогда в жизни не видел негра, — объяснил он пассажиру в желтой рубашке.

Мальчик снова сполз на сиденье.

— Ты говорил, они черные, — сердито сказал он. — Так бы и говорил, что они коричневые. Не можешь как следует объяснить. Этак я никогда ничего знать не буду.

— Несмышлениш ты, вот и все, — сказал мистер Хед, встал и пересел на свободное место напротив.

Нелсон снова повернулся и стал смотреть туда, где исчез негр. Этот негр как будто нарочно прошел по вагону, чтобы осрамить его, и он возненавидел его своей первой в жизни темной, яростной ненавистью; теперь он понимал, почему дедушка их не любит. Он взглянул в окно: лицо в стекле, казалось, говорило, что в этот день он еще не раз попадет впросак. А вдруг он и города-то не узнает?

Мистер Хед рассказал соседу несколько историй, а потом заметил, что тот заснул; тогда он встал и предложил Нелсону пройтись по поезду и осмотреть его. Особенно ему хотелось показать мальчику туалет, поэтому они прежде всего отправились в мужскую уборную. Мистер Хед продемонстрировал охладитель для питьевой воды с таким видом, будто сам его изобрел, и показал Нелсону раковину с одним краном, где пассажиры чистят зубы. Они прошли еще несколько вагонов и попали в вагон-ресторан.

Это был самый роскошный вагон в поезде — яично-желтые стены, вишневый ковер на полу. Окна над столиками были широкие, и в кофейниках и стаканах отражались в миниатюре большие куски проносящегося мимо пейзажа. Три очень черных негра в белых костюмах и передниках сновали по проходу с подносами и хлопотали вокруг завтракающих. Один из них подлетел к мистеру Хеду и, подняв два пальца, сказал: «Есть два места», — но мистер Хед громко ответил:

— А мы поели перед отъездом.

Официант был в очках, и от этого белки его глаз казались еще больше.

— Тогда попрошу в сторонку, — сказал он и слегка взмахнул рукой, будто мух отгонял.

Ни Нелсон, ни мистер Хед не сдвинулись с места.

— Смотри, — сказал мистер Хед.

Два столика в углу отделялись от остального помещения занавеской апельсинового цвета. Один столик был накрыт, но свободен, а за другим, лицом к ним и спиной к занавеске, сидел тот самый громадный негр. Он что-то тихо говорил женщинам, намазывая булочку маслом. У него было обрюзгшее, грустное лицо, а белый воротничок врезался в шею.

— Им загончик устроили, — объяснил мистер Хед. Потом он сказал: — Пошли посмотрим кухню, — и они двинулись по проходу между столиков, но черный официант тут же нагнал их.

— Пассажирам входить в кухню не разрешается, — сказал он высокомерно — Пассажирам входить в кухню не разрешается.

Мистер Хед остановился и круто обернулся.

— И слава богу, — прокричал он прямо в грудь негру, — а то бы пассажиров тараканы съели!

За столиками засмеялись, и мистер Хед с Нелсоном, ухмыляясь, вышли. Дома мистер Хед славился остроумием, и Нелсон вдруг ощутил пронзительный прилив гордости. Он понял, что в том чужом месте, куда они едут, старик будет его единственной опорой. Без дедушки он останется один-одинешенек на белом свете. Он задрожал от страха и волнения, и ему захотелось, как маленькому, крепко-крепко ухватиться за дедушкин пиджак.

Когда они возвращались в свой вагон, в окнах среди полей и лесов уже мелькали домики; рядом с железной — дорогой тянулось шоссе. По шоссе двигались автомобильчики, очень маленькие и быстрые. Нелсон заметил, что здешним воздухом дышится не так легко, как дома. Пассажир в желтой рубашке вышел, и мистеру Хеду не с кем было поговорить, поэтому он стал смотреть в окно сквозь свое отражение и читать вслух вывески и рекламы на зданиях, мимо которых они проезжали.

— Ореховое масло «Мечта»! — провозглашал он. — Химическая Корпорация Южных Штатов! Мука «Южная Дева!» Хлопчатобумажные ткани «Красавица Юга!» Тростниковая патока «Черная ня-

нюшка»!

— Тише ты, — прошипел Нелсон.

В вагоне вставали и вынимали из сеток багаж. Женщины надевали пальто и шляпы. Проводник, просунув голову в дверь, громко и невнятно объявил название остановки, и Нелсон, весь дрожа, вскочил на ноги. Мистер Хед взял его за плечи и посадил обратно.

— Сиди, сиди, — покровительственно сказал он. — Первая остановка в пригороде. Вторая — на Центральном вокзале.

Он узнал об этом в свой первый приезд — тогда он сошел в пригороде, и ему пришлось выложить пятнадцать центов за то, чтобы его довели до центра. Впервые Нелсон понял, что без дедушки ему не обойтись. Очень бледный, он откинулся на спинку кресла.

Поезд остановился, выпустил нескольких пассажиров и тронулся так плавно, будто и не прерывал движения. За окном позади бурых лачуг синела вереница каменных домов, а еще дальше таяло бледное розовато-серое небо. Поезд проезжал сортировочную станцию. Нелсон видел в окно бесконечные ряды серебряных рельсов — они сходились, расходились, пересекались. Он хотел сосчитать их, но в стекле снова появилось лицо, отчетливое, хоть и серое, и он отвернулся. Поезд уже въехал под крышу вокзала. Они оба вскочили и помчались к дверям. Ни тот, ни другой не заметил, что пакет с завтраком остался на сиденье.

Они чинно проследовали через маленький вокзал и сквозь тяжелую дверь шагнули в бурный уличный поток. Люди толпами спешили на работу. У Нелсона разбежались глаза. Мистер Хед прислонился к стене и уставился прямо перед собой.

Наконец Нелсон сказал:

— Ну давай показывай мне все как есть. С чего начинать-то?

Мистер Хед молчал. Потом, как будто вид спешащей толпы подсказал ему решение, ответил: «Походить надо», — и двинулся вперед. Нелсон последовал за ним, придерживая шляпу. На него обрушилось так много впечатлений, что первый квартал он шел как во сне. Дойдя до угла, мистер Хед оглянулся на вокзал — желто-серое здание с бетонным куполом. Если не терять из виду купол, он, когда придет время возвращаться, сразу найдет дорогу.

Постепенно Нелсон стал различать отдельные предметы и увидел огромные окна, набитые всякой всячиной — скобяными товарами, галантереей, кормом для кур, спиртными напитками. На одно из окон мистер Хед обратил его особое внимание — сюда можно войти, поставить ноги на подставки, и негр почистит тебе башмаки. Они шли медленно и останавливались в дверях каждого магазина, чтоб Нелсон мог заглянуть внутрь, но никуда не заходили. Мистер Хед твердо решил не заходить ни в один магазин, потому что в свой первый приезд он заблудился в большом универсальном магазине и выбрался только после множества унижений.

Они дошли до середины следующего квартала, и там перед одним магазином стояли весы, и они по очереди встали на них, и опустили по монетке, и получили по билетик. В билетике мистера Хед было написано: «Вы весите 120 фунтов, Вы честны и смелы, и все Ваши друзья восхищаются Вами». Он сунул билетик в карман, удивленный тем, что машина характер его определила точно, а в весе ошиблась — он недавно взвешивался на весах для зерна и знал, что весит 110 фунтов. Билетик Нелсона гласил: «Вы весите 98 фунтов. Вас ожидает великое будущее, но остерегайтесь черных женщин». У Нелсона не было знакомых женщин, ни черных, ни белых, и весил он 68 фунтов, но мистер Хед объяснил, что машина, наверное, напечатала одну цифру вверх ногами, то есть 9 вместо 6.

Они шли дальше и дальше, и к концу пятого квартала вокзальный купол скрылся из виду, и мистер Хед повернул влево. Нелсон готов был часами стоять перед каждой витриной, не будь рядом другой, еще интереснее. Вдруг он сказал:

— Ага, а я здесь родился!

Мистер Хед обернулся и со страхом посмотрел на него. Потное лицо мальчика сияло.

— А я городской! — сказал он.

Мистера Хед охватило смятение. Он понял, что надо действовать.

— Давай я покажу тебе кое-что еще, — сказал он и повел Нелсона на угол, где был канализационный люк. — Присядь-ка и сунь туда голову.

Мальчик опустил на колени и засунул голову в люк, а дед держал его сзади за пиджак.

Услышав, как в глубине под тротуаром бурлит вода, Нелсон отдернул голову. Тогда мистер Хед рассказал ему про канализацию — она проходит под каждой улицей, и в нее собираются нечистоты, и там полно крыс, и, если человек провалится в люк, его засосет в длинную черную трубу. В любое время человек может провалиться в люк и исчезнуть навсегда. Он описал это так красочно, что Нелсон на мгновение застыл от ужаса. Он подумал, что эти трубы, наверное, и ведут в ад, и впервые представил себе, как устроены нижние круги мироздания. Он отшатнулся от люка.

Потом сказал:

— Да, но можно же держаться подальше от этих дырок, — и на его лице появилось то упрямое выражение, которое так раздражало деда. — А я здесь родился!

Мистер Хед был обескуражен, но лишь пробормотал: «Погоди, ты еще узнаешь, почем фунт лиха», — и они двинулись дальше. Пройдя два квартала, он повернул влево, полагая, что обходит купол по кругу, и он не ошибся: через полчаса они снова оказались у вокзала. Нелсон сначала не замечал, что вторично любуется теми же витринами, но, увидев магазин, где можно поставить ноги на подставки и негр почистит тебе башмаки, понял, что они описали круг.

— Мы здесь уже были! — закричал он. — Ты, по-моему, сам не знаешь, куда идешь.

— Я было немного сбился с дороги, но сейчас все в порядке, — сказал мистер Хед, и они свернули на другую улицу.

Он по-прежнему не собирался уходить далеко от купола и, пройдя два квартала, снова повернул налево. На этой улице стояли двух— и трехэтажные деревянные жилые дома. Прохожие могли беспрепятственно заглядывать в окна, и мистер Хед, посмотрев в одно окно, увидел укрытую простыней женщину на железной кровати. Его поразило горькое знание, написанное у нее на лице. Невесть откуда вылетел дикого вида парень на велосипеде, старик еле успел отскочить.

— Им тут ничего не стоит задавить человека, — сказал он. — Ты уж держись ко мне поближе.

Они все шли по таким же улицам, пока он снова не вспомнил, что надо повернуть. Теперь улица была совсем узкая, а дома некрашенные и как будто трухлявые. Нелсон увидел негра. Еще одного. Потом еще одного. Он заметил:

— Здесь живут черномазые.

— Ну что ж, пойдем отсюда, — сказал мистер Хед. — Мы не для того приехали, чтоб на них любоваться.

Они свернули, но им по-прежнему встречались негры. У Нелсона стала зудеть кожа, и они прибавили шаг, торопясь выбраться из этого района. Негры в нижних рубашках стояли у порогов, и негритянки раскачивались в качалках на покосившихся крылечках. Негритята, игравшие на мостовой, бросали свои занятия и глазели на них. Они проходили мимо магазинов с черными покупателями, но не останавливались в дверях. Черные глаза на черных лицах отовсюду следили за ними.

— Да, — сказал мистер Хед. — Вот ты где родился — в одной куче с черномазыми.

Нелсон нахмурился.

— Ты, я вижу, заблудился, — сказал он.

Мистер Хед резко повернулся и поискал глазами купол. Купола не было.

— Ничего я не заблудился, — сказал он. — Просто ты устал ходить.

— Я не устал, я есть хочу, — сказал Нелсон. — Дай мне галету.

Тут они обнаружили, что потеряли завтрак.

— Пакет был у тебя, — сказал Нелсон. — Уж я бы его сберег.

— Хочешь быть за главного — так я пойду один, а тебя здесь оставлю, — сказал мистер Хед и с удовольствием увидел, как побледнел мальчик.

Однако он и сам понимал, что они заблудились и все дальше уходят от вокзала. Он тоже проголодался и хотел пить, и оба они обливались потом от близости всех этих негров. Нелсон не привык ходить

обутым. Бетонные тротуары были очень твердые. Обоим очень хотелось посидеть, но присесть было негде, и они тащились дальше, и мальчик бормотал себе под нос: «Завтрак потерял, потом дорогу потерял», — а мистер Хед ворчал: «Кому приятно, что он родился в этом негритянском раю, пожалуйста, пусть себе радуется!»

Солнце уже стояло высоко в небе. До них доносился аромат стряпни. Негры высыпали к дверям поглазеть на них.

— Спроси дорогу у черномазых, — сказал Нелсон. — Это ты нас сюда завел.

— Ты же здесь родился, — сказал мистер Хед. — Сам спрашивай, если тебе хочется.

Нелсон боялся негров и не хотел, чтобы над ним смеялись негритята. Впереди он увидел дородную негритянку, которая стояла, прислонясь к косяку открытой двери, выходящей прямо на тротуар. Ее жесткие волосы торчали во все стороны, а тело, туго обтянутое розовым платьем, покоилось на босых коричневых с розовыми ободками ступнях. Когда они поравнялись с ней, она лениво подняла руку к голове, и ее пальцы исчезли в волосах.

Нелсон остановился. Под взглядом темных глаз негритянки у него перехватило дыхание.

— Как пройти обратно в город? — спросил он каким-то чужим тоненьким голоском.

Она же, помолчав, ответила голосом звучным и низким — Нелсону показалось, что его обдало прохладной водяной пылью.

— А тут не город, по-твоему?

— Как пройти обратно на поезд? — спросил он так же тоненько.

— На трамвай садись, — сказала она.

Она, конечно, насмеялась над ним, но у него не было сил даже нахмуриться. Он впивал в себя каждую черту ее облика. Перевел глаза с огромных колен на лоб, потом его взгляд проделал путь от блестящих капелек пота на ее шее, через громадную грудь и по голой руке туда, где пальцы прятались в волосах. Ему вдруг захотелось, чтобы она нагнулась, и подняла его, и притянула к себе, и чтобы он ощутил на лице ее дыхание. И все глубже погружался бы в ее взгляд, а она все крепче прижимала бы его к себе. Никогда еще он не испытывал такого. Как будто его засасывает в черную-черную трубу.

— Вот так, миленький, прямо и ступай, и дойдешь до улицы, где трамвай ходит, — сказала она.

Нелсон без сил свалился бы у ее ног, если бы мистер Хед не оттащил его.

— Совсем спятил, — проворчал старик.

Они поспешили прочь, и Нелсон не оглядывался на негритянку. Он нахлобучил шляпу на лицо, которое горело теперь от стыда. Он вспомнил ухмылку призрака в окне вагона, и свои дорожные предчувствия, и что на его билетике было написано, чтоб он остерегался черных женщин, а на дедушкином — что дедушка честный и смелый. Он взял старика за руку — не свойственное ему признание своей беспомощности.

Они увидели рельсы, по которым, дребезжа, подходил длинный желтый трамвай. Мистер Хед в жизни не ездил трамваем и на этот не сел. Нелсон притих. Иногда у него вздрагивали губы, но дед, занятый своими заботами, не обращал на него внимания. Они стояли на углу, не глядя на негров, которые шли себе по своим делам, в точности как белые, вот только что большинство останавливалось и глазело на мистера Хеда и Нелсона. Мистер Хед сообразил, что, поскольку трамвай ходит по рельсам, они могут просто идти вдоль трамвайной линии. Он подтолкнул Нелсона, объяснил, что они пойдут пешком вдоль рельсов до самого вокзала, и они тронулись в путь.

Вскоре, к их большому облегчению, им снова стали встречаться белые, и Нелсон сел прямо на тротуар и привалился к стене дома.

— Мне передохнуть надо, — сказал он. — Ты завтрак потерял и дорогу потерял. Так уж потерпишь, пока я немножко передохну.

— Вот они, рельсы, — сказал мистер Хед. — Иди по ним — и все дела, ну а про завтрак надо было и тебе помнить. Ты же здесь родился. Ты же здесь у себя дома. Ты же в этом городе второй раз. Что ж ты раскис? —

И он опустился на тротуар, продолжая в том же духе, но мальчик, высвобождавший натертые ноги

из ботинок, не отвечал.

— Господи, твоя воля, стоял и скалился, как обезьяна, пока черномазая баба объясняла ему, как пройти!

— Я что говорил? Что я здесь родился, — нетвердым голосом сказал мальчик. — Я не говорил, понравится мне или нет. Говорил я тебе, что хочу в город? Я только говорил, что я тут родился, а больше ничего. Я хочу домой. И не хотел я сюда ехать. Это все твоя затея. Почему ты знаешь, может, мы не в ту сторону идем?

Мистер Хед и сам об этом подумывал.

— Тут все белые, — сказал он.

— Раньше мы тут не проходили, — сказал Нелсон.

Это был район кирпичных домов, не поймешь — то ли обитаемых, то ли брошенных. Несколько пустых автомобилей стояло у тротуара, прохожие попадались редко. Сквозь тонкий костюм Нелсон чувствовал жар асфальта. Веки у него начали слипаться, голова упала на грудь. Плечи дернулись разок-другой, а потом он осел на бок и растянулся на тротуаре — его сморил сон.

Мистер Хед молча наблюдал за ним. Он тоже очень устал, но не могли же они спать одновременно, да он и не заснул бы, потому что ведь они заблудились. Выспавшись, Нелсон станет еще нахальнее и опять начнет пилить его, что он, мол, завтрак потерял и дорогу потерял. «Хорош бы ты был без меня», — подумал мистер Хед; и тут у него мелькнула одна мысль. Несколько минут он смотрел на спящего мальчика, а потом встал. Ничего не поделаешь, нужно иногда преподать ребенку урок на всю жизнь, особенно если он так любит, чтобы за ним оставалось последнее слово. Он бесшумно дошел до угла шагах в двадцати и сел на закрытую металлическую урну в проходе между домами: отсюда он сможет увидеть, как будет вести себя Нелсон, когда проснется один.

Мальчик спал беспокойно, в его сон то и дело вторгались какие-то неясные звуки, какие-то черные фигуры стремились вырваться на свет из темных глубин его существа. Его лицо подергивалось, и он поднимал колени к подбородку. Солнце уныло и сухо освещало улицу; все выглядело именно таким, каким было на самом деле. Мистер Хед, как старая мартышка, скорчился на крышке урны. Когда же наконец проснется Нелсон? Мистер Хед решил еще немного подождать, а потом разбудить его, стукнув ногой по урне. Он посмотрел на часы — два. Поезд уходил в шесть, и мистер Хед так боялся опоздать, что даже подумать не смел о такой возможности. Он лягнул урну, и глухой гул эхом отдался от домов.

Нелсон с криком вскочил на ноги. Взглянул туда, где прежде был дедушка, и его глаза округлились. Он завертелся волчком, а потом бросился бежать, вскидывая ноги и запрокинув голову, как насмерть перепуганный жеребенок. Мистер Хед помчался за ним, но мальчик уже почти пропал из виду. Только серая полоска метнулась через улицу за квартал впереди и исчезла. Старик бежал что есть мочи, тщетно вглядываясь в поперечные улицы. Уже совсем выдохшись, он еле добежал до третьего перекрестка, и то, что он здесь увидел, заставило его остановиться. Он спрятался за мусорный ящик — посмотреть, что будет, и отдышаться.

Нелсон сидел на тротуаре, вытянув ноги, а рядом лежала старуха и вопила. Вокруг валялась всякая бакалея. Их окружала толпа женщин, жаждавших содействовать торжеству справедливости, а старуха кричала: «Ты сломал мне ногу! Твой отец мне заплатит! Все до последнего цента! Полиция! Полиция!» Женщины теребили Нелсона, но он был так ошеломлен, что не мог встать.

Какая-то сила вытолкнула мистера Хеда из-за ящика и погнала туда, но шел он, еле передвигая ноги. В жизни он еще не имел дела с полицией. Женщины кружили вокруг Нелсона, казалось, сейчас они бросятся на него и растерзают, а старуха все вопила, что у нее сломана нога, и призывала полицию. Мистер Хед шел так медленно, будто после каждого шага вперед делал шаг назад, когда он все же приблизился, Нелсон заметил его и вскочил. Обхватил его и, тяжело дыша, прильнул к нему.

Женщины, все как одна, повернулись к мистеру Хеду. Пострадавшая приподнялась и закричала:

— Эй, вы! Будете платить за мое лечение! Ваш мальчишка — малолетний преступник! Где полицейский? Кто-нибудь запишите его фамилию и адрес!

Мистер Хед пытался оторвать от себя пальцы Нелсона. Старик втянул голову в плечи, как черепаха,

его глаза остекленели от страха и напряженного ожидания.

— Ваш мальчишка сломал мне ногу! — кричала старуха. — Полиция!

Мистер Хед чувствовал, что сзади приближается полицейский. А впереди разъяренные женщины сомкнулись плотной стеной, чтобы не дать ему ускользнуть.

— Это не мой мальчик, — сказал он. — Я его первый раз вижу.

Пальцы Нелсона разжались.

Женщины в ужасе расступились, словно им противно было даже прикоснуться к человеку, который отрекся от собственного образа и подобия. Мистер Хед прошел по коридору, который безмолвно очистили перед ним женщины. Нелсон остался позади. А впереди зияла длинная черная труба, которая еще недавно была улицей.

Мальчик все стоял, глядя в землю; руки у него повисли. Шляпа его была нахлобучена так глубоко, что вмятина на ней сгладилась. Пострадавшая поднялась и погрозила ему кулаком, а другие смотрели на него с жалостью, но он этого не видел. Полицейский не появлялся.

Через минуту Нелсон вяло двинулся вперед; он не старался нагнать деда, а просто шел за ним шагах в двадцати. Так они прошли пять кварталов. Мистер Хед сгорбился и так низко опустил голову, что сзади ее не было видно. Он не смел оглянуться. Наконец он все-таки с затаенной надеждой кинул быстрый взгляд через плечо. В двадцати шагах он увидел два прищуренных глаза, которые впились ему в спину, как зубья вил.

Мальчик не из тех, кто умеет прощать, но до сих пор ему и прощать было некого. Это было первый раз, что мистер Хед опозорился. Пройдя еще два квартала, он оглянулся и визгливым, вымученно-веселым голосом крикнул:

— Пошли куда-нибудь попьем кока-колы!

Нелсон с достоинством, прежде ему не присущим, повернулся к деду спиной.

Мистер Хед начал осознавать всю глубину его презрения. Они все шли, и лицо старика постепенно становилось похоже на горный кряж — ущелья и голые утесы. Он ничего не замечал вокруг, но чувствовал, что они больше не идут по трамвайной линии. И купол как сквозь землю провалился, а день клонится к вечеру. Если темнота застигнет их в городе, их непременно ограбят и изобьют. Он-то заслужил божью кару, но неужели его грехи будут взысканы с Нелсона, неужели и сейчас он ведет дитя к гибели?

Они все брели по бесконечным кварталам, застроенным кирпичными домами, пока мистер Хед не споткнулся о водопроводный кран, торчащий над краем небольшого газона. Он с утра не пил, но считал, что теперь не имеет права утолить жажду. Потом он подумал, что Нелсон, наверное, тоже хочет пить, и они попьют оба, и это снова соединит их. Он присел на корточки, приложился губами к отверстию и открыл кран. Потом выкликнул тем же визгливым вымученным голосом:

— Иди попей!

На этот раз мальчик целую минуту пристально смотрел сквозь него. Мистер Хед встал и побрел дальше, точно наглотался яду. Во рту у Нелсона ни капли воды не было с тех пор, как он напился из бумажного стаканчика в поезде, но он прошел мимо крана, гнушаясь пить там, где пил дед. И, увидев это, мистер Хед потерял последнюю надежду. Теперь его лицо в тусклом предзакатном свете стало похоже на запустелое пепелище. Упорная ненависть мальчика шагала, не отставая, за ним по пятам, и (если их каким-то чудом не убьют в городе) это уже на всю жизнь. Черная чужбина, где все не так, как было, растилась перед ним: долгая старость без почета, до самой смерти — желанной, ибо она положит конец мученьям.

А в сознании Нелсона застыла картина предательства: он как будто заморозил ее, чтобы сберечь и предъявить на Страшном суде. Он шел, не глядя по сторонам, и порой у него кривились губы: в эти мгновения из отдаленных глубин его существа словно бы протягивала руку загадочная черная фигура, и он знал — в ее горячей руке растает то, что он старается сохранить.

Солнце село за дома; незаметно для себя они очутились в фешенебельном пригороде; здесь стояли большие красивые здания, а перед ними были лужайки и бассейны для птиц. Кругом все точно вымерло. Они шли и шли, и хоть бы собака навстречу попалась. Белые дома в зелени издали напоминали айсберги,

погруженные в воду. Тротуаров не было, только мостовые, и они все тянулись и кружились — без конца, будь они неладны. Нелсон и не собирался догонять мистера Хеда. Попадись старику сейчас канализационный люк, он не раздумывая бросился бы в него; и он представлял себе Нелсона, который стоит рядом и наблюдает — всего лишь с легким любопытством, — как деда засасывает в черные трубы.

Громкий лай вывел его из оцепенения, он поднял глаза — навстречу шел толстяк с двумя бульдогами. Старик замахал руками, как жертва кораблекрушения на необитаемом острове.

— Я заблудился! — возопил он. — Я заблудился, я не знаю, куда идти, а нам на поезд нужно, а я не найду вокзал! Ой, боже мой, я погиб! Господи, спаси меня и помилуй, я погиб!

Толстяк, лысый и одетый в бриджи, спросил, на какой поезд ему нужно, и мистер Хед стал вытаскивать билеты; его так трясло, что он чуть не уронил их. Нелсон подошел ближе, остановился в пятнадцати шагах и наблюдал.

— Н-да, — сказал толстяк, возвращая билеты, — на вокзал вы уже не поспеете, но этот поезд останавливается тут у нас, в пригороде, здесь и сядете. Отсюда три квартала до станции. — И он стал объяснять, как пройти.

Мистер Хед слушал и как будто воскресал из мертвых. Закончив объяснение, толстяк пошел своей дорогой, собаки вприпрыжку бежали за ним; мистер Хед повернулся к Нелсону и, задохнувшись, произнес:

— Сейчас домой поедем!

Мальчик стоял шагах в десяти, бескровно-бледный под своей серой шляпой. Глаза у него были торжествующе холодные. В них не вспыхнуло ни чувства, ни интереса. Он просто был здесь — маленькая выжидающая фигурка. Слово «дом» ничего не значило для него.

Мистер Хед медленно отвернулся. Так вот что значит ад: время без смены зим и весен, зной без света и душа без надежды на спасение. Он перестал бояться, что не поспеет на поезд, и мог бы вообще позабыть про станцию, если бы нечто поразительное не вернуло его к жизни, будто кто-то окликнул его из темноты.

Рядом с ним вдруг возник гипсовый негр, скрючившийся на низкой ограде из желтого кирпича, которая окаймляла большую лужайку. Негр был ростом с Нелсона; замазка, которой он был прикреплен к ограде, потрескалась, и казалось, он вот-вот упадет. Один глаз у него был белый, а в руках он держал бурый кусок арбуза.

Мистер Хед стоял и молча смотрел на него, пока Нелсон не подошел совсем близко. Когда мальчик остановился рядом с ним, он выдохнул:

— Гипсовый негр.

Непонятно было, старика или ребенка изображает гипсовый негр — он выглядел таким жалким, что не имел возраста. Очевидно, его хотели изобразить счастливым, потому что углы его губ были приподняты, но отбитый глаз и ненадежная поза придавали ему отчаянно жалкий вид.

— Гипсовый негр, — произнес Нелсон, в точности повторяя интонацию мистера Хеда.

Они стояли рядом, очень похоже сгорбившись и вытянув шею, и у них одинаково дрожали в карманах руки. Мистер Хед казался старым ребенком, а Нелсон — маленьким стариком. Они не отрываясь смотрели на гипсового негра, словно столкнулись с некой великой загадкой, с монументом в честь чьей-то победы, соединившей их в общем поражении. И в нем растворились все их несогласия, словно благодать осенила их, открыв им чудо милосердия. До сих пор мистер Хед не понимал, что такое милосердие, потому что был безупречен и не нуждался в нем, но теперь-то он понял. Он посмотрел на Нелсона — надо что-то сказать ребенку, чтобы он снова поверил в мудрость деда, и в ответном взгляде мальчика он прочитал, как жадно тот ждет этих слов. Глаза Нелсона, казалось, молили объяснить ему наконец загадку бытия.

Мистер Хед раскрыл рот, собираясь сказать нечто очень значительное, и услышал собственный голос:

— Здесь у них настоящих не хватает. Пришлось гипсового завести.

Чуть помедлив, мальчик кивнул, губы у него дрогнули как-то по-новому, и он сказал:

— Поехали домой, а то снова заблудимся.

Их поезд плавно затормозил у пригородной станции, как раз когда они подошли, и они сели в вагон, а за десять минут до того, как поезд прибывал на их полустанок, уже стояли у двери, приготовившись выпрыгнуть на ходу, если он не остановится; но он остановился, и в это самое мгновение полная луна во всем своем великолепии вдруг выплыла из-за облака, залив вырубку светом. Они сошли; полынь нежно трепетала, отливая тусклым серебром, а брусчатка у них под ногами сверкала бодрым черным блеском. Верхушки деревьев, защищавших полустанок подобно садовой ограде, темнели на фоне неба, увешанного огромными облаками, которые светились, как фонари.

Мистер Хед стоял очень тихо, чувствуя, как его снова осенила благодать, но теперь он знал, что ее не выразить словами. Милосердие рождается в страданиях, которые неизбежны для каждого и неисповедимыми путями ниспосылаются детям. Лишь его дано человеку унести за порог смерти, чтобы сложить к стопам создателя, и мистер Хед сгорал от стыда, внезапно поняв, каким нищим он предстанет перед творцом. Он стоял утраченный, судя себя с доскональностью божьего суда, и его гордыня таяла, будто пожираемая пламенем. До сих пор он не считал себя большим грешником, но теперь понял, что его истинная порочность была сокрыта от него, дабы он не впал в отчаяние. И что он прощен за все грехи от начала времен, когда его душу отягчил первородный грех, до той минуты, когда он предал бедного Нелсона. Он понял, что не может заречься даже от самого чудовищного греха, а поскольку божья любовь соразмерна божьему прощению, сейчас он был готов вступить в царствие небесное.

Нелсон, стараясь сохранить бесстрастие в тени своей шляпы, наблюдал за ним устало и подозрительно, но когда поезд прополз позади них и спугнутой змеей исчез в лесу, его лицо тоже просветлело, и он сказал:

— Хорошо, что я там побывал один раз, но больше ни за что не поеду!

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС



«КУДА ТЫ ИДЕШЬ, ГДЕ ТЫ БЫЛА?»

Ее звали Конни. Ей минуло пятнадцать, и у нее стало привычкой, беспокойно хихикая и вытягивая шею, оглядывать себя в каждом зеркале и проверять по лицам всех встречных и поперечных, так ли она выглядит, как надо. Мать вечно ругала ее за это: мать все знала и все замечала, а самой ей, в общем-то, уже незачем было смотреться в зеркало.

— Хватит на себя таращиться! — говорила она дочери. — Что ты о себе воображаешь? Думаешь, ты уж такая красotka?

Конни, выслушивая в сотый раз эти попреки, только вздергивала брови, и глядела сквозь мать, и видела свое смутное отражение — вот какая она в эту минуту: она красotka, это главное! Если верить ста-

рым любительским фотографиям в альбоме, когда-то и мать была красотка, а теперь ни на что не похожа, оттого все время и цепляется к Конни.

— Почему у тебя в комнате все вверх дном, брала бы пример с сестры! Чем ты волосы намазала, воняет, сил нет! Лаком для волос? Твоя сестра этой дрянью не мажется.

Сестре, Джун, уже двадцать четыре, а она все живет дома. На беду, она работает секретаршей в школе, где учится Конни, вечно они под одной крышей, да в придачу Джун уж такая некрасивая, нескладная коротышка и такая примерная, надоело слушать, как мать и материны сестры ее нахваливают. Джун то, Джун се, Джун бережливая, и помогает держать дом в чистоте, и стряпает, а вот Конни ничего не умеет, знай мечтает, голова невесть чем забита. Отец с утра до ночи на работе, а когда придет домой, ему бы только поужинать, за ужином он читает газету, а потом идет спать. Он с ними ни с кем почти и не разговаривает, даже головы не поднимает, а мать все цепляется к Конни, все цепляется, поневоле захочешь, чтобы уж она померла, что ли, и самой бы помереть, и хоть бы уж все это кончилось.

— Иногда меня ну прямо тошнит от нее, — жалуется Конни подружкам.

Голос у нее высокий, говорит она быстро, прерывисто, насмешливо, и от этого в каждом слове, даже самом искреннем, слышится притворство.

Одно хорошо: Джун всюду ходит со своими подругами, подруги у нее такие же некрасивые и примерные, поэтому, когда Конни тоже хочет погулять с девочками, мать не спорит. Отец лучшей подруги Конни отвозит их па своей машине в город, за три мили, и высаживает в центре, чтоб походили по магазинам или поглядели кино, а в одиннадцать заезжает за ними и никогда не подумает спросить, где они были и что делали.

Наверно, все уже привыкли, что они бродят взад и вперед по торговому центру; они в шортах, в туфлях без каблука, лениво шаркают по тротуару, на тонких запястьях позвякивают браслеты с брелоками; если им покажется — иной прохожий забавен или недурен собой, они наклоняются друг к дружке, и шепчутся, и смеются втихомолку. У Конни длинные русые волосы, на них все обращают внимание, часть она высоко, пышно укладывает на макушке, а остальные волной спадают по спине. Ходит Конни в тонком шерстяном свитере, который сидит на ней совсем по-разному, когда она дома и когда не дома. И все у нее словно двоятся: одной стороной поворачивается дома, а другой на людях; ходит она то совсем по-ребячьи, вприпрыжку, а то с ленивой томностью, будто под музыку, слышную только ей одной; губы у нее почти всегда бледно-розовые и кривятся усмешкой, а во время этих вечерних прогулок они яркие и веселые; дома она смеется протяжно, с ехидцей — «ну и ну, животики надорвешь!» — а на людях беспокойно, то-ненько хихикает, будто позвякивают брелоки браслета.

Иногда девочки и правда идут по магазинам или в кино, а иногда торопливо перебегают оживленную, шумную улицу и ныряют в придорожную закусочную, где подкрепляется, не вылезая из машин, окрестная молодежь. Здание закусочной похоже на огромную бутылку, только пошире и поприместей, а на самой верхушке крутится реклама: ухмыляющийся паренек поднял над головой сосиску. Однажды летним вечером девочки забежали туда, задохнувшись от собственной смелости, и сейчас же кто-то высунулся из машины и пригласил их разделить компанию, но это оказался просто мальчишка из старшего класса, и он им вовсе не понравился. Приятно было натянуть ему нос. Между стоящими и подъезжающими машинами они пробрались к ярко освещенной закусочной, где тучами вилась мошкара, а лица их светились радостной надеждой, словно вступали они в некое святилище, возникшее в ночи, чтобы подарить им тот уют и то блаженство, о каких они давно мечтали. Они подсели к стойке, скрестили ноги в туфельках без каблуков, выпрямились от волнения, напряженно расправив плечи, и стали слушать музыку: от музыки все становится прекрасно, она всегда здесь звучит, совсем как в церкви, что-что, а уж музыку тут всегда найдешь.

Подошел один мальчик, такой Эдди, и заговорил с ними. Он сел спиной к стойке на высокий вертящийся табурет и поминутно крутился то вправо, то влево, а немного погодя спросил Конни, может, она хочет чего-нибудь перекусить? Она сказала: это можно, и, отходя, похлопала подружку по плечу, подружка поглядела на нее снизу вверх и скорчила презабавную гримасу, стараясь показать, что не унывает, и Конни

пообещала встретиться с ней в одиннадцать напротив закусочной.

— Свинство, что я ее вот так бросаю одну, — искренне сказала Конни.

Но Эдди сказал — ничего, она недолго будет одна, и они пошли к его машине, и Конни не могла удержаться — все поглядывала на ветровые стекла, на лица вокруг, а сама так и сияла от радости, — Эдди и даже закусочная тут были ни при чем; наверно, это все от музыки. Конни расправила плечи, глубоко вздохнула, — до чего хорошо жить! — и тут на глаза ей попалось чужое лицо, совсем близко, в двух шагах. В старом, выкрашенном под золото драндулете с откидным верхом сидел черноволосый лохматый парень. Он уставился на нее во все глаза и ухмыльнулся. Конни прищурилась и отвернулась, но невольно опять глянула через плечо, и он все смотрел на нее. Погрозил пальцем, засмеялся и сказал: «Я тебя поймаю, детка», — и Конни опять отвернулась, а Эдди ничего не заметил.

Они провели вместе три часа — сперва, сидя в машине, ели булочки с сосисками и пили кока-колу из запотевших бумажных стаканчиков, потом отъехали примерно за милю, а без пяти одиннадцать Эдди высадил ее на главной улице, где все теперь было закрыто, кроме кино. Подружка Конни была уже здесь, разговаривала с каким-то малым. Когда Конни подошла, девочки обменялись улыбками, и Конни спросила:

— Хорошая картина?

— Тебе лучше знать, — ответила та.

Подружкин отец отвез их домой, глаза у них слипались, но обе были довольные, и Конни не могла удержаться — оглянулась: там, позади, уже потускнели витрины, опустела автомобильная стоянка, слабо, призрачно светились огни вывесок и реклам, и только у закусочной еще кружили машины. Музыку на таком расстоянии уже не было слышно.

Наутро Джун спросила, хорошую ли картину они смотрели, и Конни ответила: «Так себе».

С этой подружкой, а иногда еще с одной девочкой Конни проводила так несколько вечеров в неделю, а остальное время сидела дома (были летние каникулы), путалась под ногами у матери и все думала, мечтала о мальчиках, с которыми встречалась. Но все они отступали, сливались в один какой-то облик — и не облик даже, а в какое-то отвлеченное понятие, смутное чувство, неотделимое от настойчивого, неотвязного ритма музыки и от влажной духоты июльских вечеров. Мать поминутно дергала Конни, возвращала к действительности, отыскивая для нее какое-нибудь дело, а то вдруг ни с того ни с сего возьмет и спросит:

— Что там натворила девчонка Петтингеров?

И Конни досадливо отвечала:

— А ну ее. Она же с приветом.

Она всегда подчеркивала, что с такими девчонками не знается, а мать, женщина простая и добрая, ей верила. Мать уж до того проста, думала Конни, вроде даже нехорошо столько ей врать. Мать шаркала по дому в старых шлепанцах и все жаловалась по телефону одной своей сестре на другую, а потом звонила другая, и они обе наперебой жаловались на третью. Когда упоминали о Джун, в голосе матери звучало одобрение, а когда упоминали Конни, — неодобрение. Не то чтобы она и вправду не любила младшую дочь, Конни подозревала, что в душе мать относится к ней даже лучше, чем к Джун, потому что она, Конни, красotka; просто они привыкли делать вид, будто злятся друг на дружку, почему-то всегда получалось, словно они никак не поделят, не перетянут каждая к себе какую-то пустяковину, из-за которой и задираться-то не стоило бы. Иногда за кофе вроде между ними лад и мир, но непременно что-нибудь да вылезет, какая-нибудь обида, будто муха докучная, зажужжит над головой, и опять лица у обеих недобрые, презрительные.

Однажды в воскресенье Конни встала в одиннадцать (в церковь никто из них не ходил) и вымыла голову, чтоб весь день сушить волосы на солнце. Родители и сестра собрались к тетке — она назвала гостей, — а Конни сказала, не поедет, ей это неинтересно, и даже закатила глаза — пускай мать видит, что она думает о таких развлечениях.

— Ну и сиди дома одна, — сердито сказала мать.

Конни развалилась в плетеном кресле и смотрела, как они отъезжали; отец, тихий, лысый, согнулся за рулем и, глядя через плечо, осторожно пятил машину; мать смотрела прямо перед собой, в лобовое

стекло, видно было — все еще сердита, ничуть не отошла; а на заднем сиденье старуха Джун: вырядилась, бедняга, будто не знает, чего стоит это несчастное торжество — толчея, крикливые ребятишки да мухи. Конни закрыла глаза, и грелась на солнце, и сонно мечтала; тепло обволакивало ее, как любовь, как любовная ласка, и сами собою пришли мысли о мальчике, с которым она провела вечер накануне, какой он был славный и как это всегда приятно, совсем не так, как воображают скучные нескладехи вроде Джун, а очень приятно, ласково, как в кино или как поется в песнях; она открыла глаза и даже не сразу поняла, где же это она, — задворки переходили и пустырь, заросший сорной травой, дальше вместо ограды стеной деревья, а за ними небо — тихое, голубое, ни облачка на нем. Сборный домишко, в котором семья жила уже три года, вдруг поразил ее — какой же он маленький! Конни потрянула головой, словно пытаясь проснуться.

Жара невозможная. Конни вошла в дом, включила радио, чтобы заглушить тишину. Села на край кровати, спустив босые ноги на пол, и полтора часа кряду слушала программу «воскресный музыкальный праздник» — пластинка за пластинкой гремели резкие, быстрые, пронзительные песенки, которым она подпевала, перемежались рекламными выкриками Бобби Кинга:

— Внимание, девчонки, внимание! Песенка наша первый класс, для вас, как на заказ!

И Конни, вся — внимание, купалась в жарком, ленивом, мерном прибое радости, которая таинственно рождалась из музыки, и заполняла душную комнатенку истомой, и вливалась в грудь с каждым неторопливым вздохом.

Потом на подъездной дорожке захрустел гравий под колесами. Конни испуганно выпрямилась: отец не мог вернуться так быстро. От шоссе до дома довольно далеко, но слышно, что машина приближается... И Конни подбежала к окну. Машина оказалась незнакомая — расхлябанный открытый драндулет, выкрашенный под золото, тускло отсвечивал на солнце. Заколотилось сердце, руки сами взлетели к волосам. «Господи, господи!» — лихорадочно шептала Конни. На что она сейчас похожа, вдруг вся растрепанная? Машина остановилась у бокового входа и четырежды коротко, отрывисто гуднула, будто подавая условный сигнал, который Конни должна знать.

Она медленно прошла в кухню, отворила дверь, затянутую москитной сеткой, стала на пороге, поджимая пальцы босых ног. В машине сидели двое, и теперь она разглядела того, что за рулем: сидит и скалит зубы, лохматый, нестриженный, черные космы — точно какой-то дурацкий парик.

— Не опоздал я? — сказал он.

— Что это ты о себе воображаешь? — отозвалась Конни.

— Я ж тебе сказал — подъеду, верно?

— Я тебя и знать не знаю.

Она говорила хмуро, стараясь не показать, что ей любопытно и лестно, он — быстро, весело, но как-то на одной ноте. Выгадывая время, Конни поглядела мимо него на второго парня. Темно-русый, прядь волос падает на лоб. От густых бакенбард лицо кажется и свирепым и смущенным, но он еще ни разу не взглянул на Конни. Оба в темных очках. У того, что за рулем, они металлически поблескивают, и в них все отражается, крохотное и четкое.

— Хочешь покататься? — сказал он.

Конни насмешливо фыркнула, потрянула головой, так что волосы волной упали на плечо.

— Может, машина моя не нравится? Заново покрашена. Слушай-ка!

— Ну!

— А ты очень даже ничего!

Конни стала усиленно отгонять мух от двери — мол, только этим она и занята.

— Ты что, может, мне не веришь? — спросил лохматый.

— Да я тебя знать не знаю, кто ты есть, — презрительно сказала Конни.

— Эй, гляди, у Элли приемничек. Мой сломался.

Лохматый ухватил руку приятеля, поднял — и Конни увидела в руке крохотный транзистор и только теперь услышала музыку, ту же самую, что звучала в доме.

— Бобби Кинг? — спросила она.

— Я все время его слушаю. Силен!

— Вроде того, — нехотя согласилась Конни.

— А я говорю, силен! Вот кто знает, на что нажать!

Конни слегка покраснела: из-за очков не разобрать было, куда этот парень смотрит. Она сама не понимала, то ли он приятный, то ли просто трепло, вот и торчала на пороге — ни наружу выйти, ни в дом уйти. Потом сказала:

— Чего это у тебя на машине намалевано?

— Ты, может, читать не умеешь? — Он открыл дверцу очень осторожно, будто боялся, что она отвалится. Так же осторожно выбрался из машины, плотно уперся подошвами в землю, крохотный металлический мир в его очках понемногу перестал качаться, застыл, словно желе, а посерединке яркой точкой — зеленая блузка Конни.

Первым долгом вот мое имя, — сказал лохматый. Сбоку на кузове черными буквами, точно дегтем, выведено было «Арнолд Друг» и намалевана круглая ухмыляющаяся рожа, настоящая тыква, только в очках. — Позвольте представиться, я и есть АРНОЛД ДРУГ, так меня зовут, и я правда буду тебе друг, лапочка, а это сидит Элли Оскар, он у нас вроде скромняга. (Элли поставил транзистор на плечо и старался там его удержать.) А это секретный шифр, лапочка, — продолжал Арнолд. Он прочел цифры: 33, 19, 17 и вопросительно поднял брови: что, мол, ты на это скажешь? — но Конни чихать на цифры. Левое крыло машины сзади смято, и вокруг вмятины на блестящем золотом фоне выведено: СЮДА ВРЕЗАЛАСЬ ОДНА ЧОКНУТАЯ. Конни по-неволе рассмеялась. Это понравилось Арнолду, он поглядел на нее снизу вверх. — С той стороны еще много чего, — может, выйдешь поглядишь?

— Нет.

— Почему?

— Больно надо.

— Ты что ж, не хочешь поглядеть на машину? Не хочешь покататься?

— Не знаю.

— Почему?

— У меня дела.

— Какие дела?

— Разные.

Он захохотал, будто она сказала что-то очень забавное. Хлопнул себя по бедрам. Он стоял как-то странно, прислонясь спиной к машине, словно боялся упасть. Ростом невысок, может, только чуть выше Конни, если б она сошла с крыльца и стала с ним рядом. Ей нравилось, как он одет, — как все ребята одеваются: линялые джинсы в обтяжку заправлены в черные потертые сапожки, пояс туго затянут, и видно, какое у парня худощавое, гибкое тело, белая грязноватая рубашка облепила его, как перчатка, и под ней проступают некрупные, но, видно, крепкие мускулы рук и плеч. Похоже, он привычен к тяжелой работе, немало всякого поднимал и перетаскивал. Даже шея кажется мускулистой. А лицо почему-то знакомое, щеки и подбородок темные, наверно, он дня два не брился, нос длинный, крючковатый и все принюхивается, будто Конни — какая-то вкуснятина и он ее сейчас заглатает, будто все это какой-то веселый розыгрыш.

— Врешь ты, Конни. Нынче ты должна со мной кататься, сама знаешь, — сказал он, все еще смеясь. И вдруг выпрямился, смех как отрезало, и сразу стало ясно: он только прикидывался, будто его так уж разбирает.

— Почем ты знаешь, как меня зовут? — подозрительно спросила Конни.

— Конни, вот как.

— Может, да, а может, и нет.

— Уж я-то знаю свою Конни, — сказал он и погрозил пальцем.

Теперь она совсем ясно вспомнила, как увидела его возле закуской, вспомнила, как счастливо вздохнула в ту самую минуту, когда проходила мимо него, и вся покраснела от мысли, какой она тогда ему, наверно, показалась. Вот он ее и запомнил.

— Сама видишь, мы с Элли за тобой приехали. Элли может сесть сзади. Ну, как?

— Куда?

— Что куда?

— Куда мы поедем?

Он поглядел на нее. Снял очки, и оказалось, вокруг глаз кожа совсем бледная, будто дыры какие-то, провалы, но не в темноту, а в свет. Глаза у него точно осколки стекла, и в них дружелюбные искорки света. Он улыбнулся. Будто первый раз в жизни услышал, что можно ехать куда-то в определенное место.

— Просто покатаемся, Конни, лапочка.

— Я вовсе не говорила, что я Конни.

— А я и сам знаю. Знаю, как тебя зовут, и еще кучу всякого, я все про тебя знаю, — сказал Арнолд Друг. Он не шевелился, все так же стоял, привалясь спиной к боку своей расхлябанной машины. — Меня зацепило, что это за красotka такая, и я все про тебя вызнал. К примеру, знаю, что твои предки и сестрица укатали, и знаю, куда укатали и на сколько времени, и знаю, с кем ты вчера вечером гуляла и что твою лучшую подружку звать Бетти. Все верно?

Он говорил небрежно, немного нараспев, будто повторял слова какой-то песенки. И улыбался, будто уверял Конни, что все обстоит как нельзя лучше. Элли, сидя в машине, включил транзистор погромче и не глядел на них обоих.

— Элли сядет сзади, — сказал Арнолд Друг. Он небрежно дернул подбородком в сторону приятеля: мол, Элли не в счет и нечего обращать на него внимание.

— С чего ты все это взял? — спросила Конни.

— Вот слушай: Бетти Шалц, и Тони Фитч, и Джимми Петтингер, и Нэнси Петтингер, — почти пропел он, — Реймонд Стэнли и Боб Хаттер...

— Ты всех ребят знаешь?

— Я всех на свете знаю.

— Брось заливать. Ты ж нездешний.

— Ясно, здешний.

— А... а как же мы тебя никогда не видали?

— Ясно, ты меня видела, — сказал он и опустил глаза, словно обиделся. — Ты просто забыла.

— Видала бы, так не забыла б, — сказала Конни.

— Ну да?

Он вскинул голову и широко улыбнулся. Он был доволен. Стал легонько постукивать кулаком о кулак в такт музыке, что звучала из транзистора Элли. Конни перевела глаза с его довольной ухмылки на машину, выкрашенную так ярко, что глядеть больно. Опять прочитала это имя — Арнолд Друг. А на переднем крыле увидела знакомое присловье: ОСЕДЛАЕМ ЛЕТАЮЩИЕ БЛЮДЦА! В прошлом году все ребята на каждом шагу его повторяли, а теперь оно больше не в ходу. Конни смотрела минуту-другую, точно эти слова говорили ей что-то такое, чего она еще не могла понять.

— О чем задумалась, а? — требовательно спросил Арнолд Друг. — Боишься, что ли, в машине волосы растреплешь?

— Нет.

— Может, думаешь, я водить не умею?

— А я почему знаю?

— Упрямая, с тобой не столкнешься. Чего это ты? Не знаешь, что ли, что я твой друг? Ты шла мимо, а я сделал свой знак в воздухе — не видала, что ли?

— Какой еще знак?

— Мой знак.

Он наклонился к Конни и начертил в воздухе крест. Их разделяло примерно шагов пять. Когда его рука опустилась, крест словно остался в воздухе, казалось, его можно разглядеть. Конни притворила затянутую сеткой дверь, и застыла за ней неподвижно, и слушала, как сливается музыка, что звучит в доме, и та, из транзистора. Во все глаза она смотрела на Арнолда Друга. Он стоял с нарочитой непринуж-

денностью, только прикидывался, будто эдак непринужденно отдыхает, лениво опирался одной рукой на ручку дверцы, словно без опоры и стоять лень, словно он век отсюда не двинется. Почти все в нем было знакомо Конни — и тесные, в обтяжку, джинсы, и грязные кожаные сапоги, и рубашка тоже в обтяжечку, и даже эта скользкая дружелюбная улыбка, — так сонно, мечтательно улыбаются мальчишки, когда думают такое, чего не хотят сказать вслух. Все это знакомо, и говорит он тоже знакомо — нараспев, словно бы и дурашливо, чуть посмеиваясь, все-таки серьезно, даже капельку печально, и знакома эта привычка постукивать кулаком о кулак под несмолкающую музыку за спиной. Но все это как-то не склеивается одно с другим.

— Эй, — вдруг сказала она, — сколько тебе лет?

Улыбка сбежала с его лица. И тут Конни увидела, что

никакой он не мальчишка, ему все тридцать, а то и побольше. И сердце ее заколотилось сильней.

— Спросит тоже. Столько, сколько и тебе, сама, что ли, не видишь?

— Черта с два.

— Ну, побольше годика на два. Восемнадцать.

— Восемнадцать? — недоверчиво переспросила Конни.

Он успокоительно осклабился, в углах рта, прорезались морщины. Зубы очень белые, крупные. Улыбается до ушей, глаза как щелки, и стало видно, какие густые у него ресницы, густые и очень черные, вроде как дегтем: намазаны. И вдруг он словно бы смутился, глянул через плечо на Элли, сказал:

— Вот он — с приветом. Он у нас бешеный, чокнутый, тот еще кадр.

Элли все слушал музыку. За темными очками не разобрать было, о чем он думает. Ярко-оранжевая рубашка наполовину расстегнута, видна голая грудь, бледная до синевы и совсем не мускулистая, не то что у Арнолда. А воротник рубашки поднят, и уголки торчат вперед, точно защищая подбородок. Прижал транзистор к уху, сидит на самом солнце, словно окаменел.

— Какой-то он чудной, — сказала Конни.

— Эй, она говорит, ты какой-то чудной! — крикнул Арнолд Друг и стукнул кулаком по машине, чтоб привлечь внимание Элли. Тот впервые обернулся, и Конни с испугом поняла, что он тоже не мальчик, — лицо бледное, ни бороды, ни усов, а щеки красноватые, словно сосуды слишком близко, под самой кожей, — лицо сорокалетнего младенца. Конни поглядела — и ей даже дурно стало, и она смотрела в упор, будто надеялась: вот сейчас что-то в этом лице переменится и минутный испуг пройдет, и все опять станет хорошо. Губы Элли непрерывно шевелились, он бормотал про себя те же слова, что гремели ему в самое ухо.

— Ехали бы вы оба отсюда, — чуть слышно сказала Конни.

— Здравствуйте! Чего это ты? — воскликнул Арнолд Друг. — Мы ж за тобой заехали, хотим покататься. Нынче воскресенье. — Теперь голос у него был совсем как у диктора. Тот же голос, подумала Конни. — Ты что, не знаешь? Нынче целый день — воскресенье, лапочка, и плевать, с кем ты вчера вечером гуляла, а нынче ты с Арнолдом Другом, не забывай! Выдь-ка сюда, — прибавил он уже другим голосом. Скучно-ватый стал голос, будто Арнолда наконец доняла жара.

— Нет. У меня дела.

— Эй!

— Ехали бы вы отсюда.

— Без тебя не уедем, давай с нами.

— Черта с два...

— Конни, брось кочевряжиться, слушай, нет, ты слушай, ты брось кочевряжиться, — повторил он, качая головой. И удивленно засмеялся. Поднял очки на макушку, да так осторожно, будто у него и правда не волосы, а парик, заправил дужки за уши. Конни смотрела на него, и опять волной прихлынула дурнота и страх, даже лицо Арнолда на миг расплылось перед глазами, — стоит тут, прислонясь к своей золотой машине, а вместо лица пятно... может, он и подкатил сюда по дорожке, но откуда он взялся? Наверно, из пустоты, из ничего, и сам он ничей, и все в нем, и даже в этой знакомой — знакомой музыке, какое-то не-настоящее.

— Вот приедет мой отец, увидит тебя...

— Не приедет. Он в гостях.

— Почему ты знаешь?

— У тетки Тилли. Сейчас они все... э-э... выпивают. Сидят там, — сказал он загадочно и сощурился, будто и правда разглядывал, что делается далеко в городе, во дворе у тетушки Тилли. И вот вроде разглядел и закивал, довольный: — Ага. Сидят за столом. Твоя сестра в голубом платье, верно? На высоченных каблуках, уродина несчастная, не то что ты, лапочка! А твоя мамаша помогает какой-то толстой мымре — они там чистят кукурузу, лущат початки...

— Какой толстой мымре? — крикнула Конни.

— Почему я знаю! Откуда мне знать всех толстых мымр на свете! — засмеялся Арнолд Друг.

— А, это миссис Хорнби... Кто ее приглашал? — сказала Конни. У нее слегка кружилась голова. И дышала она часто-часто.

— Больно толста. Не люблю толстых. Люблю таких, как ты, лапочка, — сказал Арнолд и сонно улыбнулся ей. Минуту-другую они в упор смотрели друг на друга через москитную сетку. Потом он негромко сказал: — А сейчас ты вот что сделаешь: выйдешь сюда. Сядешь и машину рядом со мной, а Элли перейдет назад, черт с ним, с Элли, верно? Нынче не у Элли любовь. У меня с тобой любовь. Я тебе подойду.

— Ты что?! Псих ненормальный...

— Да, я тебе подойду. Ты еще не знаешь, что это такое, но скоро узнаешь. А я знаю. Я все про тебя знаю. Ты учти: это здорово приятно, и ты лучше меня не сыщешь, и аккуратней не сыщешь. Я всегда держу слово. Я тебе растолкую, что к чему, сперва я всегда обходительный. Я тебя прижму накрепко, ты и не подумаешь вырываться или там прикидываться, потому как сама будешь знать — все равно не уйдешь... И ты мне сама дашься и станешь меня любить...

— Молчи! Псих ненормальный! — Конни попятилась от двери. И зажала уши ладонями, будто услышала что-то ужасное, вовсе не к ней обращенное. — Псих! — бормотала она. — Кто это так разговаривает!

Ее прошиб пот, а сердце колотилось так — вот-вот выскочит. Она подняла глаза на Арнолда Друга — тот замолчал, качаясь, шагнул к двери. И чуть не повалился наземь. Но, как опытный пьяница, все же не упал. Его шатало, ноги в высоких сапожках как-то вихлялись, он ухватился за столбик крыльца.

— Лапочка, — сказал он. — Ты меня слушаешь?

— Убирайся к черту!

— Полегче, лапочка. Послушай меня.

— Сейчас позову полицию...

Его опять шатнуло, и он коротко выругался краем губ, как-то вбок, словно сплюнул, словно это относилось не к ней. Но даже это «ч-черт!» прозвучало нарочито. И сразу он опять заулыбался. Конни смотрела, как неуклюже выползает на лицо эта улыбка, словно из-под маски. У него не лицо, а маска, — мелькнула нелепая мысль, — загорелая маска наклеплена, под подбородком она кончается, будто он намалевал лицо коричневым, а про шею забыл.

— Лапочка... Ты меня послушай. Я всегда правду говорю, железно. Вот тебе слово: я в дом за тобой не пойду.

— Еще чего! Если ты не... если ты... я позову полицию.

— Лапочка, — перебил он, не слушая, — лапочка, я в дом не войду, ты сама ко мне выйдешь. И знаешь почему?

Конни тяжело дышала. Озиралась и не узнавала кухню, точно в первый раз забежала в эти стены, но они ненадежны, в них не укрыться. За три года на окно не удосужились повесить занавески, в раковине полно немытой посуды, — уж конечно, для нее оставлено, и если провести ладонью по столу, наверняка под рукой будет липко.

— Ты слушаешь, детка? Эй...

— ...позову полицию.

— Только тронь телефон — и мое обещание отменяется, и я могу войти в дом. Ты ж сама этого не

захочешь.

Конни кинулась к двери и попыталась ее запереть. Руки тряслись.

— Ну, чего там запираешься, — прямо в лицо ей ласково сказал Арнолд Друг. — Это ж дверка фиговая. Так, дощечка с сеткой. — Один сапог у него повернулся под неестественным углом, точно пустой. Согнулся у щиколотки и носком показывает влево. — Я что хочу сказать, если надо, всякий прошибет такую дверку — и сетку, и стекло, и дерево, и железо, всякий, кому надо, а уж Арнолд Друг и подавно. Начнется в доме пожар, и ты, лапочка, бросишься ко мне на грудь, да-да, ко мне на грудь, как в дом родной, вроде как ты знала, что я тебе подойду, и уж больше не будешь кочевряжиться. Я не против, когда девочка милая и скромная, но уж когда вовсе кочевряжится, — это не по мне.

Какие-то слова он почти пропел, и Конни узнала их — это же из песенки, которую все твердили в прошлом году: про девчонку, которая бросилась в объятия возлюбленного, будто вернулась в родной дом...

Она стояла босиком на линолеуме и не сводила глаз с Арнолда.

— Чего тебе надо? — прошептала она.

— Тебя, — был ответ.

— Что?

— Увидал тебя в тот вечер и подумал: вот это она и есть, она самая! У меня глаз такой — с первого раза насквозь вижу.

— Так ведь сейчас отец приедет. За мной приедет. Мне сперва надо было вымыть голову... — В горле у Конни пересохло, она говорила очень быстро и еле слышно.

— Нет, папочка за тобой не приедет, а волосы надо было вымыть, это да, это ты их для меня вымыла. Красивые волосы, блестят, и все для меня, благодарю, моя прелесть, — сказал он и насмешливо поклонился, но опять едва не упал. Пришлось ему нагнуться и поправить сапоги. Видно, ноги были в них засунуты не до конца, наверно, он чего-то набил внутрь, чтоб казаться повыше. Конни во все глаза смотрела на него и через его плечо — на Элли, который, сидя в машине, уставился куда-то мимо нее, правее, в пустоту. А потом этот Элли сказал, медленно, одно за другим вытягивая слова, будто из воздуха, будто он первый раз в жизни их обнаружил:

— Отключать, что ли, телефон?

— Заткнись и не вякай, — отозвался Арнолд Друг и весь покраснел, — может, оттого, что стоял нагнувшись, и, может, смутился, что Конни разглядела его сапоги. — Не суйся, куда не просят.

— Что... что ты делаешь? Чего тебе надо? — сказала Конни. — Вот позвоню в полицию, и тебя заберут, тебя арестуют...

— Я обещал — не войду в дом, если ты не тронешь телефон, железно, — сказал он. Выпрямился наконец и напыжился — расправил плечи, выпятил грудь. Будто какой-нибудь киногерой объявляет что-то ужасно важное. Говорил он чересчур громко, и казалось, это он не Конни говорит, а кому-то позади нее. — Мне в дом входить ни к чему, я тут посторонний, мне только надо, чтоб ты вышла ко мне, как оно тебе и положено. Не знаешь разве, кто я такой?

— Ты псих, — прошептала Конни и попятилась от двери. Но отступить в глубь дома было страшно, казалось, это все равно что позволить ему войти. — Чего тебе... Псих ты ненормальный, ты...

— А? Ты про что, лапочка?

Конни растерянно озиралась. Не узнавала кухню, не понимала, где она.

— Так вот, лапочка: выходи, и мы поедem, клево покатаемcя. А не выйдешь — обождем, вернутся твои, и уж мы им дадим шороху.

— Отключать, что ли, телефон? — спросил Элли. Он отвел транзистор от уха и весь скривился, будто без радио ему самый воздух — нож острый.

— Кому говорено, заткнись, — сказал Арнолд Друг. — Может, ты глухой, так заведи слуховой аппарат, усек? Не трепыхайся. Девочка не вредная, будет со мной ласковая, и не твоя это забота, Элли, не твоя девчонка, усек? Не суйся. Не лезь. Не путайся. Не цапай. Не лапай. Не хватай из рук. — Он говорил быстро, равнодушно, на одной ноте, точно перебирал подряд все заученные словечки, но уже не соображал, которое подходящее, потом, закрыв глаза, забубнил новые: — Отвяжись, отцепись, отзынь, отсохни,

отлипни! — Он прищурился и из-под опущенных век взгляделся в Конни, которая отступила к кухонному столу. — Ты на него не гляди, лапочка, он просто малахольный. Он тупарь. Усекла? Вот я тебе пара, и я ж сказал, давай выходи ко мне по-хорошему, чинно-благородно, и все они останутся в целости, стало быть и твой плешивенький папочка, и твоя мамочка, и твоя сестрица на высоких каблучках. Сама посуди, чего нам их в это дело путать?

— Отстань от меня, — прошептала Конни.

— Эй, ты знаешь старуху в той стороне, она еще кур разводит, знаешь?

— Она же умерла!

— Умерла? Ну да? Ты ее знаешь?

— Она умерла...

— Тебе ее не жалко?

— Она умерла... она... ее тут больше нет.

— А тебе ее не жалко? У тебя, что ли, против нее зуб? Может, ты на нее злишься? — Тут он понизил голос, будто спохватился, что сгрубил. Потрогал темные очки, сдвинутые на макушку, будто проверял, тут ли, не потерялись ли. — Ну, будь паинькой!

— Чего тебе от меня надо?

— Да так, две пустяковины, а может, три, — сказал Арнолд Друг. — Но вот тебе мое слово, все сделается по-быстрому, и ты меня полюбишь, как родного. Это точно. Тут тебе больше делать нечего, так что давай выходи. Ты ж не хочешь втравить своих в беду?

Конни повернулась, больно стукнулась обо что-то коленкой, может, о стул, и все равно бегом кинулась в комнаты, к телефону. Что-то загудело у самого уха, тихонько загудело, но от страха ее тошнило, и она только беспомощно слушала — трубка была липкая и очень тяжелая, пальцы нащупывали диск, но не хватало сил его повернуть. И она отчаянно закричала и трубку, в гуденье. Она кричала, звала мать, а дышать было больно, воздух бил в грудь, вырывался вон и вновь бил, словно это Арнолд Друг безо всякой жалости что-то в нее вколачивал. Громкие, горькие рыдания встали вокруг нее стеной, и она очутилась у них взаперти, как взаперти она в этом доме.

А потом она снова стала слышать. Она сидела на полу, привалясь взмокшей спиной к стене.

От двери донесся голос Арнолда Друга.

— Вот и умница. Положи-ка трубку на место.

Конни пнула телефон босой ногой, трубка отлетела.

— Не так, лапочка. Подними ее. И положи как надо.

Она подобрала трубку и положила на рычаг. Гудение смолкло.

— Вот и умница. А теперь выходи.

Внутри было пусто, на месте страха осталась одна пустота. Недавний крик и плач опустошил ее, как взрыв. Она сидела, неудобно поджав одну ногу, а где-то глубоко в мозгу будто горел крохотный острый огонек и не давал покоя. Никогда больше не увижу маму, думала она. Никогда больше не буду спать в своей постели. Зеленая блузка на ней стала вся мокрая.

Арнолд Друг сказал негромко, но очень слышно, будто актер на сцене:

— Откуда ты явилась, того места больше нет, а куда собиралась — на том крест. А что ты сейчас в папочки — ном доме, так это вроде картонки, я его щелчком сшибу. Ты это сама знаешь. Слышишь, что я говорю?

Мне подумать надо, думала Конни. Сообразить, что же делать.

Поедем сейчас на природу, на такую славную полянку, — сказал Арнолд Друг, — там славно пахнет и солнышко светит. Я тебя прижму крепче, так что и вырываться будет незачем, и покажу тебе, что за штука любовь и как это бывает. Черт с ним, с этим домом! С виду-то он крепкий, верно. — Арнолд цапнул ногтем мелкую металлическую сетку, еще вчера Конни передернуло бы от скрипа, а сейчас она словно не слышала. — Ну-ка, лапочка, положи руку на сердце. Чуешь? На ощупь тоже вроде крепко, но мы-то с тобой понимаем, будь со мной миленькая, будь ласковая, уж расстарайся, что еще такой девчонке делать? Твое дело быть миленькой-хорошенькой и не кобениться... и умотать подальше, покуда предки не

вернулись.

Конни чувствовала, как под ладонью колотится сердце. Казалось, она зажала его в руке. Впервые в жизни подумалось: а ведь у нее ничего нет своего, совсем ничего, только вот этот живой колотящийся комок внутри, в теле, которое, оказывается, тоже ей не принадлежит.

— Ты ж не хочешь втравить их в беду? — продолжал Арнолд. — Ну вставай, лапочка. Вставай сама. Конни поднялась.

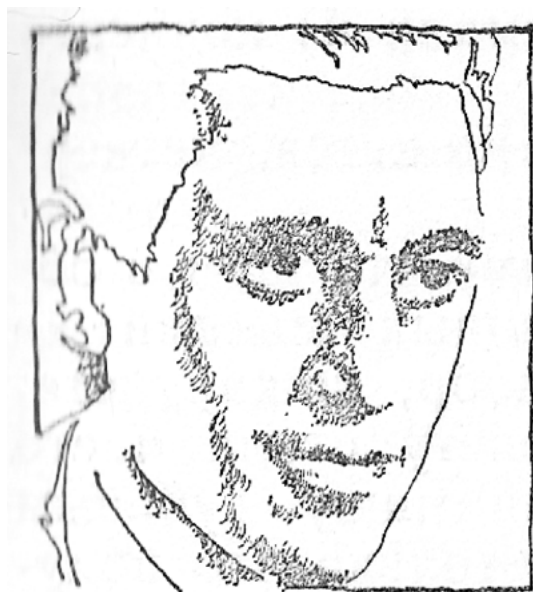
— Повернись ко мне. Вот так. Поди сюда... Элли, заткни свою музыку, сказано тебе? Тупарь. Несчастный малахольный тупарь. — Арнолд Друг говорил это без злости, точно какое-то заклинание произносил. Добродушное заклинание. — Теперь выйди через кухню ко мне, лапочка, да улыбнись давай, попробуй-ка улыбнись, ты у нас умница, молоток девочка, а они сейчас жуют сосиски с кукурузой, сосиски на костре жарены, все полопались, и там никто ни фига про тебя не понимает, сроду они тебя не понимали, лапочка, они тебя не стоят, ведь от них ни от кого тебе такого удовольствия век не видать.

Конни ощутила под босыми подошвами пол — прохладный линолеум. Откинула волосы, упавшие на глаза. Арнолд Друг осторожно отпустил столбик крыльца, за который прежде держался, и раскрыл ей навстречу объятия — вывернул локти внутрь, безвольно свесил кисти: мол, объятие очень скромное, наполовину шутка, и нечего ей смущаться.

Конни уперлась ладонью в москитную сетку. Толкнула, и дверь медленно отворилась, а Конни словно на все глядела со стороны, словно она стояла в безопасности где-то поодаль, на другом пороге, и смотрела, как это тело, эта голова с длинными распущенными волосами окунаются в солнечный свет, где ждет Арнолд Друг.

— Моя девчоночка голубоглазая, — не то вздохнул, не то пропел он совсем некстати, ведь у Конни глаза карие, и все же слова эти слились с бескрайними, залитыми солнцем просторами, что раскинулись позади него, и вправо, и влево... Такого простора она никогда еще не видела и не узнала его, но сейчас она в него канет.

ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИН-



Р

«ФРЭННИ»

Несмотря на ослепительное солнце, в субботу утром снова пришлось, по погоде, надевать теплое пальто, а не просто куртку, как все предыдущие дни, когда можно было надеяться, что эта хорошая погода продержится до конца недели и до решающего матча в Йельском университете.

Из двадцати с лишком студентов, ждавших на вокзале своих девушек с поездом 10.52, только человек шесть-семь остались на холодном открытом перроне. Остальные стояли по двое, по трое, без шапок, в прокуренном, жарко натопленном зале для пассажиров и разговаривали таким безапелляционно-догматическим тоном, словно каждый из них сейчас раз и навсегда разрешал один из тех проклятых вопросов, в которые до сих пор весь внешний, внеакадемический мир веками, нарочно или нечаянно, вносил невероятную путаницу.

Лэйн Кутель в непромокаемом плаще, под который он, конечно, подстегнул теплую подкладку, стоял на перроне вместе с другими мальчиками, вернее — и с ними и не с ними. Уже минут десять, как он нарочно отошел от них и остановился у киоска с бесплатными брошюрками «Христианской науки», глубоко засунув в карманы пальто руки без перчаток. Коричневое шерстяное кашне выбилось из-под воротника, почти не защищая его от ветра. Лэйн рассеянно вынул руку из кармана, хотел было поправить кашне, но передумал и вместо этого сунул руку во внутренний карман и вытащил письмо. Он тут же стал его перечитывать, слегка приоткрыв рот.

Письмо было написано, вернее, напечатано на бледно-голубой бумаге. Вид у этого листка был такой измятый, неновый, как будто его уже вынимали из конверта и перечитывали много раз.

«Кажется, четверг

Милый-милый Лэйн,

не знаю, разберешь ли ты все, потому что шум в общежитии неопишуемый, даже собственных мыслей не слышу. И если будут ошибки, будь добр, пожалуйста, не замечай их. Кстати, по твоему совету стала часто заглядывать в словарь, так что, если пишу дубовым стилем, ты сам виноват. Вообще же я только что получила твое чудесное письмо, и я тебя люблю, безумно, страстно и так далее и жду не дожусь субботы. Жаль, конечно, что ты меня не смог устроить в Крофт-Хауз, но в общем мне все равно, где жить, лишь бы

тепло, чтобы не было психов и чтобы я могла тебя видеть время от времени, вернее — все время. Я совсем того, то есть просто схожу по тебе с ума. Влюбилась в твое письмо. Ты чудно пишешь про Элиота. А мне сейчас что-то все поэты, кроме Сафо, ни к чему. Читаю ее как сумасшедшая — и пожалуйста, без глупых намеков. Может быть, я даже буду делать по ней курсовую, если решу добиваться диплома с отличием и если разрешит кретин, которого мне назначили руководителем. «Хрупкий Адонис гибнет, Киферея, что же нам делать? Бейте в грудь себя, девы, рвите одежды в смятение!» Правда, изумительно? Она ведь и на самом деле рвет на себе одежду. А ты меня любишь? Ты ни разу этого не сказал в твоём чудовищном письме, ненавижу, когда ты притворяешься таким сверхмужественным и сдержанным (два «н»?). Вернее, не то что ненавижу, а просто мне органически противопоказаны «сильные и суровые мужчины». Нет, конечно, это ничего, что ты тоже сильный, но я же не о том, сам понимаешь. Так шумят, что не слышу собственных мыслей. Словом, я тебя люблю, и, если только найду марку в этом бедламе, пошлю письмо срочно, чтобы ты получил его заранее. Люблю тебя, люблю, люблю. А ты знаешь, что за одиннадцать месяцев мы с тобой танцевали всего два раза? Не считаю тот вечер, когда ты так напился в «Вандарже». Наверно, я буду ужасно стесняться. Кстати, если ты кому-нибудь про это скажешь, я тебя убью! Жду субботы, мой цветик. Фрэнни.

Очень тебя люблю.

Р. S. Папе принесли рентген из клиники, и мы обрадовались: опухоль есть, но не злокачественная. Вчера говорила с мамой по телефону. Кстати, она шлет тебе привет, так что можешь успокоиться — я про тот вечер, и пятницу. По-моему, они даже не слышали, как мы пошли в дом.

R.P.S. Пишу тебе ужасно глупо и неинтересно. Почему? Разрешаю тебе проанализировать это. Нет, давай лучше проведем с тобой время как можно веселее. Я хочу сказать — если можно, хоть раз в жизни, не надо все, особенно меня, разбирать по косточкам до одурения. Я люблю тебя.

Фрэнни (ее подпись)».

На этот раз Лэйн успел перечитать письмо только наполовину, когда его прервал — помешал, влез — коренастый юнец по имени Рэй Соренсен, которому понадобилось узнать, понимает ли Лэйн, что пишет этот проклятый Рильке. И Лэйн и Соренсен, оба проходили курс современной европейской литературы — к нему допускались только старшекурсники и выпускники, и к понедельнику им задали разбор четвертой элегии Рильке из цикла «Дуинесские элегии».

Лэйн знал Соренсена мало, однако испытывал хотя и смутное, но вполне определенное отвращение к его физиономии и манере держаться и, спрятав письмо, сказал, что он не уверен, но, кажется, все понял.

— Тебе повезло, — сказал Соренсен, — счастливый ты человек. — Он сказал это таким безжизненным голосом, словно подошел к Лэйну исключительно от скуки или от нечего делать, а вовсе не для того, чтобы по-человечески поговорить. — Черт, до чего холодно, — сказал он и вынул пачку сигарет из кармана.

На отвороте верблюжьего пальто у Соренсена Лэйн заметил полустертый, но все же достаточно заметный след губной помады. Казалось, что этому следу уже несколько недель, а может быть, и месяцев, но Лэйн слишком мало знал Соренсена и сказать постеснялся, а кстати, ему было наплевать. К тому же подходил поезд. Оба они повернулись к путям. И тут же распахнулись двери в ожидалку, и все, кто там грелся, выбежали встречать поезд, причем казалось, что у каждого в руке по крайней мере три сигареты.

Лэйн тоже закурил, когда подходил поезд. Потом, как большинство тех людей, которым надо было бы только после долгого испытательного срока выдавать пропуски на встречу поездов, Лэйн постарался согнать с лица все, что могло бы просто и даже красиво передать его отношение к приехавшей гостье.

Фрэнни одна из первых вышла из дальнего вагона в северном конце платформы. Лэйн увидел ее сразу, и, что бы он ни старался сделать со своим лицом, его рука так вскинулась кверху, что сразу все стало ясно. И Фрэнни это поняла, и горячо замахала ему в ответ. На ней была шубка из стриженного енота, и Лэйн, идя к ней навстречу быстрым шагом, но с невозмутимым лицом, вдруг подумал, что на всем перроне только ему одному по-настоящему знакома шубка Фрэнни. Он вспомнил, как однажды, в чьей-то машине, целуясь с Фрэнни уже с полчаса, он вдруг поцеловал отворот ее шубки, как будто это было впол-

не естественное, желанное продолжение ее самой.

— Лэйн! — Фрэнни поздоровалась с ним очень радостно: она была не из тех, кто скрывает радость. Закинув руки ему на шею, она поцеловала его. Это был перронный поцелуй — сначала непринужденный, но сразу затормозившийся, словно они просто стукнулись лбами.

— Ты получил мое письмо? — спросила она и тут же сразу добавила: — Да ты совсем замерз, бедняжка! Почему не подождал внутри? Письмо мое получил?

— Какое письмо? — спросил Лэйн, поднимая ее чемодан. Чемодан был синий, отделанный белой кожей, как десяток других чемоданов, только что снятых с поезда.

— Не получил? А я опустила в среду! Господи! Еще сама отнесла на почту!

— А-а-а, ты о том письме... Да, да. Это все твои вещи? А что за книжка?

Фрэнни взглянула на книжку, она держала ее в левой руке — маленькую книжечку в светло-зеленом переплете. — Эта? Так, неважно... — Открыв сумку, она сунула туда книжечку и пошла за Лэйном по длинному перрону, к остановке такси. Она взяла его под руку и всю дорогу говорила не умолкая. Сначала про платье — оно лежит в чемодане, и его необходимо прогладить. Сказала, что купила чудесный маленький утюжок, совсем игрушечный, но забыла его привезти. В вагоне она встретила только трех знакомых девочек — Марту Фаррар, Типпи Тиббет и Элинора, как ее там, она с ней познакомилась бог знает когда, еще в пансионе, не то в Экзетере, не то где-то еще. А по всем остальным в поезде сразу было видно, что они из Смита, только две — абсолютно вассаровского типа, а одна — явно из Лоуренса или Беннингтона. У этой беинингтон-лоуренсовской был такой вид, словно она все время просидела в туалете и занималась там рисованием или скульптурой, в общем чем-то художественным, а может быть, у нее под платьем было балетное трико. Лэйн шел слишком быстро и на ходу извинился, что не смог устроить ее в Крофт-Хаузе — это было безнадежно, но он устроил ее в очень хороший, уютный отель. Маленький, но чистый и все такое. Ей понравится, сказал он, и Фрэнни сразу представила себе белый дощатый барак. Три незнакомые девушки в одной комнате. Кто первый попадет в комнату, тот захватит горбатый диванчик, а двум другим придется спать вместе на широкой кровати с совершенно неописуемым матрасом. «Чудно!» — сказала она восторженным голосом. До чертиков трудно иногда скрывать раздражение из-за полной непригодности мужской половины рода человеческого, и особенно это касалось Лэйна. Ей вспомнился дождливый вечер в Нью-Йорке, сразу после театра, когда Лэйн, стоя у обочины, с подозрительно преувеличенной вежливостью уступил такси ужасно противному типу в смокинге. Она не особенно рассердилась; конечно, это ужас — быть мужчиной и ловить такси в дождь, но она помнила, каким злым, прямо-таки враждебным взглядом Лэйн посмотрел на нее, вернувшись на тротуар. И сейчас, чувствуя себя виноватой за эти мысли и за все другое, она с притворной нежностью прижалась к руке Лэйна. Они сели в такси. Синий с белым чемодан поставили рядом с водителем.

— Забросим твой чемодан и все лишнее в отель, где ты остановишься, просто швырнем в двери, и пойдем позавтракаем, — сказал Лэйн. — Умираю, есть хочу! — Он наклонился к водителю и дал ему адрес.

— Как я рада тебя видеть, — сказала Фрэнни, когда такси тронулось. — Я так соскучилась! — Но не успела она выговорить эти слова, как поняла, что это неправда. И снова, почувствовав вину, она взяла руку Лэйна и тесно, тепло переплела его пальцы со своими.

Примерно через час они уже сидели в центре города за сравнительно изолированным столиком в ресторане Сиклера — любимом прибежище студентов, особенно интеллектуальной элиты — того типа студентов, которые, будь они в Йеле или Принстоне, непременно уводили бы своих девушек подальше от Мори или Кронина. У Сиклера, надо отдать ему должное, никогда не подавали бифштексов «вот такой толщины» — указательный и большой пальцы разводятся примерно на дюйм. У Сиклера ели улиток. У Сиклера либо оба — и студент и его девушка — заказывали салат, либо оба отказывались из-за того, что в подливку клали чеснок. Фрэнни и Лэйн пили мартини.

С четверть часа назад, когда им подали коктейль, Лэйн отпил глоток, сел поудобнее и оглядел бар с почти осязаемым чувством блаженства оттого, что он был именно там, где надо, и именно с такой девушкой, как надо — безукоризненной с виду и не только необыкновенно хорошенькой, но, к счастью, и

не слишком спортивного типа — никакой тебе фланелевой юбки, шерстяного свитера. Фрэнни заметила это мелькнувшее выражение самодовольства и правильно его истолковала, не преувеличивая и не преуменьшая. Но по крепко укоренившейся внутренней привычке она сразу почувствовала себя виновной в том, что увидела, подглядела это выражение и тут же вынесла себе приговор: слушать то, что рассказывал Лэйн, с выражением особого, напряженного внимания.

А Лэйн говорил как человек, уже минут с пятнадцать овладевший разговором и уверенный, что он попал именно в тот тон, когда все, что он изрекает, звучит абсолютно правильно.

— Грубо говоря, — продолжал он, — про него можно сказать, что ему не хватает нужных желез. Понимаешь, о чем я? — Он выразительно наклонился к своей внимательной слушательнице, Фрэнни, и положил руки на стол около бокала с коктейлем.

— Не хватает чего? — переспросила Фрэнни. Ей пришлось откашляться, потому что она так долго молчала.

Лэйн запнулся.

— Мужественности, — сказал он.

— Нет, ты сначала сказал не так.

Ну, словом, это была, так сказать, основная мотивировка, и я старался ее подчеркнуть как можно ненавязчивее, — сказал Лэйн, совершенно поглощенный собственной речью. — Понимаешь, какая штука. Честно говоря, я был уверен, что это мое сочинение пойдет ко дну, как свинцовое грузило, и когда мне его вернули и внизу вот эдакими буквами, футов в шесть вышиной, «отлично», я чуть не упал, клянусь честью!

Фрэнни снова откашлялась. Очевидно, она уже полностью отбыла наложенное на себя наказание — слушать с неослабевающим интересом.

— Почему? — спросила она.

Лэйн слегка удивился, что его перебили.

— Что «почему»?

— Почему ты решил, что оно пойдет ко дну, как свинцовое грузило?

— Да я же тебе объяснил. Я тебе только что рассказал, какой дока этот Брауман по Флоберу. По крайней мере, я так думал.

— А-а-а, — сказала Фрэнни. Она улыбнулась. Она отпила немного martin. — Как вкусно, сказала она, глядя на бокал. — Хорошо, что некрепкий. Ненавижу, когда джина слишком много.

Лэйн кивнул.

— Кстати, это треклятое сочинение лежит у меня на столе. Если выкроим минутку, я тебе прочитаю.

— Чудно, с удовольствием послушаю.

Лэйн снова кивнул.

— Понимаешь, не то чтобы я сделал какое-то потрясающее открытие, вовсе нет. — Он сел поудобнее. — Не знаю, но, по-моему, то, что я подчеркнул, почему он с такой неврастенической одержимостью ищет *not juste* *, было правильно. Я хочу сказать — в свете того, что мы теперь знаем. Не только психоанализ и всякая такая штука, но в каком-то отношении и это. Ты меня понимаешь. Я вовсе не фрейдист, ничего похожего, но есть вещи, которые нельзя просто окрестить фрейдизмом с большой буквы и выкинуть за борт. Я хочу сказать, что в каком-то отношении я имел полнейшее право написать, что ни один из этих настоящих, ну, первоклассных авторов — Толстой, Достоевский, наконец, Шекспир, черт подери! — никогда не ковырялся в словах до потери сознания. Они просто писали — и все. Ты меня понимаешь? — И Лэйн выжидающе взглянул на Фрэнни. Ему казалось, что она слушает его с особенным вниманием.

* Точное слово (франц.).

— Будешь есть оливку или нет?

Лэйн мельком взглянул на свой бокал martin, потом — на Фрэнни.

— Нет, — холодно сказал он. — Хочешь съесть?

— Если ты не будешь, — сказала Фрэнни. По выражению лица Лэйна она поняла, что спросила не-

впопад. И что еще хуже — ей совершенно не хотелось есть оливку, и она сама удивилась, зачем она ее попросила. Но делать было нечего: Лэйн протянул ей бокал, и пришлось выловить оливку и съесть ее с показным удовольствием. Потом она взяла сигарету из пачки Лэйна, он дал ей прикурить и закурил сам.

После эпизода с оливкой за их столиком наступило молчание. Но Лэйн нарушил его — не такой он был человек, чтобы лишать себя возможности первым подать реплику после паузы:

— Знаешь, этот самый Брауман считает, что я должен был бы напечатать свое сочиненьишко, — сказал он отрывисто. — А я и сам не знаю.

И, как будто безумно устав, вернее, обессилев от требований, которые ему предъявляет жадный мир, жаждущий вкусить от плодов его интеллекта, Лэйн стал поглаживать щеку ладонью, с неумышленной бестактностью протирая сонный глаз.

— Ты понимаешь, таких эссе про Флобера и всю эту компанию написана чертова уйма. — Он подумал, помрачнел. — И все-таки, по-моему, ни одной по-настоящему глубокой работы о нем за последнее время...

— Ты разговариваешь совсем как ассистент профессора. Ну точь-в-точь...

— Прости, не понял? — сказал Лэйн размеренным голосом.

— Ты разговариваешь точь-в-точь как ассистент профессора. Извини, но так похоже. Ужасно похоже.

— Да? А как именно разговаривает ассистент профессора, разреши узнать?

Фрэнни поняла, что он обиделся, и очень, но сейчас, разозлившись наполовину на него, наполовину на себя, она никак не могла удержаться:

Не знаю, какие они тут, у вас, но у нас ассистенты — это те, кто замещает профессора, когда тот в отъезде, или возится со своими нервами, или ушел к зубному врачу, да мало ли что. Обыкновенно их набирают из старшекурсников или еще откуда-нибудь. Ну, слонем, идут занятия, например, по русской литературе. И приходит такой чудик, все на нем аккуратно, рубашечка, галстучек в полоску, и начинает с полчаса терзать Тургенева. А потом, когда тебе Тургенев из-за него совсем опротивел, он начинает распространяться про Стендаля или еще про кого-нибудь, о ком он писал диплом. По нашему университету их бегают человек десять, портят все, за что ни возьмутся, и все они до того талантливые, что рта открыть не могут — прости за противоречие. Я хочу сказать, если начнешь им возражать, они только глянут на тебя с таким снисхождением, что...

— Слушай, в тебя сегодня прямо какой-то бес вселился! Да что это с тобой, черт возьми?

Фрэнни быстро стряхнула пепел с сигареты, потом пододвинула к себе пепельницу.

— Прости. Я сегодня плохая, — сказала она. — И всю неделю готова была все уничтожить. Это ужасно. Я просто гадкая.

— По твоему письму этого никак не скажешь...

Фрэнни серьезно кивнула. Она смотрела на маленького солнечного зайчика величиной с покерную фишку, игравшего на скатерти.

— Я писала с большим напряжением, — сказала она.

Лэйн что-то хотел сказать, но тут подошел официант, чтобы убрать пустые бокалы.

— Хочешь еще выпить? — спросил Лэйн у Фрэнни.

Ответа не было. Фрэнни смотрела на солнечное пятнышко с таким упорством, будто собиралась лечь на него.

— Фрэнни, — сказал Лэйн терпеливым голосом, ради официанта. — Ты хочешь martini или что-нибудь еще?

Она подняла глаза.

— Извини, пожалуйста. — Она взглянула на пустые бокалы в руках официанта. — Нет. Да. Не знаю. Лэйн засмеялся, тоже специально для официанта.

— Ну, так как же? — спросил он.

— Да, пожалуйста. — Она немного оживилась.

Официант ушел. Лэйн посмотрел ему вслед, потом взглянул на Фрэнни. Чуть приоткрыв губы, она

медленно стряхивала пепел с сигареты в чистую пепельницу, которую поставил официант. Лэйн посмотрел на нее с растущим раздражением. Очевидно, его и обижали и пугали проявления отчужденности в девушке, к которой он относился всерьез. Во всяком случае, его, безусловно, беспокоило то, что блажь, напавшая на Фрэнни, может изгадить им весь конец недели. Он вдруг наклонился к ней, положив руки на стол, — надо же, черт побери, наладить отношения, — но Фрэнни заговорила первая.

— Я сегодня никуда не гожусь, — сказала она, — совсем скисла.

Она посмотрела на Лэйна, как на чужого, вернее, как на рекламу линолеума в вагоне метро. И опять ее укололо чувство вины, предательства — очевидно, сегодня это было в порядке вещей, и, потянувшись через стол, она накрыла ладонью руку Лэйна. Но, тут же отняв руку, она взялась за сигарету, лежавшую в пепельнице.

— Сейчас пройдет, — сказала она, — обещаю.

Она улыбнулась Лэйну, пожалуй, вполне искренне. и в эту минуту ответная улыбка могла бы хоть немного смягчить все, что затем произошло. Но Лэйн постарался напустить на себя особое равнодушие и улыбкой ее не удостоил. Фрэнни затянулась сигареткой.

— Если бы раньше сообразить, — сказала она, — и если бы я, как дура, не влипла в этот дополнительный курс, я б вообще бросила английскую литературу. Сама не знаю. — Она стряхнула пепел. — Мне до визгу надоели эти педанты, эти воображалы, которые все изничтожают... — Она взглянула на Лэйна. — Прости. Больше не буду. Честное слово... Просто, не будь я такой трусихой, я бы вообще в этом году не вернулась в колледж. Сама не знаю. Понимаешь, все это жуткая комедия.

— Блестящая мысль. Прямо блеск.

Фрэнни приняла сарказм как должное.

— Прости, — сказала она.

— Может, перестанешь без конца извиняться? Вероятно, тебе не приходит в голову, что ты делаешь совершенно дурацкие обобщения. Если бы все преподаватели английской литературы так все изничтожали, было бы совсем другое...

Но Фрэнни перебила его еле слышным голосом. Она смотрела поверх его серого фланелевого плеча незрячим далеким взглядом.

— Что? — переспросил Лэйн.

— Я сказала — знаю. Ты прав. Я просто не в себе. Не обращай на меня внимания.

Но Лэйн никак не мог допустить, чтобы спор окончился не в его пользу.

— Фу ты, черт, — сказал он, — в любой профессии есть мазилы. Это же элементарно. И давай забудем про этих идиотов ассистентов хоть на минуту. — Он посмотрел на Фрэнни. — Ты меня слушаешь или нет?

— Слушаю.

— У вас там, на курсе, два лучших в стране преподавателя, черт возьми. Мэнлиус. Эспозито. Бог мой, да если бы их сюда, к нам. По крайней мере, они-то хоть поэты, и поэты без дураков.

— Вовсе нет, — сказала Фрэнни. — Это-то самое ужасное. Я хочу сказать — вовсе они не поэты. Просто люди, которые пишут стишки, а их печатают, но никакие они не поэты. — Она растерянно замолчала и погасила сигарету. Стало заметно, что она все больше и больше бледнеет. Вдруг даже помада на губах стала светлее, словно она промокнула ее бумажной салфеткой. — Давай об этом не будем, — сказала она почти беззвучно, растирая сигарету в пепельнице. — Я совсем не в себе. Испорчу тебе весь праздник. А вдруг под моим стулом люк, и я исчезну?

Официант подошел быстрым шагом и поставил второй коктейль перед каждым. Лэйн сплел пальцы, очень длинные, тонкие — и это было очень заметно, — вокруг ножки бокала.

— Ничего ты не испортишь, — сказал он спокойно. — Мне просто интересно узнать, что ты понимаешь под всей этой чертовщиной. Разве нужно непременно быть какой-то богемой или помереть к чертям собачьим, чтобы считаться настоящим поэтом? Тебе кто нужен — какой-нибудь шизик с длинными кудрями?

— Нет. Только давай не будем об этом. Прошу тебя. Я так гнусно себя чувствую, и меня просто...

Буду счастлив бросить эту тему, буду просто в восторге. Только ты мне раньше скажи, если не возражаешь, что же это за штука — настоящий поэт? Буду тебе очень благодарен, ей-богу, очень!

На лбу у Фрэнни выступила легкая испарина, может быть, оттого, что в комнате было слишком жарко, или она съела что-то не то, или коктейль оказался слишком крепким. Во всяком случае, Лэйн как будто ничего не заметил.

— Я сама не знаю, что такое настоящий поэт. Пожалуйста, перестань, Лэйн. Я серьезно. Мне ужасно не по себе, как-то нехорошо, и я не могу...

— Ладно, ладно, успокойся, — сказал Лэйн. — Я только хотел...

— Одно я только знаю, — сказала Фрэнни. — Если ты поэт, ты создаешь красоту. Понимаешь, поэт должен оставить в нас что-то прекрасное, какой-то след на странице. А те, про кого ты говоришь, ни одной-единственной строчки, никакой красоты в тебе не оставляют. Может быть, лучшие из них как-то проникают, в твою голову и что-то от них остается, но все равно, хоть они и проникают, хоть от них что-то и остается, это вовсе не значит, что они пишут настоящие стихи, господи боже мой! Может быть, это просто какие-то очень увлекательные синтаксические фокусы, испражнения какие-то — прости за выражение. И этот Мэнлиус и Эспозито, все они такие.

Лэйн повременил и затянулся сигаретой, прежде чем ответить.

— А я-то думал, что тебе нравится Мэнлиус. Кстати, с месяц назад, если память мне не изменяет, ты говорила, что он прелесть и что тебе...

— Да нет же, он очень приятный. Но мне надоели люди просто приятные. Господи, хоть бы встретить человека, которого можно уважать... Прости, я на минутку. — Фрэнни вдруг встала, взяла сумочку. Она страшно побледнела.

Лэйн тоже встал, отодвинув стул.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты плохо себя чувствуешь? Что случилось?

— Я сейчас вернусь.

Она вышла из зала, никого не спрашивая, как будто завтракала тут не раз и отлично все знает.

Лэйн, оставшись в одиночестве, курил и понемножку отпивал мартини, чтобы осталось до возвращения Фрэнни. Ясно было одно: то чувство удовлетворения, которое он испытывал полчаса назад оттого, что завтракал там, где полагается, с такой девушкой, как надо, — во всяком случае, с виду все было как надо, — по чувству теперь испарилось начисто. Он взглянул на шубку стриженного меха, косо висевшую на спинке стула Фрэнни, — на шубку, которая так взволновала его на вокзале чем-то удивительно знакомым, — и в его взгляде мелькнуло нечто, определенно похожее на неприязнь. Почему-то его особенно раздражала измятая шелковая подкладка. Он отвел глаза от шубки и уставился на бокал с коктейлем, хмурясь, словно его несправедливо обидели. Ясно было только одно: вечер начинался довольно странно — чертовщина какая-то... Но тут он случайно поднял глаза и увидел вдали своего однокурсника с девушкой. Лэйн сразу выпрямился и старательно переделал выражение лица — с обиженного и недовольного на обыкновенное выражение, с каким человек ждет свою девушку, которая по обычаю всех девиц ушла на минуту в туалет, и ему теперь только и осталось, что курить со скучающим видом да еще выглядеть при этом как можно привлекательнее.

Дамская комната у Сиклера была почти такая же по величине, как и сам ресторан, и в каком-то отношении почти такая же уютная. Никто ее не обслуживал, и, когда Фрэнни вошла, там больше никого не было. Она постояла на кафельном полу, словно кому-то назначила тут свидание. Бисерные капельки пота выступили у нее на лбу, рот чуть приоткрылся, и она побледнела еще больше, чем там, в ресторане.

И вдруг, сорвавшись с места, она забежала в самую дальнюю, самую неприметную кабинку — к счастью, не надо было бросать монетку в автомат, — захлопнула дверь и с трудом повернула ручку. Не замечая, по-видимому, своеобразие окружающей обстановки, она сразу села, вплотную сдвинув колени, как будто ей хотелось сжаться в комок, стать еще меньше. И, подняв руки кверху, она крепко-накрепко прижала подушечки ладоней к глазам, словно пытаясь парализовать зрительный нерв, погрузить все образы в черную пустоту. Хотя ее пальцы дрожали, а может быть, именно от этой дрожи они казались осо-

бенно тонкими и красивыми. На миг она застыла напряженно в этой почти утробной позе — и вдруг разрыдалась. Она плакала целых пять минут. Плакала громко и неудержимо, судорожно всхлипывая, — так ребенок заходится в слезах, когда дыхание никак не может прорваться сквозь стиснутое горло. Но вдруг она перестала плакать — остановилась сразу, без тех болезненных, режущих, как нож, выдохов и вдохов, какими всегда кончается такой приступ. Казалось, она остановилась оттого, что у нее в мозгу что-то ментально переключилось, и это переключение сразу успокоило все ее существо. С каким-то отсутствующим выражением на залитом слезами лице она подняла с пола свою сумку и, открыв ее, вытащила оттуда книжечку в светло-зеленом матерчатом переплете. Она положила ее на колени, вернее, на одно колено и уставилась на нее не мигая, словно только тут, именно тут, на ее колене, и должна была лежать маленькая книжка в светло-зеленом матерчатом переплете. Потом она схватила книжку, подняла ее и прижала к себе, решительно и быстро. И, спрятав ее в сумку, встала и вышла из кабинки. Вымыв лицо холодной водой, она взяла с полки чистое полотенце, вытерла лицо, подкрасила губы, причесалась и вышла из дамской комнаты.

Она была прелестна, когда шла по залу ресторана к своему столику, очень оживленная, как и полагалось, в предвкушении веселого университетского праздника. Улыбаясь на ходу, она подошла к своему месту, и Лэйн медленно встал, не выпуская салфетку из рук.

— Ты уж прости, пожалуйста, — сказала Фрэнни. — Наверно, подумал, что я умерла?

— Как это я мог подумать? Умерла... — сказал Лэйн. Он отодвинул для нее стул. — Просто не понял, что случилось. — Он вернулся на место. — Кстати, времени у нас в обрез. — Он сел. — Ты в порядке? Почему глаза красные? — Он присмотрелся поближе: — Нездоровится, что ли?

Фрэнни закурила.

— Нет, сейчас все чудесно. Но меня никогда в жизни так не шатало. Ты заказал завтрак?

— Тебя ждал, — сказал Лэйн, не сводя с нее глаз. — Все-таки что с тобой было? Животик?

— Нет. То есть и да и нет. Сама не знаю. — Она взглянула на меню у себя на тарелке и прочла, не беря листок в руки. — Мне только сэндвич с цыпленком и стакан молока... А себе заказывай что хочешь. Ну, всяких там улиток и осьминожек. Прости, осьминогов. А я совсем не голодна.

Лэйн посмотрел на нее, потом выпустил себе в тарелку очень тоненькую и весьма выразительную струйку дыма.

— Ну и праздничек у нас, просто прелесть! — сказал он. — Сэндвич с цыпленком, мать божья!

— Прости, Лэйн, но я совсем не голодна, — с досадой сказала Фрэнни. — Ах, боже мой... Ты закажи се— бе, что хочешь, непременно, и я с тобой немножко поем. По не могу же я ради тебя вдруг развить бешеный аппетит.

— Ладно, ладно! — И Лэйн, вытянув шею, кивнул официанту. Он тут же заказал сэндвич и стакан молока для Фрэнни, а для себя улиток, лягушачьи ножки и салат. Когда официант отошел, Лэйн взглянул на часы: — Нам надо попасть в Тендбридж в час пятнадцать, в крайнем случае — в половине второго. Не позже. Я сказал Уолли, что мы зайдем что-нибудь выпить, а потом все вместе отправимся на стадион в его машине. Согласна? Тебе ведь нравится Уолли?

— Понятия не имею, кто он такой.

— Фу, черт, да ты его видела раз двадцать. Уолли Кэмбл, ну? Да ты его сто раз видела...

— А-а, вспомнила. Ради бога не злись ты, если я сразу не могу кого-то вспомнить. Ведь они же и с виду все одинаковые, и одеваются одинаково, и разговаривают, и делают все одинаково.

Фрэнни оборвала себя: собственный голос показался ей придиричвым и ехидным, и на нее накатила такая ненависть к себе, что ее опять буквально вогнало » пот. Но помимо воли ее голос продолжал:

Я вовсе не говорю, что он противный и вообще... Но четыре года подряд, куда ни пойдешь, везде эти уолли кэмблы. И я заранее знаю — сейчас они начнут меня очаровывать, заранее знаю — сейчас начнут рассказывать самые подлые сплетни про мою соседку по общежитию. Знаю, когда спросят, что я делала летом. Знаю, когда возьмут стул, сядут на него верхом, лицом к спинке, и начнут хвастать таким ужасно, ужасно равнодушным голосом или называть знаменитостей — тоже так спокойно, так небрежно. У них неписанный закон: если принадлежишь к определенному кругу — по богатству или рождению, — значит,

можешь сколько угодно хвастать знакомством со знаменитостями, лишь бы ты при этом непременно говорил про них какие-нибудь гадости — что он сволочь, или эротоман, или всегда под наркотиками, — словом, что-нибудь мерзкое.

Она опять замолчала. Повертев в руках пепельницу и стараясь не смотреть в лицо Лэйну, она вдруг сказала:

— Прости меня. Уолли Кэмбл тут ни при чем. Я напала на него, потому что ты о нем заговорил. И потому что по нему сразу видно, что он проводит лето где-нибудь в Италии или вроде того.

— Кстати, для твоего сведения, он лето провел во Франции, — сказал Лэйн. — Нет, нет, я тебя понимаю, — торопливо добавил он, — но ты дьявольски несправедли...

— Пусть, — устало сказала Фрэнни, — пусть во Франции. Она взяла сигарету из пачки на столе. — Дело тут не в Уолли. Господи, да взять любую девочку. Понимаешь, если б он был девчонкой, из моего общежития например, то он все лето писал бы пейзажики с какой-нибудь бродячей компанией. Или объезжал на велосипеде Уэльс. Или снял бы квартиру в Нью-Йорке и работал на журнал или на рекламное бюро. Понимаешь, все они такие. И все, что они делают, все это до того — не знаю, как сказать, — не то чтобы неправильно, или даже скверно, или глупо — вовсе нет. Но все до того мелко, бессмысленно и так уныло. А хуже всего то, что, если стать богемой или еще чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот-навыворот. — Она замолчала. И вдруг тряхнула головой, опять побледнела, на секунду приложила ладонь ко лбу — не для того, чтобы стереть пот со лба, а словно для того, чтобы пощупать, нет ли у нее жара, как делают все мамы маленьким детям.

— Странное чувство, — сказала она, — кажется, сходишь с ума. А может быть, я уже свихнулась.

Лэйн смотрел на нее по-настоящему встревоженно — не с любопытством, а именно с тревогой.

— Да ты бледная как полотно, — сказал он. — До того побледнела... Слышишь?

Фрэнни тряхнула головой:

— Пустяки, я прекрасно себя чувствую. Сейчас пройдет. — Она взглянула на официанта — тот принес заказ. — Ух, какие красивые улитки! — Она поднесла сигарету к губам, но сигарета потухла. — Куда ты девал спички? — спросила она.

Когда официант отошел, Лэйн дал ей прикурить.

— Слишком много куришь, — заметил он. Он взял маленькую вилочку, положенную у тарелки с улитками, но, прежде чем начать есть, взглянул на Фрэнни. — Ты меня беспокоишь. Нет, я серьезно. Что с тобой стряслось за последние недели?

Фрэнни посмотрела на него и, тряхнув головой, пожала плечами.

— Ничего. Абсолютно ничего. Ты ешь. Ешь своих улит. Если остынут, их в рот не возьмешь.

— И ты поешь.

Фрэнни кивнула и посмотрела на свой сандвич. К горлу волной подкатила тошнота, и она, отвернувшись, крепко затянулась сигаретой.

— Как ваша пьеса? — спросил Лэйн, расправляясь с улитками.

— Не знаю. Я не играю. Бросила.

— Бросила? — Лэйн посмотрел на нее. Я думал, ты в восторге от своей роли. Что случилось? Отдали кому-нибудь твою роль?

— Нет, не отдали. Осталась за мной. Это-то и противно. Ах, все противно.

— Так в чем же дело? Уж не бросила ли ты театральный факультет?

Фрэнни кивнула и отпила немного молока.

Лэйн прожевал кусок, проглотил его, потом сказал:

— Но почему же, что за чертовщина? Я думал, ты в этот треклятый театр влюблена как не знаю что... Я от тебя больше ни о чем и не слыхал весь этот...

— Бросила — и все, — сказала Фрэнни. — Вдруг стало ужасно неловко. Чувствую, что становлюсь противной, самовлюбленной, какой-то пуп земли. — Она задумалась. — Сама не знаю. Показалось, что это ужасно дурной вкус — играть на сцене. Я хочу сказать, какой-то эгоцентризм. Ох, до чего я себя ненавидела после спектакля, за кулисами. И все эти эгоцентрички бегают вокруг тебя, и уж до того они сами

себе кажутся душевными, до того теплыми. Всех целуют, на них самих живого места нет от грима, а когда кто-нибудь из друзей зайдет к тебе за кулисы, уж они стараются быть до того естественными, до того приветливыми, ужас! Я просто себя возненавидела... А хуже всего, что мне как-то стыдно было играть во всех этих пьесах. Особенно на летних гастролях. — Она взглянула на Лэйна. — Нет, роли мне давали самые лучшие, так что нечего на меня смотреть такими глазами. Не в том дело. Просто мне было бы стыдно, если б кто-нибудь, ну, например, кто-то, кого я уважаю, например, мои братья, вдруг услышали бы, как я говорю некоторые фразы из роли. Я даже иногда писала некоторым людям, просила их не приезжать на спектакли. — Она опять задумалась. — Кроме Пэгин в «Повесе», я ее летом играла. Понимаешь, было бы очень неплохо, если б этот сапог — он играл Повесу — не испортил все на свете. Такую лирику развел — о господи, до чего он все рассусолил!

Лэйн доел своих улиток. Он сидел, нарочно согнав всякое выражение с лица.

— Однако рецензии о нем писали потрясающие, — сказал он. — Ты же сама мне их послала, если помнишь.

Фрэнни вздохнула:

— Ну, послала. Перестань, Лэйн.

— Нет, я только хочу сказать, ты тут полчаса разглагольствуешь, будто ты одна на свете все понимаешь, как черт, все можешь критиковать. Я только хочу сказать, если самые знаменитые критики считали, что он играл потрясающе, так, может, это верно, может быть, ты ошибаешься? Ты об этом подумала? Знаешь, ты еще не совсем доросла...

— Да, он играл потрясающе для человека просто талантливого. А для этой роли нужен гений. Да, гений — и все, тут ничего не поделаешь, — сказала Фрэнни. Она вдруг выгнула спину и, приоткрыв губы, приложила ладонь к макушке. — Странно, я как пьяная, — сказала она. — Не понимаю, что со мной.

— По-твоему, ты гений?

Фрэнни сняла руку с головы.

— Ну, Лэйн. Не надо. Прошу тебя. Не надо так со мной.

— Ничего я не...

— Одно я знаю: я схожу с ума, — сказала Фрэнни. — Надоело мне это вечное «я, я, я». И свое «я» и чужое. Надоело мне, что все чего-то добиваются, что-то хотят сделать выдающееся, стать кем-то интересным. Противно — да, да, противно! И все равно, что там говорят...

Лэйн высоко поднял брови и откинулся на спинку стула, чтобы лучше дошли его слова:

— А ты не думаешь, что ты просто боишься соперничества? — спросил он нарочито спокойно. — Я в таких делах плохо разбираюсь, но уверен, что хороший психоаналитик — понимаешь, действительно знающий, — наверно, истолковал бы твои слова...

— Никакого соперничества я не боюсь. Наоборот. Неужели ты не понимаешь? Я боюсь, что я сама начну соперничать, — вот что меня пугает. Из-за этого я и ушла с театрального факультета. И тут никаких оправданий быть не может — ни в том, что я по своему характеру до ужаса интересуюсь чужими оценками, ни в том, что люблю аплодисменты, люблю, чтобы мной восхищались. Мне за себя стыдно. Мне все надоело. Надоело, что у меня не хватает мужества стать просто никем. Я сама себе надоела, мне все надоело, кто пытается сделать большой бум.

Она остановилась и вдруг взяла стакан молока и поднесла к губам.

— Так я и знала, — сказала она, ставя стакан на место. — Этого еще не было. У меня что-то с зубами. Так и стучат. Позавчера я чуть не прокусила стакан. Может, я уже сошла с ума и сама не понимаю?

Подошел официант с лягушачьими ножками и салатом для Лэйна, и Фрэнни подняла на него глаза. А он взглянул на ее тарелку, на нетронутый сэндвич с цыпленком. Он спросил, не хочет ли барышня заказать что-нибудь другое. Фрэнни поблагодарила его, нет, не надо.

— Я просто очень медленно ем, — сказала она. Официант, человек пожилой, посмотрел на ее бледное лицо, на мокрый лоб, поклонился и отошел.

— Хочешь, возьми платок? — отрывисто сказал Лэйн. Он протягивал ей белый сложенный платок. Голос у него был добрый, жалостливый, несмотря на упрямую попытку заставить себя говорить равно-

душно.

— Зачем? Разве надо?

— Ты вспотела. То есть не вспотела, но лоб у тебя в испарине.

— Да? Какой ужас! Извини, пожалуйста! — Фрэнни подняла сумочку и стала в ней рыться. — Где-то у меня был «клинекс».

— Да возьми ты мой платок, бога ради. Какая разница, господи боже ты мой!

Нет, такой чудный платок, зачем я его буду портить, — сказала Фрэнни. Сумочка была битком набита. Чтобы разобраться, она стала выкладывать на стол всякую всячину рядом с нетронутым сэндвичем. — Ага, вот оно! — Она открыла пудреницу с зеркальцем и быстрым легким движением промокнула лоб бумажной салфеточкой. — Бог мой, я похожа на привидение. Как ты терпишь меня?

— Это что за книга? — спросил Лэйн.

Фрэнни даже вздрогнула. Она посмотрела на кучку вещей, выложенную из сумки на скатерть.

— Какая книга? — сказала она. — Ты про эту? — Она взяла книжечку в светло-зеленом переплете и сунула в сумку. — Просто захватила почитать в вагоне.

— Ну-ка дай взглянуть. Что за книжка?

Фрэнни как будто ничего не слышала. Она открыла пудреницу и еще раз взглянула в зеркало.

— Господи! — сказала она. Потом собрала все со стола: пудреницу, кошелек, квитанцию из прачечной, зубную щетку, коробочку аспирина и золоченую мешалку для пунша. Все это она спрятала в сумочку.

— Сама не знаю, зачем я таскаю с собой эту золоченую идиотскую штуку, — сказала она. — Мне ее подарил в день рождения один мальчишка, ужасный пошляк, я еще была на первом курсе. Решил, что это красивый и оригинальный подарок, смотрел на меня во все глаза, пока я разворачивала пакетик. Все хочу выбросить ее и никак не могу. Наверно, так и умру с этой дрянью. — Она подумала. — Он все хихикал мне в лицо и говорил, что мне всегда будет везти, если я не расстанусь с этой штукой.

Лэйн уже взялся за одну из лягушачьих ножек.

— А все-таки что это за книжка? — спросил он. — Или это тайна, какая-нибудь чертовщина? — спросил он.

— Ты про книжку в сумке? — сказала Фрэнни. Она смотрела, как он разрезает лягушачью ножку. Потом вынула сигарету из пачки, закурила. — Как тебе сказать, — проговорила она. — Называется «Путь странника». — Она опять посмотрела, как Лэйн ест лягушку. — Взяла в библиотеке. Наш преподаватель истории религии — я у него прохожу курс в этом семестре, — нам про нее сказал. — Она крепко затянулась. — Она у меня уже давно. Все забываю отдать.

— А кто написал?

Не знаю, — небрежно бросила Фрэнни. — Очевидно, какой-то русский крестьянин. — Она все еще вниманию смотрела, как Лэйн ест. — Он себя не назвал. Он ни разу за весь рассказ не сказал, как его зовут. Только говорит, что он крестьянин, что ему тридцать три года и что он сухорукий. И что жена у него умерла. Все это было в тысяча восемьсот каких-то годах.

Лэйн уже занялся салатом.

— И что же, книжка хорошая? О чем она?

— Сама не знаю. Она необычная. Понимаешь, это ведь прежде всего книжка религиозная. Даже можно было бы сказать — книжка фанатика, только это к ней как-то не подходит. Понимаешь, она начинается с того, что этот крестьянин, этот странник, хочет понять, что это значит, когда в Евангелии сказано, что надо молиться неустанно. Ну ты знаешь — не переставая. И послании к фессалоникийцам или еще где-то. И вот он начинает странствовать по всей России, ищет кого-нибудь, кто ему объяснит: как это «молиться неустанно». И что при этом говорить. — Фрэнни снова посмотрела, как Лэйн расправляется с лягушачьей ножкой. Она заговорила, не сводя глаз с его тарелки. — А с собой у него только торба с хлебом и солью. И тут он встречает человека — он называет его «старец» — это такие очень-очень просвещенные в религии люди, — и старец ему рассказывает про такую книгу — называется «Добротолюбие». И как будто эту книгу написали очень-очень образованные монахи, которые как-то распространяли этот невероятный способ молиться!

— Не прыгай! — сказал Лэйн лягушачьей ножке.

— Словом, этот странник научается молиться, как требуют эти таинственные монахи, — понимаешь, он молится и достигает в своей молитве совершенства и всякое такое. А потом он странствует по России и встречается всяких замечательных людей и учит их, как молиться этим невероятным способом. Ну вот, понимаешь, вся книжка об этом.

— Стыдно сказать, но от меня будет нести чесноком, — сказал Лэйн.

— А во время своих странствий он встречается ту пару — мужа с женой, и я их люблю больше всех людей па свете, никогда в жизни я еще про таких не читала, — сказала Фрэнни. — Он шел по дороге, где-то мимо деревни, с мешком за плечами и вдруг видит — за ним бегут двое малюсеньких ребятишек и кричат: «Нищий странничек, нищий странничек, пойдем к нашей маме, пойдем к нам домой! Она нищих любит!» И вот он идет домой к этим ребятишкам, и эта чудная женщина, их мать, выходит из дома, хлопочет, усаживает его, непременно хочет сама снять с него грязные сапоги, поит его чаем. А тут и отец приходит, и он, видно, тоже любит нищих и странников, и все садятся обедать. А странник спрашивает, кто эти женщины, которые сидят с ними за столом, и отец говорит: это наши работницы, но они всегда едят с нами, потому что они наши сестры во Христе. — Фрэнни вдруг смутилась, села прямее. — Понимаешь, мне так понравилось, что странник спросил, кто эти женщины. — Она посмотрела, как Лэйн мажет хлеб маслом. — Словом, после обеда странник остается ночевать, и они с хозяином дома обсуждают, как надо молиться не переставая. И странник ему все объясняет. А утром он уходит и опять идет странствовать. И встречается разных-разных людей — понимаешь, книга про это и написана, — и он им объясняет, как надо по-настоящему молиться.

Лэйн кивнул головой, ткнул вилкой в салат.

— Хоть бы у нас в эти дни время осталось, чтобы ты заглянула в мое треклятое сочинение, я тебе уже говорил про него, — сказал он. — Сам не знаю. Может, я с ним ни черта и не сделаю — там напечатать его и вообще, — но хочется, чтобы ты хоть просмотрела, пока ты тут.

— С удовольствием, — сказала Фрэнни. Она смотрела, как он намазывает второй ломтик хлеба. — Может, тебе эта книжка и понравилась бы, — вдруг сказала она. — Она такая простая, понимаешь?

— Наверно, интересно. Ты масла есть не будешь?

— Нет, нет, бери все. Я не могу тебе дать ее, потому что все сроки давным-давно прошли, но ты можешь достать ее тут, в библиотеке. Уверена, что сможешь.

— Слушай, да ты ни черта не ела, даже не дотронулась! — сказал Лэйн. — Ты это знаешь?

Фрэнни посмотрела на свою тарелку, как будто ее только что поставили перед ней.

— Сейчас, погоди, — сказала она. Она замолчала, держа сигарету в левой руке, но не затягиваясь и крепко обхватив правой рукой стакан с молоком. — Хочешь послушать, какой особой молитве старец научил этого странника? — спросила она. — Нет, правда, это очень интересно, очень.

Лэйн разрезал последнюю лягушачью ножку. Он кивнул.

— Конечно, — сказал он, — конечно.

— Ну вот, как я уже говорила, этот странник, совсем простой мужик, пошел странствовать, чтобы узнать, что означают евангельские слова про неустанную молитву. И тут он встречается этого старца, это такой очень-очень ученый человек, богослов, помнишь, я про пего уже говорила, тот самый, который изучал «Добротолубие» много-много лет подряд. — Фрэнни вдруг замолчала, чтобы собраться с мыслями, сосредоточиться. — И тут этот старец первым делом рассказал ему про молитву Христову: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Понимаешь, такая молитва. И старец объясняет страннику, что лучше этих слов для молитвы не найти. Особенно слово «помилуй», потому что это такое огромное слово и так много значит. Понимаешь, оно значит не только «помилование».

Фрэнни снова остановилась, подумала. Она уже смотрела не в тарелку Лэйна, а куда-то через его плечо.

— Словом, старец говорит страннику, — продолжала она, — что если станешь повторять молитву снова и снова — сначала хотя бы одними губами, — то в конце концов само собой выходит, что молитва сама начинает твориться. Что-то потом случается. Сама не знаю что, но что-то случается, и слова попа-

дают в такт твоему сердцебиению, и ты уже молишься непрерывно. И это как-то мистически влияет на все твои мысли, мировоззрение. Понимаешь, вся суть более или менее именно в этом. Ты молишься — и мысли очищаются, и ты совершенно по-новому воспринимаешь и понимаешь все на свете.

Лэйн доел свой завтрак. И когда Фрэнни замолчала, он сел поудобнее, закурил сигарету и посмотрел на ее лицо. Она все еще рассеянно глядела в никуда, через его плечо, как будто совсем забыв о нем.

— Но главное, самое главное чудо в том, что с самого начала тебе даже не надо верить в то, что ты делаешь. Понимаешь, даже если тебе ужасно неловко, все это не имеет ровно никакого значения. Ты никого не обижаешь, и вообще все в порядке. Другими словами, с самого начала никто тебя и не заставляет ни во что верить. И старец учит, что тебе даже не надо думать о том, что ты твердишь. Сначала весь смысл в количестве повторений. А позже оно само переходит в качество. Собственной силой, так сказать. Он, старец, говорит, что любое имя господне — понимаешь, любое — таит в себе эту удивительную, самодействующую силу и само начинает действовать, когда ты его... ну, вот так повторяешь, что ли.

Лэйн как-то развалился в кресле, покуривая и щуря глаза, и пристально всматривался в лицо Фрэнни. Она была очень бледна, но, с тех пор как они пришли, бывали минуты, когда она становилась еще бледнее.

— Кстати, все это абсолютно осмысленно, — сказала Фрэнни, — потому что буддисты из секты Нембутсу без конца повторяют «Наму Амида Бутсу», что значит «Хвала Будде Амитабхе»* или что-то вроде того, и происходит то же самое. Точно такая же...

* Речь идет об особом направлении буддизма, по которому один из будд, Амитабха, выступает в роли все-ленского спасителя.

— Погоди. Погоди-ка, — сказал Лэйн. — Во-первых, ты сию секунду обожжешь пальцы.

Фрэнни едва взглянула на левую руку и бросила дотлевающий окурок в пепельницу.

— И то же самое происходит в «Облаке неведения». Со словом «бог», понимаешь, надо только повторять слово «бог». — Она посмотрела прямо в глаза Лэйну, как не смотрела уже довольно давно. — И главное, разве ты когда-нибудь в жизни слышал такие потрясающие вещи? Пойми, ведь нельзя сказать: «Это просто совпадение» — и тут же выбросить из головы — вот что меня потрясает. Тут, по крайней мере, потрясающее... — Она вдруг оборвала себя. Лэйну явно не сиделось на месте, а это его выражение — главным образом высоко поднятые брови — Фрэнни знала слишком хорошо.

— В чем дело? — спросила она.

— И ты на самом деле веришь во всю эту штуку или как?

Фрэнни взяла пачку, вынула сигарету.

— Я не говорила, верю я или нет, я сказала, что это меня потрясло. — Лэйн дал ей прикурить. — Просто мне кажется, что это невероятное совпадение, очень странное, — сказала она, затянувшись, — везде тебе дают одно и то же наставление, понимаешь, все эти по-настоящему мудрые и абсолютно настоящие религиозные учителя упорно настаивают: если непрерывно повторять имя божье, то с тобой что-то произойдет. Даже и Индии — в Индии тебя учат медитации, сосредоточению на слове «Ом», что, в сущности, одно и то же, и результат будет такой же самый. И я хочу сказать: нельзя просто рассудком все это отвергнуть, даже не...

— Ты про какой результат? — перебил ее Лэйн.

— Что?

— Я спрашиваю, какого именно результата ты ждешь? От всей этой синхронизации, этого мумбо-юмбо? Инфаркта? Не знаю, сознаешь ли ты, но и ты и вообще каждый может наделать столько вреда, что...

— Нет, ты увидишь бога. Что-то происходит в какой-то совершенно нефизической части сердца — там, где, по учению индуистов, поселяется Атман, если ты верующий, — и тебе является бог, вот и все. — Она смутилась, сбросила пепел с сигареты мимо пепельницы. Пальцами она подобрала пепел и высыпала в пепельницу. — И не спрашивай меня, что есть бог, кто он такой. Я даже не знаю, есть он или нет. Когда я была маленькая, я думала... — Она остановилась. Подошел официант — забрать тарелки, положить новое меню.

— Хочешь сладкого или кофе? — спросил Лэйн.

— Нет, я просто допью молоко. А ты себе закажи, что хочешь, — сказала Фрэнни. Официант только что забрал ее тарелку с нетронутым сэндвичем. Она не посмела взглянуть на него.

Лэйн посмотрел на часы:

— Черт! Времени в обрез. Счастье, если на матч не опоздаем. — Он посмотрел на официанта. — Мне кофе, пожалуйста. — Он проводил официанта глазами, потом наклонился вперед, положил локти на стол, вполне довольный, сытый, в ожидании кофе. — Что ж... Во всяком случае, очень занятно. Вся эта штука... Но, по-моему, ты совершенно не оставляешь места для самой элементарной психологии. Видишь ли, я считаю, что у всех этих религиозных переживаний чрезвычайно определенная психологическая подоплека — ты меня понимаешь... Но все это очень интересно. Конечно, нельзя так, сразу, все отрицать. — Он посмотрел на Фрэнни и вдруг улыбнулся ей: — Ладно. Кстати, если я тебе забыл сказать... Я тебя люблю. Говорил или нет?

— Лэйн, прости, я на минуту выйду! — сказала Фрэнни и уже поднялась с места.

Лэйн тоже встал, не сводя с нее глаз.

— Что с тобой? — спросил он. — Тебе опять плохо, да?

— Как-то не по себе. Сейчас вернусь.

Она быстро прошла по залу, направляясь туда же, куда и раньше. Но в конце зала, у маленького бара, она вдруг остановилась. Бармен, вытиравший стаканчик для шерри, взглянул на нее. Она схватилась правой рукой за стойку, нагнула голову, низко склонилась и поднесла левую руку ко лбу, касаясь его кончиками пальцев. И, слегка покачнувшись, упала на пол в глубоком обмороке.

Прошло почти пять минут, прежде чем Фрэнни очнулась. Она лежала на диване в кабинете директора, и Лэйн сидел около нее. Он наклонился над ней, его лицо необычайно побледнело.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он тоном посетителя в больнице. — Тебе лучше?

Фрэнни кивнула. Она на минуту закрыла глаза от резкого света плафона, потом снова открыла их.

— Кажется, мне полагается спросить: «Где я?» Ну где я?

Лэйн засмеялся.

— Ты в кабинете директора. Они там все бегают, ищут для тебя нашатырный спирт, докторов, не знаю, чего еще. Кажется, у них нашатырь кончился. Нет, серьезно, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Глупо, но хорошо. А я вправду упала в обморок?

— Да еще как. Прямо с катушек долой, — сказал Лэйн. Он взял ее руку. — А что с тобой, как ты думаешь? Ты была такая — ну, понимаешь, такая замечательная, когда мы говорили по телефону на прошлой неделе. Ты что — не успела сегодня позавтракать или как?

Фрэнни пожала плечами. Она обвела кабинет взглядом.

— До чего неловко, — сказала она. — Неужели пришлось меня нести сюда?

— Да, мы с барменом несли. Втащили тебя сюда. Напугала ты меня до чертиков. Ей-богу, не вру.

Фрэнни задумчиво, не мигая, смотрела в потолок, пока он держал ее руку. Потом повернулась и подняла свободную руку, как будто хотела отвернуть рукав Лэйна и взглянуть на его часы. — Который час? — спросила она.

— Неважно, — сказал Лэйн. — Нам спешить некуда.

Но ты хотел пойти на вечеринку.

— А черт с ней!

— И на матч мы тоже опоздали? — спросила Фрэнни.

— Слушай, я же сказал, черт с ним со всем. Сейчас ты должна пойти в свою комнату — в этих, как их там, «Голубых ставеньках» — и отдохнуть как следует, что самое главное, — сказал Лэйн. Он подсел к ней поближе, наклонился и быстро поцеловал. Потом обернулся, посмотрел на дверь и снова наклонился к Фрэнни. — Будешь отдыхать до вечера. Отдыхать, и все. — Он погладил ее руку. — А потом, попозже, когда ты хорошенько отдохнешь, я, может быть, проберусь к тебе наверх. Как будто там есть черный ход. Я разведую.

Фрэнни промолчала. Она все еще смотрела в потолок.

— Знаешь, как давно мы не виделись? — сказал Лэйн. — Когда это мы встретились, в ту пятницу?

Черт знает когда — в начале того месяца. — Он покачал головой; — Не годится так. Слишком большой перерыв от рюмки до рюмки, грубо говоря. — Он пристальнее взгляделся в лицо Фрэнни. — Тебе и вправду лучше?

Она кивнула. Потом повернулась к нему лицом.

— Ужасно пить хочется, и все. Как, по-твоему, можно мне достать стакан воды? Не трудно?

— Конечно, нет, чушь какая! Слушай, а что, если я оставлю тебя на минутку? Знаешь, что я сейчас сделаю?

Фрэнни отрицательно помотала головой.

— Пришлю кого-нибудь сюда с водой. Потом найду главного, скажу, что нашатыря не надо, и, кстати, заплачу по счету. Придется немного обождать, все машины, наверно, везут народ на матч. — Он выпустил руку Фрэнни и встал. — Хорошо? — спросил он.

— Очень хорошо.

— Ладно. Скоро вернусь. Не вставай! — И он вышел из комнаты.

Оставшись в одиночестве, Фрэнни лежала не двигаясь, все еще глядя в потолок. Губы у нее беззвучно зашевелились, безостановочно складывая слова.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР



*«ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ
КРУГОМ»*

I

Тот американец, что постарше, не носил щегольских бриджей из диагонали. Его брюки были из обыкновенного офицерского сукна, так же как и китель. Да и китель не спадал длинными фалдами по лондонской моде; складка торчала из-под широкого ремня, точно у рядового военной полиции. И вместо ботинок от дорогого сапожника он носил удобные башмаки и краги, как человек солидный; он даже не подобрал их друг к другу по цвету кожи, а пояс с портупеей тоже не подходил ни к крагам, ни к ботинкам, и крылышки у него на груди были просто-напросто знаком того, что он служит в авиации. Зато орденская лента, которую он носил под крылышками, была почетная лента, а на погонах красовались капитанские нашивки. Роста он был невысокого. Лицо худощавое, продолговатое, глаза умные и чуть-чуть усталые. Лет ему было за двадцать пять; глядя на него, никому не пришла бы на ум какая-нибудь знаменитая Фи Бета Каппа*, скорее всего он учился на благотворительную стипендию.

* Старейшая студенческая корпорация в американских университетах, названа по первым буквам древнегреческих слов, означающих «философия — руководительница жизни», являющихся ее девизом.

Один из двух военных, которые сейчас стояли перед ним, вряд ли мог его видеть вообще. И стоял-то он на ногах только потому, что его поддерживал капрал американской военной полиции. Он был вдрызг пьян, и рядом с квадратным полицейским, который не давал подогнуться его длинным, тонким и словно ватным ногам, был похож на переодетую девушку. По виду ему можно было дать восемнадцать: на его бело-розовом лице ярко синели глаза, а рот казался совсем девичьим. На нем был выпачканный сырой глиной, криво застегнутый морской китель, а на белокурых волосах лихо сидела заломленная с тем неподражаемым шиком, которым славятся одни только офицеры английского королевского флота, морская фуражка.

— В чем дело, капрал? — спросил американский летчик. — Что тут у вас происходит? Вы же видите, он англичанин. Вот и пускай им займется английская военная полиция.

— Будто я не знаю, что он англичанин... — пробормотал полицейский. Говорил он с трудом, дышал прерывисто, словно тащил тяжелую ношу. При всей своей девичьей хрупкости мальчик, видимо, был тяжелее или беспомощнее, чем казался. — Да стойте же вы как следует! — прикрикнул на него полицейский. — Не видите, что ли? Тут офицеры!

Тогда мальчик сделал над собой усилие. Он постарался взять себя в руки, зажмурился, чтобы все не плыло перед глазами. Качнувшись, он обхватил полицейского за шею, а другой рукой вяло отдал честь, легонько махнув пальцами возле правого уха, но сразу же качнулся снова и снова сделал усилие стать как следует.

— При-ивет, с-эр! — произнес он. — Надеюсь, вас зовут не Битти?

— Нет, — ответил капитан.

— Ага, — сказал мальчик. — Слава богу. Ошибка. Не обижайтесь, ладно?

— Не обижусь, — негромко сказал капитан. Он смотрел на полицейского. В разговор вмешался второй американец. Это был лейтенант и тоже летчик. Но ему было меньше двадцати пяти лет; он носил красные бриджи, франтовские ботинки, и китель его, если не считать воротника, был чисто английского покроя.

— Да это один из тех морячков, — сказал он. — Их тут каждую ночь выуживают из канав. Видно, вы редко бываете в городе.

Да, — сказал капитан, — я о них слышал. Теперь вспоминаю. — Он заметил, что хотя на улице было много прохожих — солдат, штатских и женщин, — а сами они стояли рядом с людным кафе, никто даже не остановился: наверное, зрелище было привычное. Капитан спросил у полицейского:

— Почему бы вам не отвести его на корабль?

— Да я уж и без вас думал об этом, капитан, — ответил тот. — Но он говорит, что не может затемно вернуться на корабль, он его, видите ли, прячет после захода солнца.

— Прячет?

— Стойте прямо, моряк! — рявкнул полицейский, подтолкнув свою безжизненную ношу. — Может,

хоть капитан тут что-нибудь разберет. Лично я ни черта не пойму! Он говорит, что прячет свой корабль под причалом. Загоняет его на ночь под причал и не может оттуда вывести, пока не начнется отлив.

— Под причал? Что же это за корабль? — спросил капитан теперь уже у лейтенанта. — Они тут что, ходят на моторках?

— Да, в этом роде, — сказал лейтенант. — Вы же их видели, эти лодки. Катера с маскировочной окраской, по всей форме. Так и шныряют по гавани. Вы их видели. А моряки целый день носятся, а ночью спят в канавах.

— Да, — сказал капитан. — Я-то думал, что эти катера обслуживают корабельное начальство. Неужели у них просто так гоняют офицеров?..

— А черт их знает, — сказал лейтенант. — Может, гоняют с одного корабля на другой за горячей водой для бритья. Или за сдобными булками. А может, если забыли подать салфетку или еще в этом роде...

— Ерунда, — сказал капитан. Он снова посмотрел на молодого англичанина.

— Уверяю вас, — настаивал лейтенант. — Город ими всю ночь напролет так и кишит. Все канавы полны, а военная полиция разводит их по домам, словно няньки младенцев из парка. Может, французы для того и дают им моторки, чтобы разгрузить от них на день канавы.

— Ага. Понятно, — сказал капитан. Но ничего ему не было понятно, да он и не слушал и не верил тому, что слышит. Он снова поглядел на мальчика. — И все же, — сказал он, — вы не можете бросить его в таком гиде.

Пьяный снова попытался взять себя в руки.

— Все в порядке, уверяю вас, — сказал он, уставившись стеклянным взглядом на капитана. Голос у него был приятный, веселый и говорил он очень вежливо. — Я привык, хотя мостовая тут дьявольски жесткая. Надо бы заставить французов что-нибудь сделать. Гости заслуживают более приличной площадки для игр, а?

— Вот он и занял эту площадку всю как есть, — с яростью вставил полицейский. — Видно, думает, что он — целая футбольная команда.

В это время к ним присоединился пятый. На этот раз из английской военной полиции.

— Ну-ка, — сказал он, — что тут такое еще? Что тут еще?

Потом он заметил капитанские нашивки и отдал честь. Услышав его голос, молодой англичанин обернулся, покачиваясь, вглядываясь.

— Ах, это ты, Альберт? Пр-ивет, — сказал он.

— Опять, мистер Хоуп? — сказал полицейский и бросил через плечо: — Что тут еще?

— Да вроде ничего, — ответил американский полицейский. — Здорово вы воюете! Но мое дело — сторона. Нате. Возьмите его себе.

— А что, капрал? — спросил капитан. — Что он натворил?

— Да вот этот, верно, скажет, что ничего особенного. — Американец мотнул головой в сторону английского полицейского. — Покуражился парень, пошутил... Заглядываю я тут на эту улицу и вижу: вся забита грузовиками с пристани, а водители вопят, не поймут, отчего пробка. Иду вперед — стоят на целых три квартала, и на перекрестках стоят; подхожу к тому месту, где пробка, а там собрались посреди мостовой человек десять шоферов и не знают, что делать. Крик — пул им: «Что тут у вас?» Вижу: валяется этот самый тип...

— Полегче, мой милый, это офицер его величества... — перебил американца английский полицейский.

— Выбирайте выражения, капрал, — поддержал его капитан. — Итак, вы нашли этого офицера...

— Улегся баиньки прямо посреди улицы, подложив пустую корзину вместо подушки. Лежит себе, скрестив ноги, засунув руки за голову, и препирается с шоферами, — надо ли ему давать им дорогу или нет. Говорит, грузовики могут объехать по другой улице, а вот он не может лежать на другой улице, потому что его улица — эта.

— Его улица?

Мальчик прислушивался к ним вежливо, с интересом.

— На постое я тут, понимаете? — сказал он. — Порядок должен быть и на войне. На постое, по жребию. Моя улица, посторонним вход запрещен, ведь так? Следующая улица — Джимми Уотерспуна. Но по его улице могут ездить, пока Джимми ею не пользуется. Еще не лег спать. Бессонница. Я же знал. Говорил им. По той улице грузовики еще ходят. Понимаете?

— Так было дело, капрал? — спросил капитан.

— Да, он ведь и сам говорит! Не пожелал вставать. Лежит, препирается с шоферами. Приказал одному из них, чтобы тот куда-то сходил, принес воинский устав...

— Устав его величества, — поправил капитан.

— ...и прочитал, кто имеет право на эту улицу — он или грузовики. Тогда я его поднял, а тут и вы подошли. Вот и все. С вашего разрешения, капитан, я сейчас передам его на руки кормилице его королевского вели...

— Довольно, — прервал его капитан. — Можете идти. Я сам займусь этим делом.

Капрал откозырял и пошел дальше. Теперь мальчика поддерживал английский полицейский.

— Может, отвести его домой? — спросил капитан. — Где они расквартированы?

— Толком не знаю, сэр, расквартированы ли они вообще. Мы... я обычно вижу их тут в кабаках до самого рассвета. Не похоже, чтобы у них были квартиры, сэр.

— Значит, они живут у себя на судах?

— Как вам сказать, сэр... Можно их назвать и судами... Но надо здорово хотеть спать, чтобы заснуть на таком судне.

— Понятно, — сказал капитан. И он взглянул на полицейского. — А что же это за суда?

На этот раз тон у полицейского стал решительным и бесстрастным. Словно наглухо заперли дверь.

— Точно не могу вам сказать, сэр.

— Понятно, — сказал капитан. — Но сегодня он вряд ли сможет просидеть в кабаке до рассвета.

Постараюсь найти кабак, где ему дадут поспать в задней комнате на столе, — сказал полицейский. Но капитан его уже не слушал. Он глядел на другую сторону улицы, где тротуар пересекали огни кафе. Пьяный отчаянно зевал, как зевают дети; рот у него был розовый и бесхитростно открытый, как у ребенка.

Капитан обратился к полицейскому:

— Если не трудно, зайдите в кафе и вызовите водителя капитана Богарта. Я сам позабочусь о мистере Хоупе.

Полицейский удалился. Теперь капитан сам поддерживал пьяного, взяв его под руку. Тот снова зевнул, как усталый ребенок.

— Потерпите, — сказал капитан. — Сейчас подойдет машина.

— Ладно, — произнес мальчик сквозь зевоту.

II

Едва усевшись в машину между двумя американцами, он безмятежно заснул. Но хотя езды до аэродрома было всего минут тридцать, проснулся еще в дороге, с виду совсем свежий, и стал просить виски. Когда они входили в офицерскую столовую, он казался трезвым в своей щегольски заломленной фуражке, криво застегнутом кителе и намотанном на шею выпачканном белом шелковом шарфе, на котором был вышит какой-то значок. Он только слегка мигал от яркого света. Богарт узнал значок клуба учеников аристократической английской школы.

— Вот! — воскликнул мальчик уже совсем трезвым и звонким голосом, так что люди в столовой стали на него оглядываться. — Замечательно! Глоточек виски, а?

И, словно гончая по следу, он направился прямо к бару в углу. За ним двинулся лейтенант, а Богарт подошел к столику в противоположном конце столовой, за которым пятеро офицеров играли в карты.

— Каким же это флотом он командует? — спросил один из них.

— Когда я его нашел, он командовал целым бассейном шотландского виски, — сказал Богарт.

Другой офицер поднял голову.

— Где-то я его видел, — сказал он, приглядываясь к гостю. — Наверно, сразу не узнал потому, что

он на ногах. Обычно они валяются в канавах.

— Один из тех самых ребят? — спросил первый.

— Ну да. Кто же их не знает! Развалятся на обочине тротуара, а двое умученных полицейских тянут их за рукава...

— Ага, знаю, — подтвердил первый. Теперь уже все пятеро разглядывали молодого англичанина. Стоя возле бара, он разговаривал громко и весело. — И все один в одного, — продолжал рассказчик. — Лет по семнадцать-восемнадцать. Гоняют взад-вперед на своих лодочках.

— Ах, вот как они забавляются! — вмешался в разговор третий. — Значит, к женским вспомогательным войскам придали еще и детский морской отряд? Господи, ну и сваял же я дурака, когда пошел в авиацию. Да ведь сколько зря трепались насчет этой войны!

— Ну нет, — сказал Богарт. — Не верю, что они катаются тут просто так.

Но его не слушали, а разглядывали гостя.

— Работают по часам, — сказал первый. — Посмотришь на кого-нибудь из них после захода солнца, и по тому, как он пьян, можно часы проверять. Одного только не пойму: что в таком состоянии можно на другое утро увидеть?

— Наверно, когда англичанам нужно послать на корабль приказ, — сказал другой, — его печатают в нескольких экземплярах, выстраивают моторки в ряд, носом туда, куда надо, каждому из этих мальцов дают по бумажке и командуют «марш». А те, кто не найдет корабля, кружат по гавани, пока куда-нибудь не причалят.

— Нет, тут что-то не то! — протянул Богарт.

Он хотел еще что-то сказать, но в это время гость отошел от бара и приблизился к ним с бокалом в руке. Шел он довольно твердо, но щеки у него пылали, глаза блестели, и голос был очень веселый.

— Слушайте, ребята, составьте мне компанию... — Он вдруг умолк, заметив что-то очень интересное. Взгляд его был прикован к кителям офицеров, сидевших за столиком.

— Вот оно что... Послушайте! Вы летаете? Вижу, все до одного. Ах ты, господи! Вот, наверно, весело, а?

— Еще как! — ответил ему кто-то из офицеров. — Еще как весело!

— Но небось опасно.

— Да, чуть-чуть пугающей, чем играть в теннис, — сказал другой.

Гость посмотрел на него живо, доброжелательно, пристально.

В разговор вмешался третий:

— Богарт говорит, что вы командир корабля?

— Ну, кораблем его трудно назвать. Спасибо за комплимент. И не я командир. Командир — Ронни. Чуть-чуть выше меня по званию. Ничего не поделаешь, годы.

— Ронни?

— Ага. Симпатяга. Но старик. И зануда.

— Зануда?

— Ужас! Не поверите. Стоит нам завидеть дым, когда бинокль у меня, и он сразу меняет курс. Так бобра не убьешь! Вот уже две недели, как счет у нас — два в его пользу.

Американцы переглянулись.

— Какого бобра?

— Такая игра. Понимаете, у него мачты вроде решетки. Видишь мачту — хлоп! Убил бобра. Очко. Хотя «Эргенштрассе» теперь не считается.

Люди, сидевшие вокруг стола, снова переглянулись. Богарт сказал:

— Понятно. Кто из вас первый увидит судно с такими мачтами, тот получает очко. А что такое «Эргенштрассе»?

— Немецкое судно. Взяли в плен. Грузовое. Передняя мачта оснащена так, что издали похожа на решетку. Разные там тросы, рангоут... Лично мне не казалось, что она похожа на решетку. Но Ронни говорит, что похожа. Как-то раз он зачел ее себе. А потом судно перевели в другой конец бухты, и я зачел его себе.

Поэтому мы решили больше его не считать. Понятно, а?

— Еще бы! — ответил тот, кто сказал про теннис. — Ясно как день. Вы с Ронни катаетесь на катере и играете: кто первый убьет бобра. Гм-м... Это здорово. А вы играли когда-нибудь в...

— Джерри! — оборвал его Богарт.

Гость не шевельнулся. Все так же улыбаясь, он смотрел на Джерри широко открытыми глазами.

А тот все разглядывал гостя.

— На вашей с Ронни лодке небось заранее вывешен белый флаг?

— Белый флаг? — переспросил молодой англичанин. Он уже не улыбался, но лицо его еще было вежливым.

— А что такого? Если уж на судне такая команда, как вы двое, почему бы заранее не вывесить флаг...

— Да нет, — сказал гость. — Еще есть Барт и Ривс, только они не офицеры.

— Барт и Ривс? — переспросил собеседник. — Значит, и они с вами катаются? А в бобра они тоже играют?

— Джерри! — снова перебил его Богарт. Тот поглядел на капитана. Богарт кивнул ему. — А ну-ка, пойдем со мной. — Тот встал. Они отошли в сторонку. — Оставь его в покое, — сказал Богарт. — Сейчас же, слышишь? Он ведь еще совсем ребенок. Когда тебе было столько лет, сколько ему, ты тоже не очень-то много смыслил. У тебя едва хватало ума, чтобы в воскресенье не опоздать в церковь.

— Моя страна тогда не воевала четвертый год, — сказал Джерри. — Тратим деньги, мучаемся, подставляем голову под пули, а ведь в этой драке наше дело — сторона! Английская матросня!.. Если бы не мы, немцы взяли бы их на цугундер еще год назад...

— Замолчи, — сказал Богарт. — Ты меня не агитируй!

— ...А этот субчик ведет себя, будто тут пикник или ярмарка... «Весело! — Голос Джерри стал визгливым. — Но небось опасно, а?»

— Тс-с! — сказал Богарт.

— Ну, дали бы мне застукать их с этим самым Ронни где-нибудь в порту. В каком хочешь порту. Хотя бы и в Лондоне. И ничего мне для этого не надо, кроме старенького самолета! Черта лысого! И самолета не надо! Хватит на них и велосипеда с парочкой поплавков. Я бы им прописал, что такое война!

— Ладно, пока что оставь его в покое. Он скоро уйдет.

— Что ты будешь с ним делать?

— Возьму утром с собой в полет. Пусть сидит впереди вместо Харпера. Говорит, что умеет обращаться с пулеметом. Будто у них на лодке тоже есть «льюис». Он мне даже рассказывал, что однажды сбил бакен с дистанции в семьсот метров...

— Дело, конечно, хозяйское. Может, он тебя и побьет.

— Побьет?

— Ну да, в бобра. А потом ты сразишься с Ронни.

— Я ему хоть покажу, что такое война, — сказал Богарт. Он посмотрел на гостя. — Его сородичи три года воюют, а он ведет себя, как школьник, шутки сюда, видите ли, шутить приехал. — Он снова взглянул на Джерри. — Но ты его не трогай.

Когда они подходили к столику, до них донесся громкий и веселый голос мальчика:

— ...Если он первый схватит бинокль, то подойдет поближе и рассмотрит как следует, а если первый увижу я, сразу меняет курс, так что мне виден один только дым. Зануда. Ужас прямо! Но «Эргенштрассе» теперь не в счет. Если по ошибке укажешь на нее, сразу теряешь два очка. Эх, если бы Ронни на нее клюнул, мы тогда были бы квиты!

III

В два часа ночи молодой англичанин все еще разговаривал, и голос его был так же звонок и весел. Когда ему в 1914 году исполнилось шестнадцать лет, отец пообещал ему поездку в Швейцарию. Но началась война, и пришлось удовольствоваться путешествием с гувернером по Уэльсу. Но они все же забрались довольно высоко, и он даже посмеет утверждать, не в обиду будь сказано тем, кому довелось

побывать в Швейцарии, что с вершин Уэльса можно видеть очень далеко, не хуже, чем в Швейцарии.

— Да и вспотеешь не меньше и так же дух захватывает, — прибавил он для убедительности. А вокруг него сидели американцы, уже выдавшие виды, трезвые, взрослые, и слушали его с холодным удивлением. Они стали выходить поодиночке и возвращались в летных комбинезонах, держа в руках шлемы и очки. Появился вестовой, неся поднос с чашками кофе, и гость вдруг понял, что давно уже слышит рев моторов в темноте за стеной.

Наконец встал и Богарт.

— Пойдемте, — сказал он мальчику. — Вам надо что-нибудь на себя надеть.

Когда они вышли из столовой, рев моторов раздался совсем громко, как будто лениво громыхал гром. Вытянувшись в ряд невидимой бетонной площадки, мерцали, будто подвешенные в воздухе, невысокие цепочки сине-зеленых огней.

Они пересекли аэродром, направляясь к жилью Богарта. Там на койке сидел лейтенант Мак-Джиннис и затягивал ремни на летных сапогах. Богарт снял с гвоздя меховой комбинезон и бросил его на койку.

— Надевайте, — сказал он.

— Думаете, мне это понадобится? — спросил гость. — Разве мы идем надолго?

— Вероятно, — сказал Богарт. — Лучше оденьтесь как следует. Наверху холодно.

Гость взял комбинезон.

— Видите ли, какое дело... — сказал он. — Нам с Ронни надо завтра... то бишь сегодня, самим сделать небольшую вылазку. Как вы думаете, Ронни не рассердится, если я немножко опоздаю? А вдруг он не захочет меня ждать?

— К завтраку мы вернемся, — сказал Мак-Джиннис. Он был очень занят возней со своим сапогом. — Положитесь на меня.

Мальчик взглянул на него.

— Когда вам надо быть здесь? — спросил Богарт.

— Трудно сказать, — ответил мальчик. — Думаю, что это неважно. Ведь только от Ронни зависит, когда нам выходить. А он меня дождется, даже если я немножко запоздаю.

— Дождется, — подтвердил Богарт. — Надевайте комбинезон.

— Ладно, — ответил тот. Летчики помогли ему натянуть комбинезон. — А я ведь еще ни разу не летал, — сказал он доверительно. — Держу пари, что оттуда видно куда дальше, чем с гор, а?

— Больше, во всяком случае, — сказал Мак-Джиннис. — Вам понравится.

— Еще бы. Лишь бы Ронни меня дождался. Вот небось весело! Но опасно, правда?

— Что вы! — сказал Мак-Джиннис. — Шутите!

— Придержи язык, Мак, — сказал Богарт. — Пошли. Хотите еще кофе? — Он обратился к гостю, но ответил ему Мак-Джиннис:

— Нет. У нас есть кое-что получше вашего кофе. От кофе остаются противные пятна на крыльях.

— На крыльях? — удивился мальчик. — Откуда же на крыльях берется кофе?

— Говорят тебе, молчи, Мак, — приказал Богарт. — Пошли.

Они снова пересекли аэродром и приблизились к грядкам мигающих сине-зеленых огней. Когда они подошли почти вплотную, гость различил во мгле очертания «хэндли-пейджа». Самолет был похож на спальный вагон, который, вздыбившись, врезался в каркас нижнего этажа недостроенного небоскреба. Гость притих и смотрел на машину как зачарованный.

— Больше крейсера, ей-богу, — заговорил он, как всегда, торопливо и звонко. — Теперь понимаю. Ну, конечно, он не может летать весь целиком. Вы меня не обманете! Я уже их видал. Обе части летают отдельно: в одной будем сидеть мы с капитаном Богартом, а в другой — Мак еще с кем-нибудь, да?

— Нет, — сказал Мак-Джиннис. Богарт куда-то исчез. — Весь он взлетает целиком. Весело, правда? Как мотылек, а?

— Как мотылек? — удивился мальчик. — А-а, понимаю. Крейсер. Летающий крейсер. Понимаю.

— И вот что, — продолжал Мак-Джиннис. Он протянул руку, и ладони мальчика коснулось что-то холодное — бутылка. — Когда стошнит, глотните как следует.

— А разве меня стошнит?

— Непременно. Всех тошнит. Какой ты без этого летчик. А вот эта штука спасает. Ну а если не может, тогда...

— Что тогда? Ага, понял... Что?

— Только не через борт. Не надо блевать через борт.

— Не через борт?

— Ветром отнесет нам с Боги в глаза. Ничего не видно. Хана. Крышка. Понимаете?

— Еще бы! А что делать? — Голоса их звучали негромко, отрывисто, сурово, как у заговорщиков.

— Опустите голову и валяйте.

— Ага, понимаю.

Вернулся Богарт.

— Покажите ему, пожалуйста, как пройти в переднюю кабину.

Мак-Джиннис пролез в люк. Спереди, там, где фюзеляж поднимался кверху, проход суживался: приходилось пробираться ползком.

— Ползите вперед, не задерживайтесь, — сказал Мак-Джиннис.

— Похоже на собачью конуру, — заметил гость.

— Здорово похоже, а? — весело подтвердил Мак-Джиннис. — Ну, давайте ходу. — Пригнувшись, он услышал, как его собеседник быстро пробирается вперед. — Не удивлюсь, если там, наверху, вы заметите пулемет, — сказал он в темноту прохода.

Издали донесся голос мальчика:

— Уже нашел.

— Сейчас придет стрелок и посмотрит, заряжен ли он.

— Заряжен, — сказал гость, и, вторя его словам, оттуда, где он сидел, загремела пулеметная очередь, короткая и отрывистая. Раздались крики, громче всего кричали снизу, из-под самолета.

— Полный порядок, — прозвучал голос мальчика. — Перед тем как нажать спуск, я отвел дуло на запад. Там ничего нет, только морское управление и штаб вашей бригады. Мы с Ронни всегда так делаем перед тем, как куда-нибудь выйти. Простите, если поторопился. Да, кстати, — добавил он. — Меня зовут Клод. Кажется, я вам не говорил.

На земле стояли Богарт и еще два офицера. Они со всех ног прибежали к самолету.

— Отвел дуло на запад... — сказал один из них. — Почем, дьявол его возьми, он знает, где тут запад?

— Он моряк, — ответил другой. — Не забудь, что он все-таки моряк.

— Кажется, еще и пулеметчик, — сказал Богарт.

— Будем надеяться, он не забудет об этом, — произнес первый.

IV

Тем не менее Богарт не спускал глаз с силуэта, темневшего в пяти метрах от него над турелью пулемета.

— Ты заметил, как он ловко приноровился к пулемету? — спросил Богарт сидевшего рядом с ним Мак— Джинниса. — Даже отвел на себя барабан. Здорово, а?

— Здорово, — сказал Мак-Джиннис. — Дай только бог, чтобы он не забыл, где находится. А то вдруг решит, что это они с гувернером любят виды Уэльса...

— Может, не стоило брать его с собой? — сказал Богарт. Мак-Джиннис ничего не ответил. Богарт слегка двинул штурвал. Впереди, в кабине пулеметчика, голова их спутника беспрестанно вертелась то в одну, то в другую сторону.

— Долетим, отгрузимся — и восвояси. Может, еще затемно. Черт побери, ну разве это не позор? Его страна четыре года канителится в этой грязи, а он ни разу пороху не нюхал!

— Ничего, сегодня понюхает, если не будет прятать голову, — сказал Мак-Джиннис.

Но мальчик и не думал прятать голову. Даже когда они прилетели к цели и Мак-Джиннис подполз к бомбодержателям. Даже когда их поймали в луч прожектора и Богарт, дав знак другим самолетам, спи-

кировал, оба его мотора взревели и машина на полной скорости нырнула вниз, сквозь пелену рвущихся пуль. Он видел лицо мальчика в ослепительном свете прожекторов; оно низко свесилось за борт, резко выделяясь, как высвеченное лицо актера на сцене, и сияло детским любопытством и восторгом.

«Он стреляет из этого «льюиса», — подумал Богарт. — И неплохо стреляет, — добавил он, опуская нос самолета книзу, глядя в кольцо, наблюдая за тем, как в нем появляется мушка, а потом поднял правую руку, чтобы сделать ею знак Мак-Джиннису. Он опустил руку; за шумом моторов он, казалось слышал щелк и свист сброшенных бомб, а самолет, освободившись от груза, длинной свечой взмыл кверху, на мгновение выскочив из луча прожектора. Потом Богарт некоторое время был очень занят, попав в полосу разрывов, выходя из нее, врезаясь наискось в другой луч прожектора, который поймал их и держал так долго, что он опять увидел мальчика, низко перегнувшегося через борт и глядевшего куда-то назад и вниз, мимо правого крыла и шасси самолета.

«Видно, начитался книжек про авиацию!» — подумал Богарт и тоже поглядел назад, проверяя, что делается с остальными самолетами.

Потом все было кончено: темнота стала пустой, прохладной, покойной и почти беззвучной, если не считать ровного гула моторов. Мак-Джиннис влез обратно в кабину управления и, стоя у своего места, выстрелил теперь уже из ракетницы. Постояв секунду, он поглядел назад, туда, где шарили и рассекали тьму прожекторы. Потом сел.

— Порядок, — сказал он. — Пересчитал — все четыре целы. Ходу! — Он посмотрел вверх. — А как там дела у подданного его величества? Ты его часом не подвесил на бомбодержатель?

Богарт поглядел на нос. Передняя кабина была пуста. Она туманно вырисовывалась на фоне звездного неба, но, кроме пулеметного дула, там ничего не было видно.

— Да нет, — сказал Мак-Джиннис, — вот он. Видишь? Совсем перегнулся вниз. Черт бы его побрал, я же ему говорил, чтобы он не блевал за борт. Вон возвращается на место.

Голова их спутника показалась снова. Но сразу же исчезла из поля зрения.

— Опять, видно, хочется высунуться наружу, — сказал Богарт. — Не позволяй ему. Скажи, что через полчаса на нас кинутся все немецкие эскадрильи на Ла-Манше.

Мак-Джиннис слез с сиденья и наклонился к дверце, ведущей в проход.

— Назад! — крикнул он.

Их пассажир тоже был внизу; они с Мак-Джиннисом сидели на корточках друг против друга и лаяли, как два пса. В шуме моторов, еще работавших на полных оборотах по обе стороны парусиновых перегородок, голос мальчика был едва слышен.

— Бомба! — кричал он.

— Ну да, — кричал ему в ответ Мак-Джиннис, — конечно, бомбы! Мы им задали жару! Лезьте назад, слышите? Не пройдет и десяти минут, как на нас кинутся все немцы на свете! Назад, к пулемету!

И снова донесся мальчишеский голос, тонкий и едва различимый в шуме моторов.

— Бомба! Это ничего?

— Да! Да! Конечно, ничего! Ну-ка, черт возьми, назад, к пулемету!

Мак-Джиннис влез обратно в кабину.

— Он вернулся на место. Хочешь, я возьму штурвал?

— Пожалуй, — сказал Богарт. Он передал Мак-Джиннису управление. — Только иди потише. Эх, хорошо бы уже рассвело, когда они налетят.

— Еще бы! — сказал Мак-Джиннис. Он вдруг повернул штурвал. — Что за оказия с правым крылом? — сказал он. — А ну-ка, взгляни... Видишь? Я отклонил вниз правый элерон и уравнировал разворот рулем. Потрогай.

Богарт на минуту взял у него штурвал.

— Я ничего не заметил. Где-нибудь, наверно, заело трос. Вот не думал, что пули летели так близко. Но ты все-таки поосторожнее.

— Ладно, — сказал Мак-Джиннис. — Значит, ты завтра, то бишь сегодня, хочешь прокатиться на его моторке?

— Да, я обещал. Черт возьми, нельзя же обижать такого младенца.

— А почему бы вам не прихватить с собой Кольера с мандолиной? Спели бы на воде.

— Я ему обещал, — повторил Богарт. — А ну-ка, подними немного крыло.

— Ладно, — сказал Мак-Джиннис.

...Через полчаса начало рассветать, небо посерело. Мак-Джиннис сказал:

— Ну вот и они. Ты только погляди! Точно комары осенью. Надеюсь, твой малый там не развеселится и не вздумает играть в бобра. Не то у него и впрямь будет на очко меньше, чем у Ронни... Связался черт с младенцем... Возьми штурвал.

V

В восемь часов под ними показалась песчаная отмель Ла-Манша. Машина с задросселированными моторами теряла высоту, и Богарт тихонечко подруливал ее по ветру, дувшему в проливе. Лицо его осунулось и было немного усталым.

И Мак-Джиннис тоже выглядел усталым, ему не мешало бы побриться.

— Как ты думаешь, на что он теперь усталился? — спросил он Богарта. Мальчик снова перевесился через борт кабины, глядя назад и вниз под правое крыло.

— Понятия не имею, — сказал Богарт. — Может, считает дырки от пуль. — Он дал газ левому мотору. — Придется сказать механикам...

— Но для чего ему так высовываться? — сказал Мак-Джиннис. — Можно поклясться, что трассирующая пуля вонзилась ему прямо в спину. Наверно, смотрит на океан. Его-то он, по крайней мере, видел, когда ехал сюда из Англии?

Потом Богарт выровнял самолет; нос его резко вздернулся кверху: мимо пронесся песок и волнистая полоса прибоя. А мальчик все так же висел, низко свесившись за борт, поглядывая то назад, то вниз под правое крыло; лицо его горело от восторга, от жадного, мальчишеского любопытства. Так он и висел, пока самолет совсем не остановился. Тогда он нырнул вниз, и во внезапной тишине смолкнувших моторов они услышали, какой ползет по проходу. Он появился, когда оба летчика, с трудом распрямляя затекшие спины, стали вылезать из самолета; лицо его было веселым, полным любопытства, а голос так и звенел от волнения:

— Нет, вы только подумайте! Ах ты, господи! Ну и человек! Вот это глаз! Вот это точность! Если бы Ронни видел! Ах ты, боже мой!.. Но, может, они не такие, как у нас? Не взрываются от воздушной волны? Американцы смотрели на него, ничего не понимая.

— Что не такое, как у вас? — произнес Мак-Джиннис.

— Да бомба же! Вот замечательно! Ей-богу, никогда не забуду! Честное слово! Просто великолепно! Мак-Джиннис наконец переспросил замирающим голосом:

— Бомба?

И тогда оба летчика, поглядев друг на друга расширенными глазами, воскликнули:

— Правое крыло!

Словно по команде, они на четвереньках вылезли из люка, обежали самолет и заглянули под правое крыло; мальчик бежал за ними следом. Возле правого крыла, зацепившись хвостом, головкою вниз, висела бомба. Она висела, как свинцовая гиря, чуть дотрагиваясь кончиком до песчаной дорожки. И рядом со следом от колес по песку тянулась узенькая ложбинка, которую вырыла волочившаяся бомба. А за спиной раздавался звонкий, беззаботный мальчишеский голос:

— Да я и сам перепугался! Хотел вас предупредить. Но подумал, что вам виднее. А какая сноровка! Замечательно! Ей-богу, никогда не забуду!

VI

Моряк с примкнутым к винтовке штыком пропустил Богарта на пристань и показал, где причален катер. Пристань была пуста, и Богарт заметил катер только тогда, когда подошел к самому краю причала, взглянул вниз на воду и увидел две согнутых спины в промасленных робах; люди подняли головы, мельком взглянули на него и пригнулись снова.

Катер был длиною футов тридцать и шириною фута три. Он был выкрашен в маскировочную серо-зеленую краску. Шканцы были впереди; там торчали две тупые, наклонные выхлопные трубы.

«Боже милостивый, — подумал Богарт, — значит, вся носовая часть у них под мотором?..»

Сразу за деком помещалась рубка (он заметил большое рулевое колесо и доску с приборами). Вдоль борта, от кормы до рубки, и, обогнув рубку, вдоль другого борта назад к корме шла крепкая переборка, тоже выкрашенная в маскировочные цвета. Она выступала над бортом на фут, по всему катеру, кроме кормы, которая оставалась открытой. Перед сиденьем рулевого в переборке зиял большой глазок около восьми дюймов в диаметре. Глядя вниз, на это длинное, узкое, зловещее сооружение, Богарт увидел установленный на корме вращающийся пулемет и снова посмотрел на низкую переборку — с нею вместе катер поднимался над водой не больше чем на ярд — и на ее единственный пустой, устремленный вперед глаз. Он подумал: «Сталь. Все это из стали». Лицо его стало задумчивым, невеселым: он запахнул плащ и застегнулся на все пуговицы, словно ему стало холодно.

Позади он услышал шаги и оглянулся. Это был вестовой с аэродрома, которого провожал моряк с винтовкой. Вестовой нес объемистый сверток, завернутый в бумагу.

— Капитану Богарту от лейтенанта Мак-Джинниса, — доложил вестовой.

Богарт взял сверток. Вестовой и моряк ушли. Он развернул бумагу. В ней лежало несколько предметов: диванная подушка из ярко-желтого шелка, японский зонтик, дамский гребень, пачка туалетной бумаги и наскоро нацарапанная записка.

Богарт прочел:

«Нигде не нашел фотоаппарата, а Кольер ни за что не дает мандолину.

Но, может, Ронни сыграет тебе на гребенке?

Мак».

Богарт разглядывал этот странный набор, и лицо его по-прежнему было задумчиво. Он снова завернул вещи в бумагу, отошел подальше и тихонько выбросил сверток в воду.

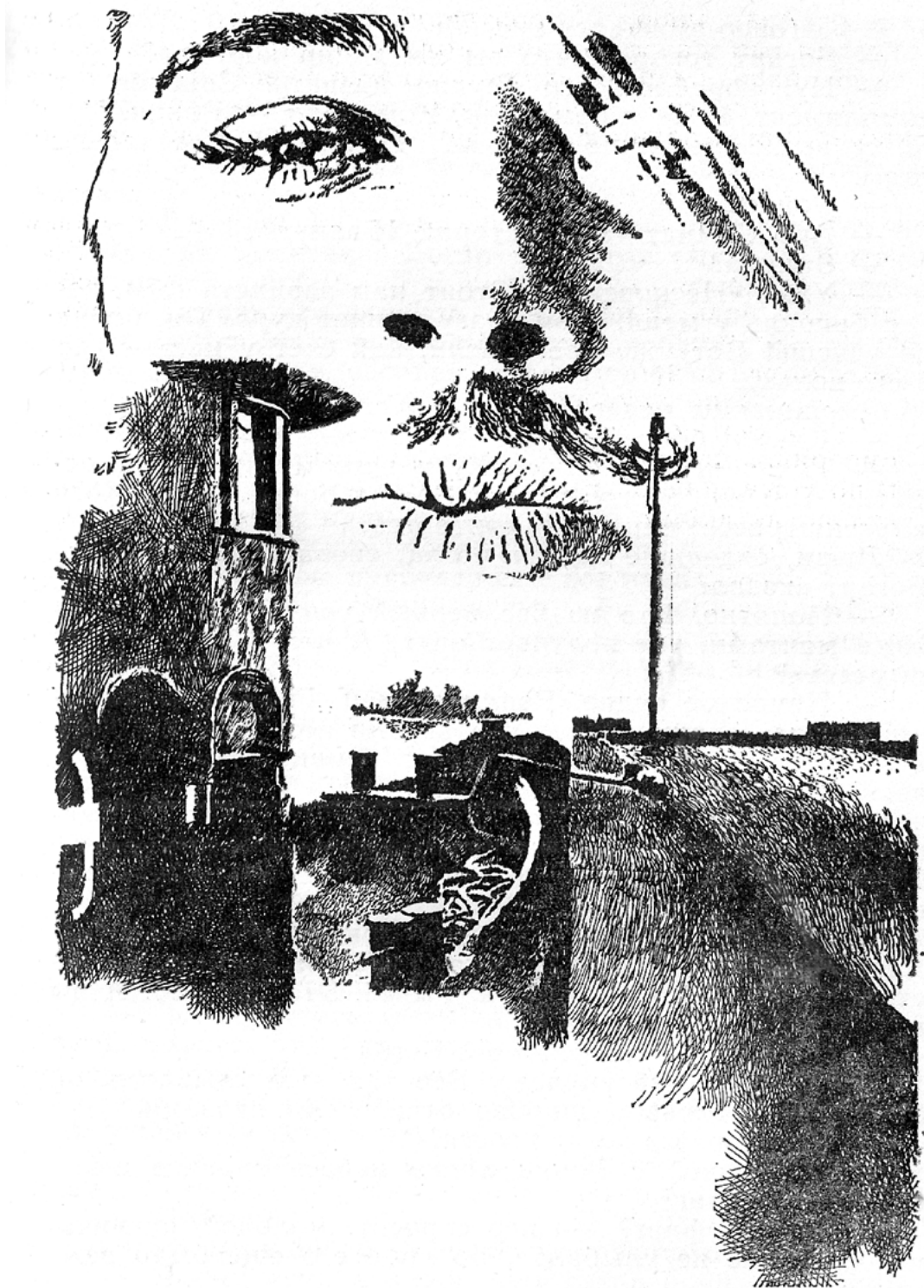
Когда Богарт возвращался к незаметной сверху лодке, он увидел, что к нему приближаются двое; мальчика он узнал сразу — худенький, высокий, он что-то рассказывал живо и увлеченно своему спутнику. Тот был ростом пониже; он шел, тяжело ступая, глубоко засунув руки в карманы, и курил трубку. Мальчик был одет все в тот же морской китель, но теперь на нем был еще и клеенчатый плащ, а на голове вместо заливхватски заломленной фуражки грязный вязаный шлем и длинный, как бурнус, кусок материи, который шевелился за спиной словно от звуков его голоса.

— Привет! — закричал он еще шагов за сто от Богарта.

Но внимание американца было поглощено его спутником. Ни разу в жизни не попадалась ему личность более странная. В самом развороте сутулых плеч и слегка опущенной голове было нечто тяжеловесное. Ростом он был много ниже товарища. Лицо, тоже румяное, выражало, однако, глубочайшую серьезность, чуть ли не суровость. Это было лицо двадцатилетнего юноши, который даже во сне старается выглядеть на год старше. На нем был свитер с высоким воротом, рабочие штаны, кожаная куртка и длинная, до пят, грязная шинель с оторванным погоном и без единой пуговицы. На голове клетчатая фуражка, какую носят погонщики оленей, а поверх нее, закрывая уши, был повязан узкий грязный шарф, обмотанный вокруг шеи и затянутый петлей под левым ухом, точно веревка на висельнике. Покатые плечи, глубоко засунутые в карманы руки и опущенная голова придавали ему сходство со старухой, вздернутой за ведьмовство. В зубах торчала перевернутая книзу вересковая трубочка.

— Вот и он! — закричал мальчик. — Капитан Богарт, это — Ронни.

— Здравствуйте, — сказал Богарт. Он протянул Ронни руку, и тот вяло подал ему свою, холодную, но жесткую и мозолистую. Ронни не произнес ни слова: он только мельком взглянул на Богарта и тотчас же отвел глаза. Но в этот краткий миг Богарт поймал в его взгляде какую-то искру, нечто вроде тайного и не совсем понятного почтения. Ронни поглядел на него так, как подросток смотрит на акробата, который умеет ходить по проволоке.



Но при этом он ничего не сказал и сразу же куда-то нырнул, словно в воду; Богарт видел, как он скрылся за кромкой причала. На невидимой лодке застучали моторы...

— Пожалуй, пора и нам, — сказал мальчик. Он пошел было к катеру, но замер и тронул Богарта за плечо.

— Вот она! Видите? — Голос его прерывался от волнения.

— Что? — в тон ему прошептал Богарт; по старой летной привычке он быстро поглядел назад и вверх. Мальчик, цепко схватив его за руку, показывал на ту сторону бухты.

— Вот она! На той стороне! «Эргенштрассе». Они опять перевели ее на новое место.

В другом конце бухты виднелся древний, заржавленный корпус завалившегося на бок судна. Оно было совсем невзрачное, но Богарт заметил, что передняя мачта — причудливая путаница тросов и рангоута — похожа (если дать волю воображению) на решетку. Стоявший рядом с ним мальчик просто захлебывался от волнения.

— Как вы думаете, Ронни заметил? — прошептал он. — Заметил?

— Не знаю, — ответил Богарт.

— Ах ты, черт! Если бы он ее назвал, не разобравшись, тогда мы были бы квиты. Ах ты, черт! Но надо идти. — И он повел его к катеру, все еще дрожа от волнения. — Осторожно, — предупредил он Богарта. — Лестница у нас ужас какая!

Он спустился первый: двое матросов в лодке встали и отдали честь. Ронни скрылся; была видна лишь нижняя часть его туловища, заткнувшая узкий люк, который вел в машинное отделение. Богарт стал опасливо спускаться вниз.

— Господи, — сказал он. — Неужели вам каждый день приходится лазить вверх и вниз по этой штуке?

— Ужас, правда? — сказал его спутник, как всегда, весело. — Да и у вас не лучше. Попробуй повоюй при таком неустройстве, а потом еще удивляются, что война тянется так долго!

Узкий корпус катера болтался на волне, несмотря на то, что прибавился вес еще одного человека.

— Остойчивый, а? — сказал мальчик. — Поплывет и на лужайке в утренней росе. Носится по волнам, как бумажный кораблик.

— Да ну?

— Точно! А знаете почему?

Богарт так и не узнал почему — он старался как-нибудь усесться. На катере не было ни поперечных банок, ни сидений, если не считать длинного, плотного цилиндрического выступа, который шел по борту до кормы. Ронни, пятась, вылез из своего укрытия. Он сел за руль и пригнулся к доске с приборами. Но, даже оглянувшись через плечо, он не произнес ни слова. Лицо его, перемазанное машинным маслом, выражало вопрос. А в глазах у мальчика появилось отсутствующее выражение.

— Порядок, — сказал он, глядя на нос, куда ушел один из матросов. — Готовы там впереди?

— Так точно, сэр, — ответил матрос.

Другой матрос стоял у кормы.

— Готовы на корме?

— Так точно, сэр.

— Отдать концы!

Катер, урча, отошел; вода вскипела у него под кормой, мальчик поглядел на Богарта.

— Дурацкие фокусы! Стараемся, чтобы все было по форме. Не знаешь, когда это дурацкое начальство... — Выражение лица у него снова переменялось и стало озабоченным, сочувствующим. — Послушайте. А вам не будет холодно? Мне ведь и в голову не пришло запастись чем-нибудь...

— Не беспокойтесь, — сказал Богарт. Но тот уже снимал дождевик. — Ни в коем случае! Ни за что не возьму.

— А вы мне скажете, когда вам станет холодно?

— Скажу. — Он поглядел на цилиндр, на котором сидел. Это был, в сущности говоря, полуцилиндр, нечто вроде котла на кухне у какого-нибудь Гаргантюа; он был разрезан вдоль на две половинки и привинчен болтами ко дну. Длинной он был двадцать футов и толщиной более двух футов. Верхушка его шла вровень с планширом, а между ним и бортами еще оставалось место, где человек мог поставить ногу.

— Это «Мюриэл», — сказал мальчик.

— «Мюриэл»?

— Ну да. Та, что была до нее, называлась «Агатой». В честь моей тетки. Нашу первую мы с Ронни окрестили «Алисой в Стране чудес». А мы были «Белым Кроликом». Вот потеха!

— Значит, у вас с Ронни их было уже три?

— Ну да, — сказал мальчик и придвинулся поближе. — Заметил! — прошептал он. Лицо его оживилось снова. — Когда будем возвращаться, — шептал он, — смотрите в оба!

— А-а, — сказал Богарт. — «Эргенштрассе»... — Он поглядел за корму и подумал: «Господи! А мы ведь и впрямь пошли, да еще как!» Он посмотрел теперь на воду через борт, увидел, как пролетает мимо них береговая полоса, и подумал, что катер движется почти с той же скоростью, с какой поднимается в

воздух его «хэндли-пейдж». Уже здесь, в закрытой от ветра гавани, они начали толчками перепрыгивать с волны на волну. Рука его все еще лежала на цилиндре. Богарт обвел его взглядом от той части под сиденьем Ронни, где цилиндр, по-видимому, начинался, до другого конца, который, скашиваясь, уходил под корму вниз.

— Тут, наверно, воздух, — сказал он.

— Что? — спросил мальчик.

— Я говорю, воздух. Он, наверное, наполнен воздухом. Для того, чтобы катер повыше сидел на воде.

— Ах вот что! Очень может быть. Вполне возможно. Мне это не приходило в голову. — Мальчик прошел вперед. На ветру бурнус хлестал его по плечам. Он пристроился рядом с Богартом. Головы их были защищены от ветра переборкой.

За кормой убегала гавань, очертания ее уменьшались, тонули в воде. Волна становилась все выше. Лодка то взлетала на гребень, то, ныряя, замирала на миг как вкопанная, а потом опять устремлялась вперед. Струи водяной пыли перелетали через борт и били по катеру, как огромные пригоршни дробы.

— Я хочу, чтобы вы все-таки надели плащ, — сказал мальчик.

Богарт не ответил. Он только обернулся и поглядел на его оживленное лицо.

— Мы вышли в открытое море, правда? — спросил он негромко.

— Да. Возьмите плащ, прошу вас!

— Спасибо, не надо. Мне и так хорошо. Ведь мы ненадолго?

— Нет. Скоро повернем. Тогда будет чуть потише.

— Ну да. Когда повернем, будет совсем хорошо.

И они повернули. Катер пошел ровнее. Вернее говоря, он теперь уже больше не ударялся, вздрагивая всем корпусом, о валы. Волны теперь катились под ним, и он неся, все ускоряя ход, в головокружительном порыве, заваливаясь то на один борт, то на другой, всякий раз словно падая в пустоту, отчего замирало сердце. Катер мчался, а Богарт глядел на корму с той же затаенной опаской, что и там, на пристани.

— Мы идем на восток, — сказал он.

— С маленькой поправкой на север, — уточнил мальчик. — Теперь он идет лучше, правда?

— Да, лучше, — сказал Богарт. Позади на фоне кипящего кильватера уже ничего не было видно, кроме моря да хрупкого, как игла, росчерка пулеметного дула и двух пригнувшихся на корме матросов. — Да. Теперь стало легче. — Потом он сказал: — И далеко нам идти?

Мальчик приблизил к нему лицо почти вплотную. Голос у него был счастливый, доверчивый, гордый, хотя и чуточку приглушенный.

— Сегодня парадом командует Ронни. Он сам все придумал. Конечно, и я бы мог до этого додуматься. В знак благодарности, и так далее. Но он старше, понимаете? Быстрее соображает. Вежливость, *noblesse oblige* * — всякая такая штука... Сразу придумал, как только я ему утром рассказал. Я ему говорю: «Послушай, я же там был и все видел», — а он говорит: «Да ты и в самом деле летал?», а я говорю: «Ей-богу!» — а он: «Далеко? Только не ври!» А я говорю: «Ужасно как далеко. Летели всю ночь». А он: «Всю ночь? Неужели до самого Берлина?» А я говорю: «Не знаю. Наверное, до самого». Тут вот он и задумался. Я сразу понял, что он что-то придумывает. Он ведь старший, понимаете? Лучше разбирается во всяких там приличиях и что когда надо делать. Он и говорит: «Берлин! Вот это да! Какой же ему интерес мотаться с нами взад-вперед у побережья?» Он все думает, а я жду; наконец я ему говорю: «Но ведь не можем мы плыть с ним в Берлин. Далеко. Да и дороги толком не знаем...» А он выпалил сразу, как пулемет: «Зато можно в Киль». И я сразу понял...

* Положение обязывает (франц.).

— Что? — спросил Богарт. Ему вдруг почудилось, что его тело рванулось вперед, хотя оно было неподвижно. — В Киль? На этом?

— Ну да! Это Ронни придумал. Ух, какой он молодец, только немножко зануда. Говорит: в Зеебрюгге вам совсем неинтересно. А для вас стоит поднатужиться.

Подумайте только, Берлин! Так и сказал: «Черт побери! Берлин».

— Послушайте, — сказал Богарт. Он повернулся к мальчику и спросил очень серьезно: — Для чего этот катер?

— Что значит, для чего?

— Какое у него назначение? — И, заранее предвидя ответ, показал на цилиндр. — Что тут? Торпеда?

— А я думал, вы знаете, — сказал мальчик.

— Нет, — сказал Богарт. — Я не знал. — Он слышал свой голос словно откуда-то издалека, сухой, как треск сверчка. — А как вы ее пускаете?

— Как пускаем?

— Ну да, как вы посылаете ее в цель? Когда был открыт люк, я видел моторы. Они же прямо возле цилиндра !

— Нажимаешь рычаг, и торпеда движется через корму. Как только ее винт попадает в воду, он начинает вращаться, и тогда торпеда готова, пущена. Надо только быстро повернуть лодку. И торпеда сама идет на цель.

— Вы хотите сказать... — начал было Богарт. Через секунду голос снова стал ему повиноваться. — Вы хотите сказать, что нацеливаете торпеду при помощи самого катера, выпускаете ее, она приходит в движение, вы сворачиваете с ее пути, и торпеда идет там, где только что был ваш катер?

— Я же знал, что вы сразу поймете! — сказал мальчик. — Я говорил Ронни! Еще бы, летчик! Но ведь правда, у нас работа куда более смирная? Ничего не поделаешь. Как ни старайся, но ведь тут всего-навсего вода. Я же знал, что вы сразу поймете!

— Послушайте, — сказал Богарт. Его голос казался ему самому очень спокойным. Катер мчался вперед, подпрыгивая на водяных ухабах. Он сидел неподвижно. Ему чудилось, что он говорит самому себе: «Ну же, спрашивай дальше. Спроси его! О чем? Спроси его, как близко нужно подойти, чтобы выпустить торпеду...» — Послушайте, — сказал он все тем же ровным голосом. — Скажите-ка лучше вашему Ронни... Вы ему скажите... одну простую вещь. — Богарт снова почувствовал, что голос ему изменяет, и замолчал. Он сидел не шевелясь и ждал, чтобы к нему вернулся голос; мальчик подошел к нему вплотную и заглянул в лицо. И снова в тоне у мальчика зазвучало сочувствие.

— Ага, вам дурно. Ох уж эти мне чертовы плоскодонки!

— Да нет же, — сказал Богарт. — Просто я... В вашем приказе значится Киль?

— Конечно, нет. Ронни сам может выбирать. Лишь бы мы привели катер назад. А сегодняшняя вылазка — в вашу честь. В знак благодарности. Это придумал Ронни. Конечно, по сравнению с летным делом наше — полная ерунда. Если вам не хочется...

— Ну да, лучше куда-нибудь поближе. Видите ли, я...

— Понятно. Ясно и понятно. Какие теперь могут быть прогулки? Раз идет война. Сейчас скажу Ронни.

Он пошел на нос. Богарт не шевельнулся. Катер мчался, делая длинные, ныряющие броски. Богарт молча глядел за корму, на вздыбленное ветром море, на небо.

«Господи! — думал он. — Ну кто бы мог себе представить? Кто бы мог себе представить?»

Мальчик подошел снова. Богарт повернул к нему лицо, серое, как пыльная бумага.

— Все в порядке, — сказал мальчик. — Обойдемся без Киля. Куда-нибудь поближе, дичи и тут хоть отбавляй. Ронни говорит, что вы нас не осудите. — Он дергал карман, вытаскивая оттуда бутылку. — Вот. Я не забыл, что было вчера. Хочу ответить вам тем же. Полезно для желудка, правда?

Богарт глотнул, захлебнулся: глоток был большой. Он протянул бутылку мальчику, но тот отказался.

— Не притрагиваюсь, так сказать, на посту. Не то что ваш брат. Конечно, у нас дело куда более смирное...

Катер несясь вперед. Солнце клонилось к западу. Но Богарт потерял счет времени и расстоянию. Через круглый глазок в переборке он видел пенистую воду, видел руку Ронни на руле, его трубку. Катер несясь вперед.

Потом мальчик нагнулся и притронулся к его плечу.

Богарт привстал. Мальчик показывал ему на что-то рукой. Солнце было багровым; против солнца,

вдали от них, на расстоянии около двух миль виднелось судно, похожее на траулер. Оно стояло на якоре. Высокая мачта покачивалась на волнах.

— Плавающий маяк! — закричал мальчик. — Ихний!

Впереди Богарт увидел длинный, низкий мол — вход в гавань.

— Канал! — закричал мальчик. Взмахом руки он обвел море вокруг катера. — Мины! — Голос его донесло порывом ветра, и он звучал громко. — Их тут полно! И под нами тоже. Весело, правда?

VII

Высокие буруны бились о мол. Катер шел теперь против ветра, перепрыгивая с вала на вал; в промежутках, когда винт выходил из воды, казалось, что моторы хотят с корнем вырваться из днища. Но ход не замедлялся; когда катер прошел до конца мола, он словно встал стоймя на руль, как летучая рыба. Теперь мол был от них в одной миле. На конце его замерцали светляками слабые огоньки. Мальчик пригнулся и сказал Богарту:

— Пулеметы. Вон там. Можно поймать шальную пулю.

— А что делать мне? — крикнул Богарт. — Что я могу сделать?

— Вот молодец, Ронни! Дадим им жару, а? Я знал, что вам будет интересно!

Скорчившись, Богарт растерянно глядел на мальчика.

— Я мог бы сесть за пулемет!

— Не надо! — крикнул мальчик. — Их подача. Будем вести себя как спортсмены. Мы ведь гости, да? — Он смотрел вперед. — Вот он, видите?

Они уже вошли в бухту, и она открылась перед ними до самого берега. В горловине на якоре стояло большое грузовое судно. На корпусе, посередине, был крупно нарисован аргентинский флаг.

— Мне надо на пост! — закричал сверху мальчик. И в этот миг впервые подал голос Ронни. Волна теперь начала стихать, но катер шел на той же скорости, и Ронни даже не повернул головы. Он лишь слегка шевельнул тяжелым подбородком с зажатой в зубах незажженной трубкой и проронил углом рта одно-единственное слово:

— Бобер!

Мальчик, наклонившись, стоял над тем, что он называл своим прибором. Услышав Ронни, он дернулся всем телом, лицо его вспыхнуло от возмущения. Богарт поглядел вперед и увидел, что Ронни рукой показывает за правый борт. Там, в миле от них, на якоре стоял легкий крейсер. Его мачты напоминали решетку. В тот же миг из кормового орудия вырвался огонь.

— Ах, будь ты проклят! — закричал мальчик. — Ах ты, стерва! Черт бы тебя побрал! Теперь у тебя три очка!

Но через миг он уже снова стоял, пригнувшись к своему прибору, и лицо его опять было настороженным; Богарт взглянул вперед и увидел, что катер делает крутой поворот и со страшной скоростью движется прямо на грузовое судно; а Ронни, держа одну руку на руле, высоко поднял и вытянул другую.

Богарту казалось, что рука эта никогда не опустится. Он теперь уже не сидел, он припал ко дну катера, наблюдая с ужасом, как растет нарисованный на борту флаг, — так растет паровоз в кино, если снимать его приближение снизу, с рельсов. И снова с крейсера за их спиной загрохотало орудие, а грузовое судно ударило по ним с кормы прямой наводкой. Богарт не слышал ни того, ни другого выстрела.

— Что вы делаете! — кричал он. — Вы сошли с ума!

Рука Ронни опустилась. Катер снова сделал полный поворот кругом. Богарт увидел, как при этом задрался его нос; он ждал, что катер ударится бортом о судно. Но он не ударился. Он сделал длинный, резкий бросок в сторону. Богарт думал, что катер далеко отнесет в море, а грузовое судно останется у него за кормой, и снова с опаской подумал о крейсере: «Стоит нам отойти подальше — и мы получим снаряд в борт». Потом он вспомнил о торпеде, оглянулся, чтобы посмотреть, как она попадет в грузовое судно, но, к ужасу своему, понял, что катер снова, скользя по кривой, надвигается на судно. Словно в бреду, он видел, как они летят прямо на аргентинца, проносятся под его бортом, все еще скользя по кривой, но так близко, что можно разглядеть лица на палубе. В мозгу у него пронеслась нелепая мысль: «Мы не попали

и теперь догоняем торпеду, чтобы поймать и пустить ее снова».

Мальчик хлопнул его по плечу, и только тогда он почувствовал, что тот стоит у него за спиной. Голос у мальчика был совершенно спокойный:

— Там, под сиденьем у Ронни, рукоятка. Дайте ее мне, пожалуйста...

Богарт нашел рукоятку, передал ее мальчику, и в мозгу у него мелькнуло, как во сне: «Мак, наверное, решил бы, что они на борту играют в телефон...» Но он не посмотрел, чем занимается мальчик, потому что с немым и уже бесстрастным ужасом наблюдал, как, зажав в зубах холодную трубку, Ронни снова и снова на полном ходу делает круги возле грузового судна, проходя мимо него так близко, что можно сосчитать заклепки на стальных листах обшивки. Потом Богарт оглянулся — лицо у него было ошалелое, напряженное — и увидел, что делает мальчик со своей рукояткой. Он приладил ее к небольшой лебедке, установленной у основания цилиндра, ближе к сиденью рулевого. Подняв глаза, мальчик заметил обращенное к нему лицо Богарта.

— Тот раз она не вышла! — весело прокричал он ему.

— Не вышла? — крикнул Богарт. — Что?.. Торпеда?..

Мальчик и один из матросов, низко пригнувшись к лебедке, были чем-то очень заняты.

— Да. Нескладная штука. Вечно одно и то же. Казалось бы, такие мудрецы эти инженеры... Однако случается. Тогда втягиваем ее обратно и все начинаем сначала.

— А головка, а капсюль? — закричал Богарт. — Они все еще в цилиндре? Они-то в порядке?

— Как часы. Но торпеда уже работает. Заряжена. Винт начал вращаться. Надо втянуть ее обратно, быстро выпустить и отойти. Если мы остановимся или замедлим ход, она нас нагонит. Я вот засаживаю ее назад в цилиндр. Весело, правда?

Богарт был уже на ногах, напрягая все силы, чтобы удержаться на этой дьявольской карусели. Высоко над ним, словно на стержне, бешено вращалось грузовое судно, как это показывают в трюковых кинокадрах.

— Дайте сюда рукоятку! — заорал он.

— Спокойно! — сказал мальчик. — Ее нельзя загонять назад слишком быстро. Мы сейчас втащим ее обратно в трубу. Вот потеха! Дайте уж это сделать нам. Дело мастера боится.

— Да, конечно, — сказал Богарт. — Да, безусловно.

Ему казалось, что язык перестает ему повиноваться. Он нагнулся, схватился за холодный металл цилиндра. Внутри у него все горело, но ему было холодно. Чувствуя, как его бьет озноб, он наблюдал за тем, как широкая, жилистая рука матроса вертит рукоятку лебедки скупыми, короткими полуоборотами, а мальчик, нагнувшись к краю цилиндра, легонько постукивает по нему гаечным ключом и, склонив набок голову, к чему-то прислушивается, чутко и внимательно, как часовщик. А катер все так же мчался, выделяя те же бешеные виражи. Богарт увидел, как тягучая нитка поползла к нему па колени, и вдруг понял, что нитка тянется у него изо рта.

Он не расслышал, что сказал мальчик, и не видел, как тот встал. Он только почувствовал, что катер резко выровнялся, потом от толчка упал на колени. Матрос перешел на корму, а мальчик снова склонился над своим прибором. У Богарта не было сил подняться: ему было дурно. Он не заметил, как катер повернул снова, и не слышал залпа с крейсера, который прежде не решался стрелять, он не слышал и выстрела с грузового судна, которое до этого не могло стрелять, но вот теперь они выстрелили оба; он не ощущал ровно ничего ни тогда, когда прямо перед ним вырос огромный нарисованный флаг, который становился все больше и больше, ни тогда, когда опустилась рука Ронни. Но Богарт знал, что на этот раз торпеда выпущена; круто сворачивая, катер, казалось, вышел из воды совсем; Богарт увидел, что нос его взметнулся в небо, как у истребителя, делающего бочку. Потом измученный желудок ему отомстил. Повалившись на цилиндр, он не увидел фонтана брызг и не услышал взрыва. Он только почувствовал руку, схватившую его за китель. Один из матросов сказал:

— Спокойно, сэр. Я вас держу.

VIII

Его вывели из забытья чей-то голос и прикосновение чьей-то руки. Он полулежал в тесном проходе

у правого борта, привалившись спиной к цилиндру. Он был тут уже давно; он давно уже почувствовал, как кто-то его укрывает. Но головы не поднял.

— Мне и так хорошо, — сказал он. — Не надо, возьмите себе.

— И мне не надо, — сказал мальчик. — Мы идем домой.

— Простите, я, кажется... — сказал Богарт.

Ничего. Ох, уж эти мне чертовы плоскодонки! Пока к ним не привыкнешь, кого хочешь вывернет наизнанку. И нам с Ронни сперва было не лучше! Всякий раз. Просто не поверишь, сколько у человека в желудке всякой дряни. Вот. — Он протянул бутылку. — Глотните хорошенько. Лошадиную дозу. Полезно для желудка, правда?

Богарт выпил. Скоро ему стало лучше, теплее...

Когда его снова тронула чья-то рука, он понял, что спал.

Это опять был мальчик. Морской китель был ему слишком короток, может быть, сел от стирки. Из-под манжет торчали тонкие, девичьи, синие от холода руки. Богарт понял, чем он был прикрыт. Но не успел ничего сказать — мальчик наклонился к нему, что-то шепча; лицо его было лукаво и полно торжества.

— Не заметил!

— Чего?

— «Эргенштрассе»!.. Не заметил, что «Эргенштрассе» перевели на другое место. Господи, у меня тогда будет меньше только на одно очко! — Он смотрел на Богарта горящими, веселыми глазами. — Бобер, понимаете? Вот! А вам теперь лучше?

— Да, — сказал Богарт. — Лучше.

— Ничего не заметил, ни-ни. Ей-богу!

Богарт поднялся и сел на трубу. Вход в гавань был уже совсем близко, катер постепенно замедлял ход. Спускались сумерки. Он тихо спросил:

— А это у вас часто случается? — Мальчик взглянул на него с недоумением. Богарт потрогал цилиндр. — Когда она не выходит...

— Ах, это? Да. Вот почему и приспособили лебедку. Уже потом. Спустили новый катер, и в один прекрасный день все взлетело на воздух. Тогда поставили лебедку.

— Но это бывает и теперь? Они взлетают на воздух даже и с лебедкой?

— Трудно сказать. Катера выходят в море. И не возвращаются. Что-то не слышал, чтобы какой-нибудь катер захватили в плен. Так что вполне возможно. С нами, однако, этого не бывало. Пока еще не бывало.

— Ну да, — сказал Богарт. — Да, понятно.

Они вошли в бухту, но катер двигался по затянутой мглой воде еще быстро, хотя и не на полных оборотах и без качки. И снова к Богарту склонился мальчик, нашептывая ему ликующим тоном.

— Ну, теперь т-с-с! Внимание! — Он выпрямился, возвысил голос: — Послушай, Ронни! — Ронни не повернул головы, но Богарт видел, что он прислушивается. — Ужасная потеха с этой аргентинской посудинкой, правда? Как, по-твоему, она мимо нас проскользнула? Могла ведь остаться здесь. Запросто. Французы купили бы у нее пшеницу. — Он помолчал, исполненный дьявольского коварства, этот Макиавелли с лицом заблудшего ангела. — Послушай! А ведь давно нам не попадалось чужих кораблей? Уже много месяцев, правда? — И он снова шепнул Богарту: — Теперь — т-с-с! — Но Богарт не заметил, чтобы голова Ронни сделала хоть малейшее движение. — А он все-таки смотрит! — шептал чуть дыша мальчик.

Ронни в самом деле смотрел, хотя голова его даже не шевельнулась. И когда на фоне окутанного мглой неба показался расплывчатый, похожий на решетку силуэт передней мачты плененного вражеского корабля, рука Ронни вскинулась, и он, не выпуская из зубов погашенной трубки, процедил уголком рта одно-единственное слово:

«Бобер!»

Мальчик рванулся, как отпущенная пружина, как сорвавшаяся с поводка гончая.

— Ах, черт! — ликующе закричал он. — Есть! Это же «Эргенштрассе»! Ах, будь ты проклят! Те-

перь у меня меньше только на одно очко! — Одним махом он перешагнул через Богарта и наклонился к Ронни. — Ну? — Катер замедлял ход, приближаясь к пристани; мотор был выключен. — Что, не верно, а? Всего-навсего одно очко!

Катер относил к берегу; матрос снова выполз на палубу. Ронни подал голос в третий и последний раз:

— Верно!

IX

— Мне нужен ящик шотландского виски, — сказал Богарт. — Самого лучшего, какой у вас есть. И хорошенько его упакуйте. Ящик надо отправить в город. И дайте какого-нибудь толкового человека, чтобы он смог доставить его по адресу. — Толковый человек нашелся. — Это для ребенка, — сказал Богарт, показывая на ящик. — Вы его найдете на улице Двенадцати часов, где-нибудь поблизости от кафе «Двенадцать часов». Он будет лежать в канаве. Вы его узнаете. Ребенок этот около шести футов ростом. Любой англичанин из военной полиции вам его укажет. Если он спит, вы его не будите. Посидите рядом и подождите, пока он проснется. А потом передайте вот это. Скажите, что от капитана Богарта.

X

Примерно месяц спустя в одном из номеров «Инглиш газетт», случайно попавшем на американский аэродром, в рубрике военных потерь было напечатано следующее сообщение:

«Пропадал без вести торпедный катер Х001 из дивизиона легких торпедных катеров эскадры Ла-Манша и с ним гардемарины Р. Бойс Смит и Л. К. У. Хоуп из запаса Военно-морского флота, помощник боцмана Барт и матрос 1-го класса Ривс. Не вернулись из берегового патрулирования».

Вскоре после этого командование воздушными силами США опубликовало приказ:

«За инициативу и выдающуюся доблесть, проявленные при выполнении воинского долга, наградить капитана Г. С. Богарта и его экипаж, состоящий из младшего лейтенанта Даррела Мак-Джинниса и воздушных стрелков Уотса и Харпера. Осуществив дневной налет без прикрытия разведчиками, они уничтожили склад боеприпасов, расположенный в нескольких милях за линией фронта. Преследуемый превосходящими силами вражеской авиации, самолет капитана Богарта произвел налет на штаб корпуса противника в Бланке, частично разрушил замок оставшимися у него бомбами, а затем без потерь вернулся на свою базу».

В сообщении об этом подвиге не было упомянуто, что, если бы самолет капитана Богарта потерпел аварию, а сам капитан вышел из этого дела живым, его бы предали военно-полевому суду немедленно и по всей строгости.

С двумя оставшимися у него после налета на склад бомбами Богарт спикировал свой «хэндли-пейдж» на замок, в котором завтракали немецкие генералы, и спикировал так низко, что сидевший внизу у бомбодержателей Мак-Джиннис закричал, не понимая, почему капитан не подает ему сигнала. А тот не подавал сигнала до тех пор, пока ему не стала видна каждая черепица на крыше. Только тогда он сделал знак рукой, взмыл вверх и повел свой яростно ревущий самолет все выше и выше. Дыхание со свистом вырывалось из его оскаленного рта.

«Господи! — думал он. — Эх, если бы они все были здесь, — все генералы, адмиралы, президенты и короли — их, наши, все на свете!»

Рассказы писателей Англии

Джон Соммерфилд.

«Первый урок».

Дорис Лессинг.

«Повесть о двух собаках».

Дилан Томас.

«Воспоминания о рождестве».

Уильям Тревор.

«Из школьной жизни».

Грэм Грин.

«Поездка за город».

Алан Силлитоу.

«Велосипед».

Билл Ноутон.

«Сестра Тома».

Уолтер Мэкин.

«Кисейная барышня».

Сид Чаплин.

«Загородные ребята».

Джеймс Олдридж.

«Последний дюйм».

ДЖОН СОММЕРФИЛД

«ПЕРВЫЙ УРОК»

Все в доме уснули рано. Один Пат не спал. Он лежал с закрытыми глазами, одетый, стараясь дышать как можно тише, и ждал, прислушиваясь к размеренному громкому тиканью часов в пустой комнате внизу. Каждый его мускул был напряжен, как бы подстегивая лихорадочную работу мозга. Ведь ему было всего пятнадцать, он был слишком молод для того, что с ним сейчас происходит... Сегодня они должны были впервые встретиться ночью.

«Собственно, ничего плохого в этом нет, — думал он, сердясь на невыносимо медленное тиканье часов, сжимая кулаки от нетерпения. — Ну что плохого в том, что мы встречаемся? Теперь нам только и остается — встречаться тайком, ночью».

И, думая об этом, повторяя про себя слова «тайком», «ночью», он сам не верил в чистоту своих намерений. Запах ее волос вызывал в нем до боли острое ощущение, от которого перехватывало горло; волна нежности заливала его при одном звуке ее имени. Она будила и другие чувства — сладкие и грешные желания, на которые его приучили смотреть как на что-то постыдное; да и ему самому казалось, что они оскверняют ее. Часто страх перед собственными мыслями, опасение, как бы она не догадалась о них, превращали радость встречи в мучение.

Ночью она не увидит его лица, но темнота не укроет его от собственной совести. И к радостному чувству, с которым он думал об этом свидании, примешивался страх.

«Но что нам делать? — снова спросил он себя. — Остается только одно — встречаться тайком, ночью».

Ее родные были врагами его родных. Пат вспомнил, как много месяцев назад, еще до того, как он познакомился с ней, Боб, его брат, сказал:

— Они из другого лагеря. Заодно с лендлордами и угнетателями. Они делают грязное дело — предают свой народ.

Тогда эти слова ничего не значили для Пата. Они относились к области мыслей и чувств, никак его не задевающих, — это его не касалось. Это коснулось его позднее, после того как он встретился с ней. Однако и тогда во всем этом оставалось что-то непонятное, во что он не пытался вникнуть, но чему внутренне противился.

— Брось ты с ней встречаться, — сказал Боб ему однажды. — Ничего, кроме неприятностей и бед, все равно не выйдет.

— Но мы с ней не имеем к этому никакого отношения, Боб! — возразил он брату. — Нас это не касается.

— Такие люди, как они и мы, могут только ненавидеть друг друга, — сказал Боб. — Но что толку тебе это объяснять! Ты сам когда-нибудь поймешь, только боюсь, как бы урок не оказался слишком жестоким.

Любовь и чувство верности к ней, любовь и чувство верности к родным, страсть и долг спорили в его душе, но отказаться от нее он не мог.

Все это промелькнуло у него в голове, пока он, прислушиваясь к храпу отца, крадучись спускался по лестнице, и радость, с которой он думал о предстоящей встрече, омрачалась стыдом и раскаянием.

В кухне очаг еще не погас, и слабый огонь мерцал в теплом сумраке. Пат остановился посреди комнаты, держа ботинки в руках и вслушиваясь в тишину спящего дома. В этот день в их доме пекли хлеб, и запах горячего хлеба, бесконечно родной и знакомый, все еще стоял в воздухе.

Вдруг ступеньки скрипнули. Огонь в печи словно вздохнул и вдруг ярко вспыхнул. При мгновенной вспышке огня Пат увидел часы. Было пять минут одиннадцатого, позднее, чем он думал. Джин, должно быть, уже вышла из дома и сейчас идет по тропинке своей ровной походкой, немного опустив голову и слегка прикусив нижнюю губу, и лицо у нее мечтательное и сосредоточенное. Он представил себе ее, и волна нежности поднялась в нем и затопила чувства, которые пробудил запах свежего хлеба. Он решительно поставил ботинки на пол и принялся всовывать в них ноги.

Что-то заскрежетало и залязгало снаружи. Это загремела цепью собака. Затем раздался яростный лай и сердитый звон цепи, когда, рванувшись вперед, собака натянула ее.

Сердце Пата забилося. «Может быть, это Боб, подумал он. — Может быть, Боб решил, что сегодня все спокойно, и захотел все-таки переночевать дома. Может быть, он привел кого-нибудь из своих», — старался убедить себя Пат, вслушиваясь в тяжелый топот ног. Но еще до того, как раздался громкий стук в дверь, он уже понял, кто это, и отпрянул в самый темный угол кухни.

Приглушенное «иду» донеслось из спальни, и на минуту грохот прекратился. Но пришедшие не стали ждать, пока им отопрут. Несколькими ударами они сломали замок. Луч света от электрического фонаря, прорезав комнату, осветил дверь в спальню, на пороге которой, зевая и щурясь от яркого света, стоял отец Пата. Луч скользнул ниже, пробежал по столу, по керосиновой лампе.

— А ну, выходите! — произнес чей-то хриплый голос. — Зажгите лампу! И не вздумайте дурить! Будем стрелять!

В темноте чиркнула спичка, и слабое пламя образовало в центре темной, пахнущей свежевыпеченным хлебом комнате бледное сведшееся кольцо.

Пат едва различал силуэты четырех мужчин, стоявших на пороге. Когда пламя разгорелось, стало из синего желтым и круг света увеличился, он впился в них взглядом. Холодный блеск тяжелых пистолетов в руках этих людей завораживал его, но лица тонули во мраке и сами люди казались безликими, одинаковыми.

— Выкрути фитиль! — приказал тот же голос.

Пламя резко поднялось, и вдруг словно все ожило.

Отец и мать Пата в старых пальто, наброшенных поверх нижнего белья, стояли возле стола, а его сестра Молли выглядывала из-за спины отца. Пат, прижавшись к стене, невидимый в темноте, не принимал участия в напряженной и молчаливой перестрелке взглядов его родных и этих чужих, зловещих пришельцев, стоявших у двери. Сначала он думал только об одном: Джин ждет его, а он не может уйти из дома. Но теперь, когда он понял, зачем пришли эти люди, внутри у него все сжалось от страха.

— Что вам нужно? — спросил отец каким-то неестественным голосом. Пристально вглядываясь в его лицо (людей на пороге он все еще не различал), Пат понял, что отец тоже боится: от страха он как-то постарел и даже стал будто меньше ростом, внезапно утратив то, что в глазах сына всегда возвышало его.

— Что нам нужно? — повторил тот, кто, видимо, командовал остальными; голос его прерывался от какой-то странной ярости. — Не прикидывайся дураком!

Он прошел в комнату и тяжело опустился на стул, как будто неожиданно его одолела усталость. Когда он заговорил, в голосе его прозвучали утомленные нотки, такие же деланные, как и его томная поза.

— Так вы не знаете, кто нам нужен? — сказал он. — И, разумеется, вы не знаете, зачем он нам нужен? И где он, вы тоже не знаете...

Он помолчал, как бы прислушался к отзвукам своего голоса, и вдруг неожиданно выпрямился.

— Клянусь богом, мы все о нем знаем! — прорычал он. — А теперь хватит болтать! Общем дом!

Он снова поднялся, его большое, грузное тело отбрасывало на стену огромную тень, и к ней пристраивались тени остальных, по мере того как они подходили и становились рядом с ним. На миг стало так тихо, что Пат слышал, как хрипло, точно животные, дышат незнакомцы. Собака успокоилась и перестала лаять, и через приоткрытую дверь из теплой темной ночи, где ждала его Джин, донесся слабый шелест ветра в листве. До двери было всего несколько шагов, и сейчас, когда эти люди стояли к нему спиной, затеяв лампу, он мог выскользнуть незаметно.

В носках, бесшумно ступая по каменному полу, он стал пробираться к двери в тот момент, когда

люди в комнате заговорили. Но Пат слышал лишь тяжелое биение собственного сердца. И уже за дверью, с трудом переводя дыхание, он вдруг почувствовал, что лоб у него в поту. Он нагнулся и надел ботинки. Чьи-то руки грубо схватили его сзади и втащили в дом. Стараясь вырваться, он брыкался. Удар по голове оглушил его. Ни он, ни его противник не проронили ни слова.

Поток желтого света из полуоткрытой двери ослепил Пата. Он зашатался, но сильным пинком его швырнули в комнату, и, не удержавшись на ногах, он растянулся на полу. Он лежал, придавленный гнетущим ощущением бессилия и унижения, от которого хотелось плакать.

— Посмотрите, кого я поймал! — сказал человек, который привел его. Он стоял в дверях и смеялся.

Голос показался Пату знакомым. Он поднял голову и взглянул на говорившего. Это был старший брат Джин. Встретив взгляд Пата, он перестал смеяться.

— А, да это ты! — сказал он с презрением и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

В комнате остался только верзила вожак. Сверху донеслись шарканье ног и голоса. Слышно было, как кто-то протестуя закричал.

Верзила лениво повернулся и, криво усмехнувшись, посмотрел сверху вниз на Пата. Во рту у него не хватало нескольких зубов.

— А ты кто такой? — прорычал он с каким-то свирепым добродушием. Пат молчал. Верзила шутливо, но больно пнул его ногой. Затем он принялся ковырять в носу, не спуская глаз с Пата. Шум за дверью заставил его обернуться. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала сестра Пата.

— Остановите их! — Она задыхалась. — Они все перебьют! Я не знаю, что они там ищут, но нельзя же все ломать. Пожалуйста, остановите их.

— Остановить бы можно... — сказал верзила глухим, хриплым голосом. Он, казалось, все играл какую-то роль, его голос и манеры непрерывно менялись, так что никак нельзя было понять, каков же он на самом деле. Единственной неизменной чертой характера, которая угадывалась за этой непрерывной сменой превращений, была тупая бессмысленная жестокость.

— Подойди сюда! — произнес он еще глуше.

Она сделала шаг вперед, плотнее запахнув на себе пальто. Она не заметила Пата, а он не окликнул ее и только старался поймать ее взгляд. Но она, словно зачарованная, смотрела на этого человека; выражение его лица, как видно, изменилось, потому что в ее глазах зажглась тревога.

— Что вам нужно? — спросила она дрогнувшим голосом.

— А ты славная девчонка, — сказал он. — Дай-ка рассмотреть тебя получше.

Он протянул руку и схватил ее за отворот пальто. Она не успела и вскрикнуть, как он уже прижал ее к себе и начал целовать.

Вдруг он отшатнулся.

— Сука! — прошипел он. — Ах ты, сука!

Три капельки крови выступили на губе в том месте, где она укусила его.

Отшатнувшись, он слегка вскинул руки, и девушке удалось вырваться. Но он все еще крепко держал ее за отворот пальто и ночную рубашку. Вдруг пуговицы отскочили, и рубашка лопнула на груди.

Пат одним прыжком очутился около верзилы и схватил его за руку, но тот, далее не глядя, наотмашь ударил его рукой. Пат полетел в сторону и стукнулся о стену, но тут же снова поднялся и кинулся на своего врага, который на этот раз заметил, кто ему помешал.

— Не суй рыло, ублюдок! — Он ударил Пата по лицу тыльной стороной руки.

Удар сбил мальчика с ног. Он поднялся на колени и, опершись локтями об пол, сплюнул кровь. Губы сразу распухли, в голове шумело. Он хотел встать, но ноги не держали его. Он снова услышал треск рвущейся материи, подавленный вскрик и с трудом поднял голову.

Молли прислонилась к стене, беспомощно опустив руки. Ночная рубашка на ней была разорвана до самого низа. У нее было какое-то странное, отрешенное выражение лица. Она стояла не шевелясь, не произнося ни слова. Мужчина тоже не двигался и молчал, словно смущенный видом ее наготы, исполненной той чистой и недолговечной прелести, которая всегда чарует в здоровой, цветущей девушке.

Вдруг он рассмеялся.



— Ну ладно, — сказал он. — Я только хотел рассмотреть тебя получше. Вот и рассмотрел. Ну а теперь убирайся...

Девушка встрепенулась. Густая краска залила ее шею и поползла вниз по всему телу. Лицо задержалось и сморщилось. Запахнув разорванную рубашку, она медленно вышла из комнаты. Слезы градом катились по ее щекам.

Пат закрыл глаза и снова опустился на пол. Его переполняли тоска и горечь. Краска стыда, залившая щеки Молли, покрыла и его лицо. Обида за сестру вытеснила все: и боль от ушиба, и тягостное чувство, что в дом вошла беда, которую навлек на них приход этих людей, и даже неотвязную мысль о свидании с Джин.

Он услышал шаги в комнате, чей-то гнусавый голос сказал:

— Там, наверху, ничего нет, хозяин. Ей-богу, ничего.

— Тогда начнем внизу, — ответил ему верзила. — Я проголодался. Пошарьте, нет ли в доме еды. И для себя чего-нибудь раздобудьте.

Шаги снова удалились. Кто-то пихнул Пата ногой, но мальчик даже не поднял головы.

— А ну-ка! — произнес ненавистный голос. — Вставай!

Пат с трудом встал на ноги.

— Садись туда! — приказал верзила.

Он дважды прошелся по комнате, затем остановился перед Патом, нахмурился и вдруг начал без передышки сыпать вопросами, не дожидаясь ответов. Происходят ли у них в доме политические собрания? С кем из соседей дружит брат? Кто еще из членов семьи состоит в организации? Часто ли приходят письма на имя брата? Часто ли он ночует дома?

В этих вопросах мелькали названия мест, имена людей, произносимые вскользь, так, словно Пату

они наверняка были известны. Пат, с трудом шевеля распухшими губами, туманно и уклончиво бормотал что-то в ответ: он чувствовал, его допрашивают с тайной целью, ему расставляют ловушку в расчете на то, что он проговорится, что с его губ случайно сорвется признание, которое будет использовано против его близких, и в эту минуту, сам еще того не сознавая, Пат всеми своими помыслами был на стороне брата.

Внезапно допрос кончился. Не дожидаясь ответа, верзила вышел из комнаты. Погруженный в какое-то болезненное оцепенение, убаюкиваемый тяжким биением сердца и громким неторопливым тиканьем часов. Пат, сгорбившись, сидел на стуле. Ушибы болели, в разбитых губах горячо пульсировала кровь, но боль доходила словно издалека.

Взглянув на часы, он удивился: было только одиннадцать. Меньше часа прошло с тех пор, как он поднялся с постели, чтобы уйти из дому. Он вспомнил об этом как о чем-то происходившем очень давно, когда он был гораздо моложе, и мысли и чувства, владевшие им в то время, возникали в его памяти, окрашенные странной грустью, словно воспоминания детства.

Теперь эти люди спустились вниз. Комната наполнилась шумом, громкими голосами, хохотом, стуком тяжелых сапог по каменному полу, скрипом выдвигаемых ящиков. Они шарили в шкафах, заглядывали внутрь часов, поднимали старые башмаки и вытряхивали их, обыскивали самые укромные уголки, извлекали на свет интимные домашние мелочи, отпуская при этом грязные шутки. Они ходили по комнате, не переставая жевать, громко чавкая и роняя крошки на пол.

Чувство бессильной ярости, которое эти вооруженные, опоясанные патронташами, незнакомые люди вызывали у Пата, дошло до предела при последнем кощунстве — разорении семейной кладовой.

А часы упорно напоминали ему о Джин. Он представил себе, как она все ждет его и, наверно, сердится и волнуется. Если бы ему удалось выскользнуть из дому, он мог бы успеть на свидание с ней; они должны встретиться сейчас, пока еще не поздно, и тогда, быть может, случится чудо и стена, воздвигнутая между ними, рухнет.

Пат задрожал при одной мысли о том, что его снова так бесцеремонно вташат в дом и, может быть, поколотят; он уже натерпелся достаточно боли и унижения за эту ночь. Он снова ощутил на губах прикосновение огромной тяжелой лапы, и воспоминание об отвратительном лице, разгоряченном похотью и злостью, лишило его мужества. Но в нем все же оставался запас какой-то упрямой силы. Он бессознательно вобрал в себя воздух и, сжав кулаки, заставил себя подняться и направиться к выходу.

Никто не заметил, как он выскользнул за дверь, а когда он был во дворе, никто не остановил его. Стараясь держаться в тени надворных построек и изгороди, он выбрался на дорожку и пустился бежать.

Теперь он снова чувствовал себя сильным, его переполняла радость, бодрил четкий ритм бега и ночной воздух, в свежести которого был запах свободы. Через несколько минут они будут вместе, ночной кошмар исчезнет и все станет таким, как прежде.

Обычно они встречались на холме, под старым дубом. Протискиваясь сквозь дыру в изгороди, Пат был совершенно уверен, что сейчас увидит темный девичий силуэт, и поэтому, обнаружив, что на холме нет ни души, он скорее удивился, чем встревожился. Он громко — насколько смел — кричал и свистел, всюду искал ее и, лишь окончательно убедившись, что она ушла, бросился на землю и заплакал.

Трава под ним была мягкой и нежной, прохладный ночной ветерок освежал его покрытое синяками тело. Он плакал долго и беззвучно, слезы непрерывной струей текли у него по щекам. Он плакал от разочарования, плакал от унижений, которые перенес, от несправедливых обид и еще от ощущения утраты еще не осознанного, но причинявшего глухую, неумную боль.

Когда он поднял голову, луна стояла высоко. Ветер стих, туман поднимался с земли. Он слышал спокойное посапывание коров на соседнем поле. Им овладело какое-то усталое умиротворение. Он снова подумал о сестре. Теперь воспоминание о ее унижении не мучило его: перед ним был безликий образ, безымянное женское тело, нагота которого не будила ни желаний, ни угрызений совести.

Немного погодя Пат побрел назад. Подходя к дому, он понял, что они уходят; лаяла собака, слышались невнятные голоса, затем мерно зашелестели колосья: это они выбирались на дорогу кратчайшим путем — через поле, топча молодые посевы.

Пат напрасно боялся, что его будут бранить за уход из дому или жалеть, когда увидят его разукра-

шенное лицо. Когда он вошел, мать готовила чай. Она протянула ему чашку. Кухня была в беспорядке, ящики и шкафы открыты, их содержимое разбросано по полу. Отец то потягивал маленькими глотками чай из блюдца, то попыхивал глиняной трубкой, и лицо у него было при этом хмурое и угрюмое. У потухшего очага, забившись в глубокое кресло, сидела сестра, неподвижно глядя прямо перед собой заплаканными опухшими глазами...

Все они никогда не отличались разговорчивостью, а теперь, после перенесенного унижения (каждый был чем-то унижен — у кого пострадало чувство собственного достоинства, у кого гордость за свой домашний очаг, у кого стыдливость), они молчали, не умея найти слов для выражения своих чувств.

Пат первым нарушил гнетущее молчание.

— Дай мне хлеба, мать, — сказал он. — Я проголодался.

С горьким смешком она указала рукой на шкаф, куда сложила недельный запас свежесвекопеченных хлебов. Шкаф был пуст.

— Все, что они не смогли съесть, они забрали с собой, — сказала она. — ...И не только еду. Брошка Молли исчезла со стола.

Тревожная мысль закралась в голову Пата.

— А из вещей Боба они ничего не нашли? — спросил он взволнованно.

— Нет, слава богу. Находить-то было нечего.

Они снова замолчали, погрузившись в свои мысли. Где-то за домом заухала сова, собака загремела цепью, тихонько заворчала и вздохнула, и ночь погрузилась в безмолвие.

Пат поднялся.

— Устал я, — сказал он. — Пойду спать.

— Подожди, я приложу тебе что-нибудь к лицу, — сказала мать. — Вон как тебя изукрасили.

— Да не стоит, — ответил Пат. — Очень хочу спать.

Он подошел к матери поцеловать ее и пожелать ей

спокойной ночи. Когда он наклонился, его внимание привлёк тусклый блеск латуни.

— Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите! — Он достал с полки над очагом обойму с патронами.

— Это от револьвера Боба, — прошептал он.

Мать перекрестилась.

— Они и не заметили, — сказал отец. — Бог ты мой, единственное, что они могли найти, лежало у них под носом.

Угрюмый, недобрый взгляд смягчился. Он усмехнулся и вдруг заразительно расхохотался. В комнате как будто сразу стало веселее. Даже Молли заулыбалась. В конце концов, они все-таки одержали верх. На минуту все забыли о перенесенном унижении. Их больше не давило сознание силы врага. Эти люди могут прийти еще раз, могут учинить что-нибудь и похуже, но с ними можно бороться, их даже легко провести.

— Вот Боб-то посмеется, когда мы ему расскажем, — сказал Пат, гордый своим открытием.

Он сунул патроны в карман; ему было приятно, что они там лежат. Ушибы все еще болели, и глубоко внутри тоже что-то ныло, и все не проходило ощущение потери, чувство, что жизнь уже не будет казаться ему такой ясной и справедливой, как прежде.

ДОРИС ЛЕССИНГ



«ПОВЕСТЬ О ДВУХ СОБАКАХ»

Нам и в голову не приходило, что завести вторую собаку будет так сложно, и виной тому оказались особенности отношений в нашем семействе. Уж чего на первый взгляд проще — взять щенка, раз было решено: «Джоку не с кем играть, нужна еще одна собака, а иначе он так и будет пропадать у негров в поселке и хороводиться с их шелудивыми псами». Все наши соседи держали у себя в усадьбах собак, от которых можно было взять прекрасного породистого щенка. У каждого негра-работника жила во дворе тощая, всегда голодная животиная, с которой хозяева ходили на охоту, чтобы хоть иногда раздобыть себе мяса. Случалось, щенята от этих бедолаг попадали в господские усадьбы и там не могли ими нахвалиться. Услышав, что мы хотим завести еще одну собаку, местный плотник Джейкоб привел нам щеночка, он весело скакал у крыльца на веревке. Но родители вежливо отказались — мама сочла, что этот живой рассадник блох неподходящая компания для нашего Джока, хотя нас-то, детей, щеночек привел в восторг.

Сам Джок был помесь немецкой овчарки, родезийской овчарки и еще, кажется, терьера. От них-то ему и достались темные бока и спина, длинная грустная морда и маленькие нахальные уши. Что и говорить, чистопородными статьями он похвастать не мог, достоинства его заключались в благородстве, оно было ему и в самом деле присуще. Но еще больше преувеличивалось мамой, которая перенесла на этого пса всю свою любовь, когда уехал учиться брат. Теоретически хозяином Джока считался он. Только зачем дарить мальчику собаку, если он через несколько дней уедет в город учиться и будет жить там и осень, и зиму, и весну? Да затем, далеко — ведь детям фермеров неизбежно приходится уезжать в город, когда приходит время идти в школу. Трепля Джока по маленьким чутким ушам, она ворковала: «Милый мой Джок! Славный ты мой пес! Такой умный, хороший, да, Джок, да, ты у меня очень, очень хороший!...» Отец не выдерживал:

— Ради бога, мать, не порти нам пса! Это же тебе не комнатная собачка, не болонка какая-нибудь, это сторожевой пес, ему место во дворе.

Мама ничего ему не отвечала, на лице у нее появлялось такое знакомое выражение непонятого страдания, она еще ниже наклонялась к Джоку, прямо щекой к его быстрому розовому язычку, и продолжала причитать:

— Бедненький Джок, да, да, да, бедненькая собачка! Кто сказал, что ты сторожевой пес, кто сказал, что тебе место во дворе? Ты моя хорошая собаченька, ты у меня такой маленький, несмышленный.

Против этого возмущался брат, возмущался отец, возмущалась я. Все мы в свое время не пожелали быть «маленькими и несмышлеными», каждый по-своему взбунтовался и вырвался из-под ее опеки, и сейчас нам тошно было видеть, как сильного и здорового молодого пса превращают в хлипкого неженку, как когда-то пытались превратить нас. Впрочем, в глубине души все мы были довольны, отчетливо сознавая это и мучась сознанием вины, что на Джока теперь изливается вся забота матери, у которой была болезненная потребность опекать и защищать «маленьких и несмышленных».

Мы все время ощущали ее укор. Когда мама склонялась грустным лицом к животному и гладила его своими тонкими белыми руками в кольцах, которые соскальзывали с ее пальцев, и приговаривала: «Джок, собаченька, ты у меня такой благородный», мы с отцом я братом начинали задыхаться от возмущения, нам хотелось вырвать у нее Джока и пустить его носиться по усадьбе, как и положено молодому жизнерадостному зверю, или самим убежать куда глаза глядят, чтобы никогда больше не слышать этой ужасной тоскливой жалобы в ее голосе. В том, что в голосе ее звучит жалоба, виноваты были только мы: если бы мы позволили себя опекать, согласились стать благовоспитанными или хотя бы послушными, не пришлось бы Джоку так часто сидеть у маминых ног, положив ей на колени свою верную, благородную голову, а ей гладить его, тосковать и мучиться.

И отец решил, что нужно завести еще одну собаку, иначе Джока превратят в «слюнявого неженку». При этих словах, прозвучавших отголоском бесчисленных семейных баталий, брат вспыхнул, надулся и демонстративно вышел из комнаты. Однако мама и слышать не желала о второй собаке, пока Джок не стал бегать тайком в поселок к нашим работникам-неграм играть с их собаками.

— Как тебе не стыдно, Джок! — скорбно говорила мама. — Ну зачем ты бежал с этими грязными, мерзкими псами, зачем?

Джок в порыве глубочайшего раскаяния неистово прыгал перед ней и лизал ее в лицо, а она тянулась к нему с отчаянием страдальца, которого уже столько раз обманывали и предавали, и причитала:

— Ах, зачем, Джок, зачем?

Итак, было решено: нам нужна вторая собака. И раз Джок, несмотря на временное отступничество, пес благородный, великодушный и, самое главное, благовоспитанный, новый щенок тоже должен обладать всеми этими качествами. Но где найдешь такую собаку, обойди хоть всю землю? Мама отвергла не меньше дюжины претендентов, и Джок по-прежнему бегал к негритянским псам, а потом воровато прокрадывался домой и преданно глядел ей в глаза. Я заявила, что новый щенок будет мой. У брата есть собака, пусть будет и у меня. Но заявляла я о своих правах не слишком решительно, потому что мое требование справедливости оставалось пока абстрактным. Дело в том, что мне вовсе не хотелось хорошую, благородную и благовоспитанную собаку. Какую именно собаку я хочу, я не могла объяснить, но при мысли о собачьей благовоспитанности меня тошнило. Поэтому я не особенно возражала, когда мама отвергла одного щенка за другим, пусть делает что хочет, лишь бы устрашающий запас ее заботы продолжал изливаться на Джока и не угрожал мне.

Как раз в это время мы отправились в далекое и долгое путешествие — мои родители иногда ездили повидаться со своими многочисленными друзьями; с одними мы проводили день, у других оставались ночевать, к третьим просто заезжали на часок-другой и после обеда спешили дальше. Напоследок нам предстояло посетить троюродного брата отца, который пригласил нас па субботу и воскресенье. «Уроженец Норфолька» (так называл его отец, сам он был из Эссекса) женился в свое время на девушке, которая в годы войны — первой мировой — была вместе с моей матерью сестрой милосердия. Сейчас они жили на одинокой ферме среди невысоких гор, поднимающих свои каменные вершины над непролазными за-

рослями леса, и до ближайшей железнодорожной станции было восемьдесят миль. Отец говорил, что они «не ужились друг с другом»; и правда, всю субботу и воскресенье они то ссорились, то дулись и не разговаривали. Но поняла я трагедию этой несчастной пары, живущей среди каменистых гор на свою нищенскую пенсию, лишь много времени спустя, — в те дни мне было не до них, я влюбилась.

Мы подъезжали к ним уже вечером, и над застывшей гранитной глыбой вершины медленно всплывала почти полная желтая луна. Черные деревья притаились в тишине, только без умолку трещали цикады. Машина подъехала, к кирпичному домику-коробке с блестящей под лунной железной крышей. Умолк шум мотора, и на нас обрушился звон цикад, свежесть лунной ночи и отчаянный, самозабвенный лай. Из-за угла дома выскочил маленький черный клубочек, кинулся к машине, к самым ее колесам, отскочил и бросился прочь, захлебываясь звонким, иступленным лаем... вот лай стал тише, а мы — во всяком случае я — все ловили его, напрягая слух.

— Вы уж на него не обращайтесь внимания, — сказал наш хозяин, мистер Варне, «уроженец Норфолька», — совсем ошалел от луны глупый щенок, целую неделю нас изводит.

Нас повели в дом, стали угощать, устраивать, потом меня отправили спать, чтобы взрослые могла поговорить на свободе. Заливисто-иступленный лай не умолкал ни на минуту. Двор под окном моей спальни до сараев вдали белел ровным лунным прямоугольником, и по нему метался глупый, шалый от счастья — или от лунного света — щенок. Он пулей летел к дому, к сараю, опять к дому, начинал кружить, наскакивал на свою черную тень, смешно спотыкался на неуклюжих толстых лапах, похожий на вьющуюся вокруг пламени свечи большую пьяную бабочку или на... не знаю на кого, я никогда в жизни ничего похожего не видела.

Большая далекая луна стояла над верхушками деревьев, над белым пустым прямоугольником двора без единой травинки, над жилищем одиноких, несчастных людей, над опьяненным радостью жизни щенком — моим щенком, я это сразу поняла. Вышел из дома мистер Барнс, сказал: «Ну хватит тебе, хватит, замолчи, глупый ты зверь», — и стал ловить маленькое обезумевшее существо, но никак не мог его поймать, наконец почти упал на щенка и поднял в воздух, а тот все лаял, извивался и бился в его руках, как рыба, и понес в ящик, где была конура, а я шептала в страхе, как мать, когда кто-то чужой берет на руки ее ребенка: «Осторожно, пожалуйста, осторожно, ведь это моя собака».

Утром после завтрака я пошла за дом к конуре. Сладко пахла смола, выступившая от зноя на белых досках ящика, боковая стенка была снята, внутри ящика лежала мягкая желтая солома. На соломе, положив морду на вытянутые лапы, лежала черная красавица сука. Возле нее развалился на спине толстенький пестрый щенок и млея, блаженно раскинув лапы и закрыв глаза, в экстазе сытого, ленивого покоя. На лоснящейся черной шерсти возле носа засох кусочек маисовой каши, в пасти сверкали изумительные молочно-белые зубы. Мать не спускала с него гордых глаз, хотя зной и истома разморили и ее.

Я вошла в дом и заявила, что хочу щенка. Все сидели за столом. «Уроженец Норфолька» и отец предавались воспоминаниям детства (в них наблюдалось единство места, но отнюдь не времени). Тетя — глаза у нее были красные от слез после очередной ссоры с мужем — болтала с мамой о разных лондонских госпиталях, где они вместе облегчали страдания раненых во время войны, и теперь им было так приятно об этом вспоминать.

Мама сразу же запротестовала:

— Ах что ты, ни в коем случае, ты же видела, что он творил вчера вечером? Разве его к чему-нибудь приучишь?

«Уроженец Норфолька» сказал: пожалуйста, он мне щенка с удовольствием отдаст.

Отец сказал, что, на его взгляд, щенок как щенок, ничего ужасного он в нем не заметил, главное, чтобы собака была здоровая, все остальное чепуха. Мама опустила глаза с видом непонятой страдальницы и замолчала.

Жена «уроженца Норфолька» сказала, что не может расстаться с маленьким глупышом — видит бог, в ее жизни и так не слишком много радости.

Я привыкла к семейным раздорам и знала, что не стоит и пытаться понять, почему и отчего эти люди сейчас спорят и что собираются наговорить друг другу из-за моего щенка. Я только знала, что в

конце концов логика жизни восторжествует и щенок станет моим. Я оставила квартет выяснять свои разногласия из-за крошечного щенка и побежала любоваться им самим. Он сидел в тени сладко пахнущего сосной ящика, его пестрая шерстка лоснилась, мать вылизывала сына языком, и влажные пятна еще не просохли. Его собственный розовый язычок смешно торчал из-за белых зубов, как будто ему было лень или просто неохота спрятаться в розовую пасть. Его изумительные карие глазки-пуговицы... впрочем, довольно — передо мной сидел самый обыкновенный щенок-помесь.

Немного погодя я снова наведалься в гостиную проверить расстановку сил. Мама явно брала перевес. Отец сказал, что, пожалуй, все-таки не стоит брать щенка: «Что ни говори, а дурная наследственность рано или поздно скажется, яблочко от яблони недалеко падает».

«Дурная наследственность» досталась ему от отца, чья история пленила мое четырнадцатилетнее воображение. Так как местность здесь была дикая, населения в округе почти никакого, а в лесах полно зверей: водились даже леопарды и львы, — четверем полицейским местного участка нести свою службу было не в пример сложнее, чем вблизи от города. Поэтому они купили полдюжины громадных псов, чтобы, во-первых, нагнать страху на грабителей (если таковые там вообще водились), а во-вторых, окружить себя ореолом смельчаков, которые повелевают яростью этих кровожадных зверей — псы были обучены по приказу перегрызать горло. Одна из них, огромная и почти черная родезийская ищейка, что называется, «одичала». Она сорвалась с привязи, убежала в лес и стала там жить, охотясь на оленей и антилоп, на зайцев, птиц, и даже таскала у окрестных фермеров кур. И вот этот-то пес, этот гордый одинокий зверь, который отверг людское тепло и дружбу и появлялся иногда перед окрестными фермерами светлой лунной ночью или в серых сумерках рассвета, увел однажды в лес мать моего щенка Стеллу. Она ушла с ним утром на глазах у Барнсов, они ее звали. Но Стелла их зова будто и не слыхала. Через неделю она вернулась. На рассвете их разбудило тихое, жалобное поскуливание: «Я пришла домой, впусти меня», и, выглянув в окно, они увидели в побледневшем свете луны свою беглянку Стеллу: вытянувшись в струну, она глядела на огромного великолепного пса, который стоял на опушке и перед тем, как скрыться за деревьями, махнул хвостом, как бы прощаясь со Стеллой. Мистер Барнс послал ему вдогонку несколько запоздалых пуль. Они с женой долго журили Стеллу, а она через положенное время принесла семь черно-каштаново-золотистых щенков. Сама она тоже была помесь, хотя хозяева, конечно, считали ее очень породистой — как же, ведь это их собака. В ту ночь, когда родились щенята, «уроженец Норфолька» и его жена слышали тоскливый, похожий на плач вой и, подойдя к окну, увидели возле конуры одичавшую полицейскую ищейку, которая пыталась просунуть туда голову. Лес полыхал в оранжевом пожаре зари, и вокруг собаки как будто светился ореол. Стелла тихонько скулила, временами переходя на рычание, — радуясь ли появлению этого большого, властного зверя, чья морда обнюхивала ее детенышей, прогоняя ли его или страхась? Барнсы крикнули, и тогда изгой обернулся к окну, где они стояли — мужчина в полосатой пижаме, женщина в розовом вышитом шелке, потом закинул морду и завыл, и от его дикого, безысходного воя, рассказывали они, у них по коже побежали мурашки. Но по-настоящему я их поняла только через несколько лет, когда Билль — тот самый щенок — тоже «одичал», и я слышала однажды, как он воет на термитном холмике и его иступленный призыв летит в пустой, сосредоточенно внимающий ему мир.

Возле Стеллы отец ее щенков больше не появлялся. Через месяц его застрелил сосед Барнсов, живущий от них милях в пятидесяти, когда пес выходил из его курятника с великолепным белым леггорном в зубах. К тому времени у Стеллы остался только один щенок, остальных Барнсы утопили: наследственность плохая, решили они, кто на таких польстится, и лишь из жалости оставили ей одного детеныша.

Пока рассказывали эту назидательную историю, я не проронила ни слова, храня упрямое спокойствие человека, который знает, что в конце концов своего добьется. На моей стороне право? На моей. Обещали мне собаку? Обещали. Получается, что кто-то другой будет выбирать мне собаку, а не я сама, да? Нет, но... Никаких «но», я уже выбрала. Выбрала именно ту собаку, которая мне нравится, никакой другой мне не нужно. Возражать и спорить бесполезно, я все решила.

Три дня и три ночи прожили мы у Барнсов. Дни тянулись знойные, томительные, пустые. Собаки все время спали в конуре. Вечера взрослые проводили в крошечной гостиной; она нестерпимо раскалялась

от горящей керосиновой лампы, на желтое маслянистое пламя слетались целые орды мошкары и вились вокруг него в нескончаемом хороводе. Взрослые разговаривали, а я слушала несущийся со двора самозабвенный лай. Потом я выскальзывала из дома на лунный холод. В последнюю нашу ночь у Барнсов было полнолуние, над звенящим от цикад черным лесом плыл совсем низко, едва не цепляясь за верхушки деревьев, огромный белый диск безупречно правильной формы — древний лик, на котором отпечатались все миллионы лет его жизни. А внизу, на земле, скакал по чистому белому песку и заливался радостным лаем ошалевший щенок. Поодаль сидела его мать, большое красивое животное, и с тревогой следила умными желтыми глазами за сумасшедшим танцем своего детеныша, сына ее убитого возлюбленного, который пришел к ней из леса. Я подкралась к Стелле, села на все еще теплый камень, обняла ее за мягкую лохматую шею и прижалась щекой к ее чутко следящей за щенком морде. Прильнув к ее теплой мускулистой груди, я старалась дышать в такт с ней, и наши глаза согласно поднимались к огромному, пристально глядящему на нас лику и потом опускались к маленькому черному клубочку, который вихрем летел на нас, чудом успевая свернуть возле самых наших ног. Мы не спускали с него глаз, а лунная свежесть, все сгущалась на лохматой шерсти Стеллы, на моей гладкой коже, но вот наконец из дому вышел «уроженец Норфолька» и позвал щенка, потом закричал на него что было сил, потом бросился на ошалевшего неслышленныша и сунул его в деревянный ящик, где желтые полосы лунного света прятались в черной, пахнущей собаками тени.

— Иди, милая, иди к нему, — сказал «уроженец Норфолька», погладив Стеллу по голове, и она послушно залезла в конуру. Она мягко перевернула щенка носом. Тот так измаялся, что остался бессильно лежать на спине, раскинув вздрагивающие, будто в предсмертной агонии, лапы и дыша с хриплым, прерывистым стоном. Наконец я оторвалась от Стеллы и ее детеныша и вернулась в маленький кирпичный дом, где буквально все раскалилось от ненависти. Засыпая, я представляла себе, как спит, свалившись с ног от усталости и уткнувшись носом в черный, дышащий бок матери, маленький неумный щенок, а по пестрой его шкуре крадутся полосы лунного света, льющегося сквозь щели в сосновом ящике.

Утром мы его увезли, а Стеллу хозяева заранее заперли в доме, чтобы она не видела, как мы уезжаем.

Все триста миль нашего долгого пути Билль, как самый последний дуралей, валялся пузом кверху на коленях у меня или у мамы, и без конца таял, пытел, сопел и зевал, закатывал глаза и блаженно потягивался. Пи мне, ни маме, ни брату, которого мы в городе забрали с собой, потому что в школе начинались каникулы, не было с ним ни минуты покоя. Едва увидев новую собаку, брат заново утвердился в роли хозяина Джок и решительно отверг моего щенка как существо, стоящее на самой низшей ступени развития. Мама, которую Билль к этому времени совершенно покорил, соглашалась с ним, но говорила, пусть только брат посмотрит, какие у щеночка на лбу прелестные складочки. Отец возмущенно требовал, чтобы обоих псов «как следует выдрессировали».

Чем ближе мы подъезжали к дому, завершая наше нелегкое путешествие, тем чаще мама говорила о Джок со всевозрастающим чувством вины:

— Бедный наш маленький Джок, что-то он скажет?

«Бедный наш маленький Джок» уже давно вырос в сильного, красивого молодого пса: тело было у него большое, вытянутое, шерсть теплого золотистого цвета с темной полосой на спине — вполне немецкая овчарка, только спереди слегка похожа на волка или на лисицу из-за острых, всегда настороженных ушей. И уж, конечно, никому бы не пришло в голову назвать его «маленьким». Было в нем какое-то сдержанное достоинство, оно не изменяло ему, даже когда мама корила его за визиты к негритянским псам.

Встреча, к которой мы готовились с таким трепетом, оказалась настоящим триумфом для обоих ее участников, особенно для Джок, который заново покорил мамино сердце. Щенка вытащили из машины и посадили неподалеку от крыльца, где сидел Джок, как всегда сдержанно и с достоинством дожидаясь, чтобы мы обратили на него внимание. Билль с визгом понесся по выложенному камнем дворику перед домом. Потом он увидел Джок, кинулся к нему, остановился в двух шагах, уселся на свой толстенький зад и залился звонким, взволнованным лаем. Джок слегка открыл пасть — то ли в зевке, то ли в оскале, — опустил одно ухо, потом другое и не то зарычал, не то презрительно засмеялся, а щенок тем временем подполз к нему совсем близко и подпрыгнул прямо к его оскаленной морде. Джок не отскочил — он ви-

дел, что мы наблюдаем за ним, и заставил себя сидеть смирно. Наконец он поднял лапу, перевернул Билля на спину, прижал его к земле, оглядел со всех сторон, обнюхал и принялся облизывать. Джок принял Билля, а Билль нашел существо, заменившее ему мать, которая, наверное, горевала о пропавшем сыне. Теперь можно было поручить «малыша» — так его все время называла мама — заботам беспредельно терпеливого Джока.

— Ты у нас такой умный, добрый пес, Джок! — сказала мама, расчувствовавшись при виде этой картины и последовавших за ней трогательных сцен, где Джок проявил поистине непостижимую снисходительность к вздорной и совершенно несносной — даже я вынуждена была это признать — собачонке.

Нужно было срочно обучать собак. Но это тоже оказалось делом далеко не легким — так же как и выбор новой собаки, — и опять-таки в силу своеобразных отношений в нашем семействе.

Как, например, разрешить хотя бы такую проблему: собаку должен дрессировать хозяин, она должна слушаться только одного человека, а кого должен слушаться Джок? И кого Билль? Хозяином Билля считалась я, а на самом деле им был Джок. Значит, что же, Джок должен как бы передать свои права мне? Да и вообще, какая глупость: я обожала именно смешного неуклюжего щенка, зачем мне обученная собака? Обученная чему? Сторожить дом? Но все наши собаки и так сторожевые. У туземцев страх перед собаками жил в кропи (мы верили в это непоколебимо). И тем не менее все вокруг только и говорили, что вот там-то и там-то воры отравили огромных свирепых собак или подружились с ними. В общем-то все понимали, что толку от сторожевых псов никакого, хотя держали их на каждой ферме.

Помню ночи моего детства: я лежу в темном доме, К которому со всех сторон подступает лес, и слушаю уханье совы, крики козодоя, кваканье лягушек, треск цикад, из негритянских хижин доносятся удары тамтама. Таинственно шуршит устилающий крышу тростник, который недавно срезали в долине, — ночь, спустившаяся в вельд, наполнена мириадами звуков, и ко всем звукам прислушиваются и наши собаки: они срываются с места и вихрем мчатся разыскать и разнюхать нарушителя тишины. На все они отзываются лаем или ворчанием — на свет звезды, кольнувшей глянцевою поверхность листа, на лунный диск, встающий за горами, на хруст ветки за домом, на тонкую алую полосу над горизонтом. Сторожевые собаки, насколько я помню, никогда не спали, но держали их не столько для того, чтобы отпугивать воров (воры на моей памяти никогда у нас не появлялись), сколько для того, чтобы не пропал незамеченным ни единый вздох, ни единый шорох африканской ночи, которая живет своей собственной всеобъемлющей и всепроникающей жизнью и немыслима без визга дикого кабана, шуршания маисовых листьев в поле на ветру, грохота срывающихся со склона камней, полета звезд по Млечному Пути. Ибо и падение камней, и звездный полет, и визг дикого кабана, и шуршание маисовых листьев в поле на ветру и составляют неизбывную жизнь этой ночи.

Чему же тогда обучать сторожевых собак? Наверное, тому, чтобы они реагировали только на приближение крадущегося человека, черного или белого — неважно, иначе какой от сторожевой собаки толк? Но из всех картин моего детства я даже сейчас ярче всего помню, как я лежу ночью в постели, не могу заснуть и слушаю рыдающий вой собаки на непостижимый желтый лик луны, как я подхожу на цыпочках к окну и вижу закинутую к звездному куполу длинную черную собачью морду. С нашими собаками нам не нужен был лунный календарь. Они были как шум лондонских улиц — чтобы спать ночью, нужно было научиться вообще их не слышать. А раз ты научился не слышать лая собак, тебя не разбудит и глухое злобное рычание, которое предупреждает о приближении возможного грабителя.

Сначала Джок с Биллем запирали на ночь в столовой. Но там поднималась такая возня, такой лай, такая беготня от окна к окну, стоило взойти луне или солнцу или хотя бы качнуться черной тени ветки на белой стене, что очень скоро пришлось выставить их на террасу, потому что они по всем ночам не давали нам спать, и мы уже едва держались на ногах днем. Сопровождалось это собачье изгнание множеством наказов от мамы быть «умными и вести себя хорошо»; она с надеждой внушала псам, что вопреки своему естеству они должны спать с заката до рассвета. Но как только Билль стал подрастать, их с Джоком по утрам частенько не оказывалось дома. Перед завтраком они с виноватым видом появлялись на тропинке, которая шла в поля, шерсть их была забита репьями: мы знали, что, погнавшись за совой или оленем и

неожиданно очутившись далеко от дома в незнакомом ночном мире, они принимались разнюхивать и разведывать его, готовясь к вольной жизни и свободе, которая их ждала.

Да, сторожевых собак из Джок с Биллем не получалось. Может быть, сделаем их охотничьими? Дрессировать их взялся брат; во дворе с утра до ночи звучали дурацкие команды: «Лежать, Джок!», «К ноге, Билль!», на собачьих носсах дрожали куски ячменного сахара, собачьи лапы протягивались для пожатия. Джок переносил «науку» стоически, всем своим видом показывая, что готов вытерпеть что угодно, лишь бы доставить удовольствие маме. Пока брат их обучал, он то и дело обращал к ней деликатно-торжествующий и в то же время извиняющийся взгляд, и через полчаса брат отступался, говорил, что в такую жару невозможно заниматься, он устал как собака, и Джок тут же мчался к маме и клал ей голову на колени. А вот Билль так никогда ничему и не научился. Не научился сидеть смирно с золотистым кусочком сахара на носу — он мгновенно его проглатывал. Не научился идти у ноги, не помнил, что нужно делать с лапой, когда кто-нибудь из нас протягивал ему руку. Объяснялось все очень просто, я поняла это, наблюдая за сеансами «дрессировки»: Билль был дурачок. Я, конечно, пыталась изобразить дело так, будто он презирает обучение и считает унижением для себя выполнять чьи-то команды, а готовность, с которой Джок усваивает всю эту чепуху, говорит о недостатке характера. Но, увы, скоро стало невозможно скрывать прискорбную истину: мой Билль не отличается сообразительностью.

Тем временем из толстенького очаровательного малыша он превратился в стройную, красивую молодую собаку с темной, в подпалинах шерстью и крупной головой ньюфаундленда. И все-таки оставались в нем смешные щенячьи повадки — если Джок, казалось, так и родился взрослым, солидным, чуть ли не с сединой, то в Билле всегда жило что-то юное, юным он остался и до своего последнего дня.

Обучение продолжалось недолго: брат сказал, что пора переходить от теории к практике, это должно было успокоить отца, который твердил, что у нас не собаки, а черт знает что.

Для нас с братом и для двух наших собак начался новый этап в жизни. Каждое утро мы отправлялись в путь. Впереди с ружьем в руке шагал брат, важный от сознания ответственности, которая на нем лежит, за ним бежали собаки, и замыкала этот испытанный временем боевой отряд я, четырнадцатилетняя девчонка, которую, конечно, не допускали к участию в серьезном мужском деле, но в роли восторженного зрителя она была необходима. Эту роль мне приходилось играть давно — роль маленькой девочки, которая с восхищением наблюдает за тем, что происходит на сцене, и умирает от желания принять участие в пьесе, но знает, что ее желание никогда не исполнится, не только потому, что сердце ее сурово и непримиримо, но и потому, что она с тоской и мукой, замирая, ждет, чтобы ее позвали и пригласили, и тогда она раскроется навстречу людской нежности. Даже уже в те годы я понимала, как несладко приходится в жизни обладателям таких комплексов. Да, картина и в самом деле нелепая: вот шагает мой брат, такой серьезный, сосредоточенный, рядом с ним преданно бежит «умная, хорошая собачка» Джок, «тупица» Билль то трусит за ними, то вдруг исчезает, чтобы исследовать боковую тропку, и сзади плетусь вразвалку я, презрительно усмехаясь, и всем своим видом показываю, как мало меня все это интересует.

Дорогу я знала с закрытыми глазами: чтобы добраться до сумрачной чащи, где водилась дичь, нужно было идти в обход холма через густые заросли пау-пау, пересечь поле батата, плети которого цеплялись и хватали за ноги, потом мимо свалки, где гудели тучи блестящих черных мух, которые слетались на сладковатый запах гнили, и вот наконец начинался и самый лес — заново выросшие после порубки чахлые деревца мзазы с белесой, пепельной листвой (когда-то лес здесь вырубил и сожгли в заводских печах), они тянулись на много миль, низкорослые, унылые, жалкие. И над низким, безотрадным лесом стояло огромное синее небо.

Мы шли на добычу, так, по крайней мере, мы говорили. Все, что нам удавалось подстрелить, съедали мы сами, или прислуга, или негры в поселке. Но гнал нас на охоту вовсе не древний закон добывания пищи, и мы это прекрасно понимали. Потому-то и отправлялись в свои экспедиции с некоторым чувством вины и часто возвращались домой с пустыми руками. На охоту мы ходили по той причине, что брату подарили отличное новое ружье, из которого можно было убивать — в особенности если стрелял брат — больших и маленьких птиц, мелких зверьков, а иногда даже довольно крупных животных, вроде антилопы. Итак, мы ходили на охоту, потому что у нас было ружье. А раз есть ружье, должны быть и охотничьи

собаки, с ними все кажется не таким уж неприглядным.

Мы уходили в Долину Великого Потока. Была еще Долина Большого Потока, но та находилась миль в пяти от усадьбы и по другую сторону. Там земля была выжжена до ржавых пролысин, и озерца высыхали обычно очень рано. Туда мы ходить не любили. Но чтобы попасть в прекрасную Долину Великого Потока, нужно было пересечь безобразные заросли «за тем склоном холма». Для нас все эти названия звучали почти как названия стран. Путешествие в Долину Великого Потока было чем-то похоже на сказку, потому что сначала приходилось продираться сквозь зловещие, уродливые заросли. Почему-то они всегда наводили на нас страх, казалось, в них затаились какие-то враждебные нам силы, и мы старались поскорее миновать их, зная, что за победу над этой опасностью нам будет наградой журчащая тишина Долины Великого Потока. Нашей семье принадлежала половина Долины, незримая граница между нашими и соседскими владениями проходила по ее середине — от обнажившегося гранитного пласта к высокому дереву и дальше через озерцо и термитный холм. Долина вся заросла густыми травами, стройные тенистые деревья стояли по берегам пересыхающего летом потока — сейчас его ложе превратилось в полосу ярчайшей зелени в полмили шириной, с оконцами бурой воды среди камышей, где блестело, отражаясь, небо. Лес вокруг был старый, его здесь никогда не рубили, и все в Долине до последней травинки и колечки было первозданно диким, нетронутым, неповторимым.

Озерца никогда не пересыхали. На илистом их дне и под темной прозрачной водой копошились какие-то крошечные существа, над зыбкой поверхностью проносились голубые сойки, радужные колибри и какие-то пестрые юркие птицы — мы не знали, как они называются, — а по краям, у буйных зарослей осоки, тихо покачивались на круглых листьях в сверкании светлых капель белые и розовые водяные лилии.

В этом-то раю нам и предстояло дрессировать собак.

Все полтора месяца своих первых каникул брат был неугомонным, и каждое утро после завтрака мы отправлялись в путь. В Долине я усаживалась на краю озерца в тени терновника и, болтая ногами в воде, погружалась в мечты под ее тихий плеск, а брат, вооружившись винтовкой, палками разной длины, кусочками сахара и вяленого мяса, в поте лица обучал собак всяким премудростям. Иногда, очнувшись от забытья, потому что солнце начинало жечь мне плечи сквозь зеленое кружево терна, я поворачивала голову и пыталась следить, как тяжело трудится эта троица на песке под палящим солнцем. Джок обычно лежал по команде «умри!» или, положив морду на вытянутые лапы, внимательно глядел брату в глаза. Или же сидел, застыв как каменный, — само послушание, не собака, а чистое золото. Билль же неизменно валялся на спине, задрав лапы и вытянув шею, весь распластавшись под жарким солнышком, подставляя его лучам свою пятнистую шкуру. Прерывая сонное течение моих мыслей, ко мне несло:

— Молодец, Джок, умница! Билль, дубина, ты почему, дурак эдакий, не желаешь работать? Бери пример с Джока!

Весь красный и взмокший, брат плюхался рядом со мной и ворчал:

— Все Билль виноват, подает дурной пример. Джок и думает: зачем ему стараться, когда Билль все время валяет дурака?

Наверное, все-таки виновата была я, что из учения так ничего и не вышло. Отнесись я со всей серьезностью и со всем вниманием к тому, чем занимались мальчик и собаки, — а я отлично знала, что от меня требовалось именно это, — может быть, у нас в конце концов и оказалась бы пара прекрасно выдрессированных, послушных собак, готовых каждую минуту броситься на землю и «умереть», идти у ноги и нести поноску. Может, так бы оно и было, кто знает?

Во время следующих каникул наметился идейный разброд. Отец жаловался, что на псов нет управы, и требовал, чтобы ими в конце концов занялись серьезно и без всяких поблажек. Наблюдая, как мама ласкает Джока и бранит Билля, мы с братом заключили молчаливое соглашение. В Долину Великого Потока мы отправлялись по-прежнему каждое утро, но, придя туда, целый день бездельничали у воды, предоставив собакам постигать радости свободы.

Вот, например, какие удовольствия дарила им вода. Степенный Джок сначала пробовал воду лапой с берега, потом не спеша входил в озерцо по грудь, так что только морда оставалась над разбегающимися

кругами, которые он радостно ловил языком, приветственно взлаивая. Потом он солидно погружался всем телом и принимался плавать в теплой воде, в зеленой тени терновника. Билль тем временем предавался своей любимой забаве. Отыскав мелкое озерцо, он брал старт ярдов с двадцати от кромки и кубарем неся к нему по траве с радостным, оглушительным визгом; он не столько переплывал, сколько перепрыгивал по воде на другую сторону — и вот уже он на дальнем конце луга, вот несется к нам, поворачивает, летит прочь, снова навстречу... и так без конца. Брызги тучами взлетают из-под его лап и с шумом низвергаются обратно, а он мчится, исходя ликующим лаем. Была у них еще одна игра, гоняться друг за дружкой, точно два врага, по долине, — из конца в конец в ней было четыре мили, и, когда один ловил другого, они с таким остервенением рычали, и огрызались, и катались по земле, что схватка легко могла сойти за настоящую. Иногда мы их разнимали, и против нашего вмешательства они не протестовали, но стоило их отпустить, как один в тот же миг срывался с места и летел, едва касаясь земли лапами, а другой молча и озверело кидался в погоню. Они могли бежать так мило, две, пока один не хватал другого за горло и не прижимал к земле. Эту игру нам приходилось наблюдать так часто, что, когда они в конце концов «одичали», нам было хорошо известно, как они убивают кабанов и оленей, которыми питаются.

Когда собакам хотелось просто шалить, они гонялись за бабочками, а мы с братом наблюдали за ними, опустив ноги в воду. Однажды Джок, словно издеваясь над нами за нелепые, теперь, по счастью, оставленные попытки дать ему образование, с самым серьезным видом принес нам в зубах большую оранжево-черную бабочку. Нежные ее крылышки были поломаны, золотистая пыльца размазалась по его морде, он положил ее возле нас, прижал все еще трепещущий комочек лапой к земле и разлегся рядом, показывая на бабочку носом. Злодей лицемерно закатил карие глаза, и на морде у него ясно было написано: «Видите — бабочка! Молодец, Джок, умница!» А Билль тем временем скакал, и лаял, и подпрыгивал в воздух за яркими мелькающими крылышками — маленький каштановый клубок на фоне огромного синего неба. Пленницы Джока он словно не видел, но оба мы с братом чувствовали, что наглой этой выходки скорее можно было ожидать не от Джока, а от Билля. Брат даже сказал однажды:

— Знаешь, а Билль испортил Джока. Если бы не Билль, он никогда бы так не отбился от рук, я уверен. Сказывается наследственность-то.

Увы, мы в то время и не подозревали, что значит «отбиться от рук», и год-два проделки псов оставались более или менее невинными.

Например, однажды Билль пролез в кладовую через плохо прибитую дверную доску и стал лопать все подряд: яйца, пирог, хлеб, телячью ногу, копченую цесарку, окорок. Вылезти ему, конечно, не удалось. К утру он весь раздулся и мог только кататься по полу, скуля от страшных последствий собственной неводержанности.

— Ну и дубина ты, Билль! Джок бы так никогда не сделал, он бы сообразил, что может лопнуть, если столько сожрет!

Потом Билль стал таскать яйца прямо из гнезда, а это уже считалось преступлением, за которое собак на фермах убивают. И Билль едва избежал такого конца. Несколько раз видели, как он вылезал из курятника, — вся морда в пуху, по носу размазан желток. А в гнездах, на соломе, бело-желтое липкое месиво. Стоило Биллю появиться поблизости, как куры подымали ужасный крик, и перья у них вставали дыбом. Сначала Билля избила кухарка, да так, что он переполошил своим воем и визгом всю усадьбу. Потом мама наполнила пустые скорлупки от яиц горчицей и положила их в гнезда. И на следующее утро мы проснулись от душераздирающих воплей: вчерашняя жестокая порка ничему его не научила. Выбежав из дому, мы увидели ошалело мечущуюся по двору с высунутым языком каштановую собаку и красное солнце над черными вершинами гор — великолепная декорация для позорной сцены, которая разыгрывалась на наших глазах. Мама промыла страждущую пасть теплой водой и сказала:

— Ну вот, Билль, смотри, пусть это тебе будет наукой, иначе твоя песенка спета.

И Билль стал постигать эту науку, с большим, правда, трудом. Не раз выходили мы с братом на крыльцо, собравшись на охоту, и останавливались в предраассветной тишине под высоким серым небом. Едва начинали розоветь горные вершины, вокруг молчали бескрайние леса, в которых затаилась ночная мгла, от знобкой свежести росы захватывало дух; дремотный аромат ночного леса кружил голову, и терп-

кий полынный воздух покалывал щеки. Мы тихонько свистели собакам. Где бы Джок ни спал, он прибежал сразу же, зевая и махая хвостом. Билля мы обнаруживали возле курятника. Просунув нос сквозь проволоку загородки, закрыв глаза, он тосковал о теплой, сладостной нежности только что снесенных яиц. Нас душил безжалостный хохот, мы корчились и зажимали руками рты, чтобы не разбудить родителей. Отправляясь на охоту, мы знали, что не пройдем и полумили, как один из псов с лаем ринется в заросли, а вслед за ним, оставив след, который он вынюхивал сам, кинется и другой, их осатанелый лай будет слышаться все тише, все тише будет доноситься треск и хруст сучьев, ломаемых собаками, а иногда и каким-нибудь испугнутым животным, которое до той минуты спало, или мирно щипало траву, или, притаившись, ждало, когда мы уйдем. Теперь мы с братом сами могли начать высматривать дичь, которую нам наверняка не удалось бы увидеть, будь с нами собаки. Иногда мы часами выслеживали пасущуюся антилопу или пару оленей, подкрадываясь к ним то с одной стороны, то с другой. Забыв обо всем на свете, мы любовались ими, лежа на животе и боясь только одного, что Билль и Джок прибегут обратно и положат конец этому восхитительному занятию. Помню, однажды перед рассветом мы увидели на краю поля у соседской фермы щиплющую травку винторогую антилопу. Мы легли на живот и поползли по-пластунски через высокую траву, не видя даже, там ли еще антилопа. Перед нами медленно открывалось дыбящееся черными комьями земли поле. Мы осторожно подняли головы и на берегу этого вспаханного моря увидели совсем рядом трех маленьких антилоп. Повернув головы в ту сторону, где вот-вот должно было подняться солнце, они стояли совершенно неподвижно — три легких черных силуэта. Комья на дальнем конце поля чуть заметно заалели. Земля поворачивалась навстречу солнцу так быстро, что свет бежал по полю, перепрыгивая с верхушки одного кома на другой, как гонимый ветром огонь по метелкам высокой травы. Вот он добежал до антилоп и мягко обвел их контуры золотистой каймой. Вот-вот неотвратимые лучи зальют три маленькие золотящиеся фигурки. И вдруг антилопы стали прыжками теснить друг друга, взбрыкивая задними ногами и цокая копытами, как будто танцевали какой-то танец. Они закидывали назад острые рога и, то ли играя, то ли сердясь, наскакивали друг на друга. Пока антилопы танцевали на краю поля у опушки темного леса, где прятались мы, солнце взошло, и неяркий теплый свет заиграл на их золотистых крупах. Солнце оторвалось от изломанной линии гор и стало спокойным, большим и желтым, теплый желтый свет затопил землю; антилопы кончили свой танец и медленно ушли в лес, помахивая белыми хвостиками и грациозно вскидывая головы.

Не убеги собаки за несколько миль, нам никогда не удалось бы увидеть этих прелестных животных. Сказать правду, единственным сколько-нибудь полезным качеством наших собак было именно непослушание. Если нам хотелось подстрелить чего-нибудь к столу, мы привязывали их веревкой за ошейник и принимались ждать в засаде, пока не раздадутся негромкие шажки семенящих по траве цесарок. Тут мы спускали собак с поводка. Они бросались за птицами, те неуклюже поднимались в воздух, как подброшенные шарфы, и летели чуть не у самой земли, прямо над лязгающими собачьими челюстями. Бедняжкам так хотелось опуститься где-нибудь в высокой траве, а их заставляли взгромождаться на деревья, с такими-то слабыми крыльями. Иногда, если мы нападали на большую стаю, цесарки облепляли до десятка деревьев черными живыми точками на фоне вечернего или рассветного неба. Они следили за лающими собаками и не обращали никакого внимания на нас. Широко расставив ноги для устойчивости, брат или я — да, тут уже даже мне было трудно промахнуться — выбирали птицу, целились и стреляли. Птица падала прямо в жадно раскрытую пасть. Тем временем мы снова целились, и падала еще одна птица. Гордо размахивая двумя связанными за лапки цесарками и ружьем, которое доказало свою несомненную пользу, мы не спеша брели домой через пронизанный солнцем волшебный лес нашего детства. Собаки из вежливости провожали нас немного, а потом убегали охотиться сами. Охота на цесарок стала для них к тому времени чем-то вроде детской забавы.

Кончилось тем, что, если мы уходили из дому с намерением поохотиться, или понаблюдать за животными, или просто побродить по лесу, где на десятки миль раскинулись владения зверей, никогда не видевших человека, нам приходилось перед уходом запира́ть собак, невзирая на их бурные протесты и жалобы. Если их выпускали слишком рано, они все равно бросались догонять нас. Однажды, когда мы прошли уже миль шесть в сторону гор, наслаждаясь неспешной утренней прогулкой, вдруг появились

задышающиеся, счастливые собаки и обрушили на наши руки и колени свои розовые горячие языки в полном восторге, что нашли нас. После нескольких минут радостного махания хвостами и подпрыгивания к нашим лицам они убежали так же неожиданно, как и появились, и вернулись домой только вечером.

Нас это очень встревожило, мы не знали, что они убегают одни так далеко от дома. А вдруг они пойдут к соседям да еще начнут совершать набеги на их курятники? Но мы уже упустили время, собаки стали совсем взрослые, учить их было поздно. Или их надо держать круглые сутки на цепи во дворе — а такие собаки скорее согласятся умереть, — или дать им полную волю, и будь что будет.

В письмах из дому нам с братом сообщали, что творится с собаками, и раз от разу новости становились все тревожнее. Мы с братом читали, каждый в своей школе, где нам, как предполагалось, прививали дисциплину, любовь к порядку и высокие душевные качества: «Собаки пропадали где-то всю ночь, вернулись только к полудню...»; «Джок и Билль пробыли в лесу трое суток. Они только что прибежали домой совсем без сил...»; «На этот раз собаки, видно, загнали какое-то животное и сожрали его, совсем как дикие звери, потому что дома они есть ничего не стали, только пили и пили без конца, а потом заснули, как младенцы...»; «Вчера звонил мистер Дейли, сказал, что видел Джок и Билля на холме у себя за домом, они гонялись за его стадом. Придется выдрать псов, когда вернутся, ведь если так пойдет и дальше, их просто-напросто кто-нибудь пристрелит ночью...»

Когда мы приехали из города на каникулы, собак не было дома уже почти неделю. Но они почуяли, что мы вернулись — во всяком случае, мы тешили себя этой надеждой, — и прибежали домой: в лунном свете на склоне холма появились две бегущие рядом длинные черные фигуры, возле них по земле скользили длинные черные тени, в луче фонарика глаза собак блеснули красным огнем. Поздоровались они с нами довольно бурно, но тут же убежали спать. Мы с братом убеждали себя, что собаки считают нас существами такой же породы, как они, потому что мы тоже совершаем долгие таинственные прогулки в лес, но и он и я знали, что это сентиментальный вздор, которым мы пытаемся смягчить обиду оттого, что собакам, нашим собакам, так мало до нас дела. Ночью — вернее, перед рассветом — они снова исчезли и вернулись только через неделю. Пахло от них отвратительно — наверное, охотились на скунса или дикую кошку, — забитая репьями шерсть свалаялась, в кожу впились десятки клещей. Они жадно лакали воду, но от еды отказались, из пасти у них шел тяжелый запах мяса.

Они заснули, растянувшись в тени, а мы с братом положили их тяжелые безвольные головы к себе на колени и стали выбирать из шкуры клещей, репья и колючки. На передней лапе у Билля оказался жесткий рубец, я решила, что это старый заживший шрам, но, когда я до него дотронулась, Билль заскулил во сне. Я нагнулась пониже и увидела сплетенную из травы петлю от силка, какими негры ловят птиц. К счастью, Билль сумел ее оторвать.

— Да, — сказал отец, — вот так они оба и кончат, попадут в капкан, голубчики, и конец, так им и надо, ни капли мне их не жалко!

Мы перепугались и целый день продержали собак на привязи, но они так тосковали, что мы не выдержали и снова их отвязали.

У нас с братом была привычка уничтожать все капканы, какие нам попадались. Для животных покрупнее, например для антилопы, негры пригибали к земле молодое деревце, обвязывали его тонкой бечевкой и прикрепляли петлю из толстой проволоки, которую они вынимали из изгороди. Для животных помельче они ставили силки прямо на земле — петли из тоненькой проволоки или из сплетенного в жгут древесного волокна. А в траве вокруг посевов и прудов, где разбегалась паутиная сеть птичьих и заячьих тропок, почти над каждой висела сплетенная из травы петелька. Мы тратили целые дни, уничтожая эти капканы.

Чтобы как-то развлечь собак, мы стали каждый день совершать многомильные прогулки. Мы доводили себя до полного изнеможения, а собаки как ни в чем не бывало по-прежнему бегали по ночам в лес. Тогда мы стали ездить на велосипедах, мы мчались сломя голову по разбитым проселочным дорогам, а собаки бодро трусили рядом. Мы выбивались из сил в угоду Биллю и Джок, а те, мы подозревали, прекрасно все понимают и снисходительно делают нам одолжение. Но мы решили не отступаться. Как-то раз мы увидели на опушке скелет какого-то большого животного, висящий в петле капкана на дереве — вид-

но, капкан поставили, а потом о нем забыли. Мы показали этот скелет Биллю и Джоку, мы объясняли им, что произошло, мы грозили, мы чуть не со слезами умоляли, ведь людская речь — это не то что собачья. Они обнюхали кости, тявкнули несколько раз, глядя нам в глаза, явно из вежливости, и снова убежали в лес.



В школе мы вскоре узнали, что собаки совсем одичали. Иногда они прибежали днем в усадьбу поесть или выспаться. «Им нужен не дом, а ночлежка», жаловалась мама.

И наконец судьба подстерегла их, приняв облик оленьего капкана.

Глухой ночью мы проснулись от жалобного визга и вышли к собакам во двор. Они ползли к крыльцу

на брюхе — кожа да кости, шерсть стоит дыбом, в глазах злобещий блеск. Их стали кормить, и они жадно набросились на еду — ноги едва их держали. И тут на шею Джока, влезшего мордой в миску, мы увидели разгадку — толстый проволочный канат, сплетенный из десятка отдельных жгутиков и перегрызенный у самого ошейника. Мы осмотрели пасть Билля, это была сплошная кровавая рана, вместо зубов — пеньки, как у собаки, дожившей до глубокой старости. Чтобы перегрызть петлю, нужно было много времени, наверное, много дней. Если бы проволока оказалась сплошной, Джок так бы и сдох в капкане. От смерти он спасся, но надорвал легкие и заболел — петля едва его не задушила. А Билль не мог больше есть, как раньше, теперь он жевал с трудом, как старик. Несколько недель собаки прожили дома, их будто подменили, они бегали ночами по двору и лаяли, ели вовремя.

Потом они снова стали убегать, но пропадали уже не так долго. Джока мучили легкие, он часто ложился на солнышке, тяжело и хрипло дыша, как будто хотел дать им отдых. А Билль мог есть теперь только мягкое. Как же им удавалось охотиться?

Как-то под вечер мы встретили их за много миль от дома. Сначала услышали вдалеке знакомый отчаянный лай, он приближался. По высокой пепельной траве покатились быстрая, мерно подымающаяся и опускающаяся волна, это бежала антилопа, но мы разглядели ее, только когда она была уже совсем близко, потому что антилопа была красновато-коричневая, а долина заросла розовым ковылем, который в резком, напряженном свете отсвечивает алым. Освещенная заходящим солнцем, седая трава на опушке казалась невидимой, как лучи белого света, ковыль тлел и вспыхивал, а маленькая антилопа горела красным пятном. Вдруг она резко метнулась в сторону, неужели нас заметила? Нет, это Джок ловко рассчитанным маневром выскочил наперерез ей из розовой травы, где прятался в засаде. Антилопу гнал Билль, он несся, едва касаясь лапами земли. Джок, который не умел больше быстро бегать, заставил антилопу броситься прямо ему в пасть. На наших глазах Билль взвился к горлу животного, повалил на землю и держал, пока не подбежал Джок, чтобы его прикончить, — ведь собственными своими зубами он уже никого не мог загрызть.

Мы осторожно к ним вышли, позвали их, но эти злобно рычащие звери будто и не узнали нас, только яростно сверкнули горящими глазами, раздирая антилопу. Вернее, раздирал ее Джок, и не только раздирал, а еще и подпихивал носом горячие, дымящиеся куски Биллю, который иначе остался бы голодным.

Да, теперь они могли охотиться только вдвоем, друг без друга им было не прожить.

Но прошло еще немного времени, и Джок стал возвращаться с охоты раньше, через день или два, а Билль оставался в лесу неделю или даже дольше. Дома Джок целыми днями лежал во дворе и глядел в лес, а когда прибегал Билль, он лизал ему уши и морду, как будто снова взял на себя роль его матери.

Однажды я услышала лай Билля и вышла на крыльцо. Мимо нашего дома к соседней ферме за холмом шла телефонная линия. Провода звенели и пели, как струны, а под ними далеко внизу прыгал и лаял на них Билль — он играл, как когда-то играл щенком, потому что его переполняла радость жизни. Но сейчас мне стало грустно: большая сильная собака играет одна, а ее друг смирно лежит на солнышке и с хрипом дышит больными легкими.

Только чем же Билль питался в лесу? Мышами, птичьими яйцами, ящерицами, чем-то достаточно мягким? И об этом тоже было грустно думать, особенно когда вспоминались дни былой славы двух бесстрашных охотников.

Нам стали звонить соседи: «На ферму забегал ваш Билль, съел все, что осталось у нашей собаки в миске...»; «Нам показалось, ваш Билль был голодный, мы его покормили...»; «Ваша собака, этот ваш Билль, стал ужасно худой, вам не кажется?»; «Вашего Билля видели возле нашего птичника, мне очень неприятно, но, если он станет таскать яйца, придется его...»

Породистая сука наших соседей, что жили за пятнадцать миль, принесла от Билля щенков. Хозяйева ее были ужасно недовольны: во-первых, Билль пес без родословной, и потом эта его «дурная наследственность». Щенков всех до одного уничтожили. Билль неотступно рыскал вокруг дома, несмотря на побои и на выстрелы в воздух, которыми его хотели прогнать. Соседи звонили и просили ради бога сделать что-нибудь, чтобы Билль сидел дома, им надоело держать свою суку на привязи.

Но мы ничего не могли с ним сделать. Вернее, не хотели. Конечно, когда Билль прибегал из лесу,

жадно лакал воду из чашки Джок и ложился рядом с ним, нос к носу, можно было поймать его и посадить на цепь, но мы его не трогали. «Все равно его скоро прикончат», — говорил отец. А мама снова рассказывала Джоку, какой он умный и благородный, точно и не было этих долгих счастливых лет на воле, снова хвалила его за доброту и послушание.

Я поехала навестить соседей, у которых жила подруга Билля. Ее держали привязанной на веранде. Всю мочь нам не давал покоя тоскливый дикий вой из леса, а она скулила и рвалась на цепи. Утром я вошла в знойное безмолвие леса и позвала:

— Билль! Это я, Билль!

Ни звука в ответ. Я села на склоне термитного холмика в тени и стала ждать. Скоро за деревьями показался Билль, тощий, измученный, настороженно-отчужденный, бродяга, всюду подозревающий ловушку. Он увидел меня, но остановился ярдах в двадцати, залез на термитный холм неподалеку и сел на самом солнцепеке, и мне хорошо были видны темные пятна на его шкуре. Так мы сидели и молчали, глядя друг на друга. Вдруг он закинул голову и завыл, как воют собаки на круглый шар луны, долгим, страшным, надсадным воем одиночества. Но сейчас светило солнце, было ясное, тихое утро, и лес не таил никаких тайн, а Билль исходил неутолимой тоской, обратив морду туда, где была привязана его подруга. Нам было слышно, как она скулит и гремит железной чашкой, мечась по террасе. Мне стало невыносимо тяжело, по коже поползли мурашки, волоски на руках поднялись дыбом. Я подошла к нему, села рядом на землю и обняла его за шею, как когда-то давно лунной ночью обнимала его мать Стеллу, у которой отняла щенка. Он положил морду мне на плечо и заскулил, вернее, заплакал... потом снова поднял голову и завыл.

— Билль, не нужно, мой хороший, прошу тебя, ведь ничего мы сделать не можем, ничего, милый ты мой пес...

Но он все выл и выл, потом неожиданно вскочил, как будто боль сорвала его с места, повел в мою сторону носом, точно говоря: «А, это всего лишь ты, ну что ж, прощай», — повернул свою морду старого одинокого зверя к лесу и побежал.

Через несколько дней его убили — рано утром, когда он выходил из птичника с яйцом в зубах.

Джок теперь остался один. Он целыми днями лежал на солнышке, глядя на опушку тянувшегося до самых гор леса, где он все эти годы охотился с Биллем. Он совсем состарился, ноги едва гнулись, шерсть висела клочьями, дышал он трудно и хрипло.

Ночью, когда светила полная луна, он выходил во двор и выл, и мы говорили: «О Билле скучает». Он подходил к матери, садился рядом и клал ей морду на колени, и она гладила его и говорила:

— Бедный мой старенький Джок, ты скучаешь по глупому, нехорошему Биллю?

Во сне он часто вдруг вскакивал и бежал на своих старых, негнущихся лапах по всем комнатам, обегал все пристройки и сараи во дворе, обнюхивал каждый угол и тревожно поскуливал. Потом настороженно замирал, подняв переднюю лапу, как в молодые годы, и глядел, глядел в лес и тихо повизгивал. И мы говорили:

— Наверное, ему приснилось, что он охотится с Биллем.

Ему становилось все хуже, он совсем задыхался. Мы отнесли его на руках в лес за холмом, и, пока мама гладила и ласкала его, отец приставил дуло ружья ему к затылку и выстрелил.

ДИЛАН ТОМАС



«ВОСПОМИНАНИЯ О РОЖДЕСТВЕ»

В те далекие годы, что скрылись сейчас за углом приморского городка, одно рождество было так похоже на другое и так беззвучно, кроме тех голосов, которые я слышу порой в самый последний миг перед тем, как заснуть, что я никак не могу припомнить, то ли снег шел подряд шесть дней и ночей, когда мне было двенадцать, то ли он шел двенадцать ночей и дней, когда мне было шесть, и в то же ли самое рождество треснул лёд, и катавшийся на коньках бакалейщик, словно снежный человек, сгинул в белом люке, когда сладкие пирожки доконали дядю Арнольда, и мы целый день катались с горы у моря на лучшем чайном подносе, и миссис Гриффите пожаловалась на нас, и мы запустили снежком в ее племянницу, и у меня от жара и холода так горели руки, когда я держал их у огня, что я проплакал двадцать минут, и тогда мне дали желе.

Все рождественские праздники катятся вниз с горы, к говорящему по-валлийски морю, как снежный ком, и он становится все белее, и круглее, и толще, как холодная луна, бесшабашно скользящая по небу нашей улицы. Они останавливаются у самой кромки отороченных льдом воли, в которых стынут рыбы, и я запускаю руки в снег и вытаскиваю оттуда что ни попало: ветку падуба *, дроздов, или пудинг. Потасовки, рождественские гимны, апельсины, железные свистки, пожар в передней — ба-бах рвутся хлопушки, свят-свят-свят звонят колокола, и на елке дрожат стеклянные колокольчики — и Матушку-Гусыню, и Степку-Растрепку — и, ах, пламя, опаляющее детей, и чиканье ножниц! — и Козлика Рогатого, и Черного Красавца, Маленьких женщин и мальчишек, получивших по три добавки, Алису и барсуков миссис Поттер**, перочинные ножички, плюшевых мишек, названных так в честь некоего мистера Теодора Мишки, не то их отца, не то создателя, недавно скончавшегося в Соединенных Штатах***; губные гармошки, оловянных солдатиков, мороженое и тетушку Бесси, которая в конце незабываемого дня, в конце позабытого года весь вечер напропалую — со жмурками, третьим лишним и поисками спрятанного наперстка — играла на расстроенном пианино песенки «Хлоп — и нет хорька», «Безумен в мае» и «Апельсины и лимоны».

* По традиции в английских домах в рождество вывешиваются ветки падуба и омелы (здесь и далее примеч. пер.).

** Английская художница, иллюстрировавшая многие детские книги.

*** Намек на американского президента Теодора Рузвельта, которому молва приписала любовь к плюшевым мишкам, чье имя — Тэдди — вошло в английское название игрушки.

Моя рука погружается в белый, как вата, праздничный ком с языком колокола, лежащий у кромки распевającego рождественские гимны моря, и оттуда выходит миссис Протеро с пожарниками.

Это случилось в сочельник, после полудня; в саду миссис Протеро мы с ее сыном Джимом подстерегали кошек. Шел снег. На рождество всегда шел снег: декабрь моей памяти бел, как Лапландия, хотя ему и недоставало северных оленей. Зато в кошках не было недостатка. Напялив на руки носки, мы терпеливо, хладнокровно и бессердечно поджидали кошек, чтоб обстрелять их снежками. Длинные, как ягуары, с гладкой лоснящейся шерстью и страшными усами, они с шипением и визгом, крадучись, проскальзывают через белую каменную ограду в дальнем конце сада, и мы с Джимом, охотники с рысьими глазами, звероловы в меховых шапках и мокалинах с берегов Гудзонова залива, что простирается за Эверсли-роуд, мечем в зелень их глаз наши смертоносные снежки. Хитрые кошки так и не появились, Окутанные тишиной вечных снегов — вечных с самой среды — мы, меткие стрелки Заполярья, обутые по-эскимосски, притаились так тихо, что даже не слышим сперва крика миссис Протеро из ее иглу в глубине сада. А если и слышим, то для нас это все равно что вызов, брошенный издалека нашим врагом и жертвой — соседской Полярной кошкой. Но вскоре голос раздается громче.

— Пожар! — кричит миссис Протеро и бьет в обеденный гонг. И мы бежим по саду со снежками в руках; из столовой и в самом деле валит дым, гремит гонг, и миссис Протеро, словно городской глашатай в Помпее, возвещает гибель. Это было прекрасней, чем если б все кошки Уэльса выстроились в ряд на ограде. Нагруженные снежками, мы бросились в дом и остановились в дверях окутанной дымом комнаты. Пожар был что надо; может, это горел мистер Протеро, который всегда спал здесь после обеда, прикрыв газетой лицо; но нет, он стоял посреди комнаты и разгонял дым комнатной туфлей, приговаривая:

— Чудесное рождество!

— Вызови пожарную команду! — кричала миссис Протеро, бывшая в гонг.

— Их там нет, — отвечал мистер Протеро, — сегодня же рождество.

Огня не было видно — только клубы дыма, и посреди них — мистер Протеро, размахивающий туфлей, будто пи дирижирует оркестром.

— Делайте что-нибудь, — говорит он.

И мы бросаем в дым все наши снежки — по-моему, мы не попали в мистера Протеро — и выскакиваем из дома и мчимся к телефонной будке.

— Давай вызовем полицию тоже, — говорит Джим.

— И «скорую помощь».

— И Эрни Дженкинса — он обожает пожары.

Но мы вызвали только пожарную команду, и вскоре приехала пожарная машина, три высоких человека в касках притащили в дом шланг, и мистер Протеро едва успел выскочить оттуда, как они его включили. Ни у кого не могло быть более шумного сочельника. И когда пожарники, выключив шланг, стояли в залитой водой, дымной комнате, вниз спустилась тетушка Джима, мисс Протеро, и уставилась на них. Мы с Джимом совсем притихли, поджидая, что-то она скажет. Она всегда говорила как раз то, что нужно. Поглядев на стоявших в дыму, среди золы и тающих снежков трех высоких пожарников в сверкающих касках, она сказала:

— Не хотите чего-нибудь почитать?

Вот из ярко-белого кома ушедшего рождества показался чулок с подарками — всем чулкам чулок, висевший в ногах постели, со свисавшей из него сверху рукой страшили и бубенчиками, позвякивавшими в самом носке. А в нем целая рота отважных, но не очень уж вкусных, хотя я малышом неизменно пробовал их на зуб, оловянных солдатиков с мушкетами, в алых мундирах, ремнях и гусарских киверах, которые молниеносно лишались своих ног и голов в сражениях на кухонном столе, когда оттуда была убрана чайная посуда, сладкие пирожки и кексы, в изготовлении которых я тоже принимал участие, очищая от косточек и поедая изюм; и мешочек с влажными разноцветными фигурками из мармелада; свернутый флажок, накладной нос, кондукторская фуражка и машинка для протыкания дырок в билетах, звонившая в колокольчик. Но там так никогда и не оказалось рогатки, лишь один раз, по ошибке, которой никто не мог объяснить, маленький топорик. А еще резиновый бык, а может, и конь с желтой головой и пестрыми ногами; целлулоидная утка, издававшая, если на нее нажать, совсем не кряканье, а какое-то мяукающее мычание, какое могла бы издавать честолюбивая кошка, возмнившая себя коровой; альбом для рисова-

ния, где я мог раскрасить траву, и деревья, и зверей, и море каким угодно цветом; ослепительные, небесно-голубые овечки до сих пор пасутся на красном лугу, а над ними порхают гороховые птицы с переливающимися всеми цветами радуги клювами.

Не успеешь оглянуться, как уже кончилось рождественское утро. И — гляди! — ни с того ни с сего вдруг начал подгорать пудинг. Теперь бей в гонг и вызывай пожарную команду и обожающих книги пожарных! Кому-то досталась трехпенсовая серебряная монетка с прилипшей к ней изюминкой. Этот «кто-то» неизменно был дядя Арнольд. В моей хлопушке оказались стишки:

Пусть будет в рождество нам весело с утра!
Давайте петь, плясать, кричать «ура!»!

Взрослые воздымали глаза к потолку, а тетушка Бесси, которую уже дважды напугали заводной мышью, всхлипывая у буфета, потягивала бузинную настойку. Кто-то ставил на неприбранный стол стеклянную вазу с орехами, и мой дядюшка, как всегда раз в году, говорил:

— У меня не орех, а целый дом, тащи-ка, парень, сюда домкрат — вот я его разделаю под орех.

Обед окончен.

Еще я помню, как под вечер на рождество, когда, усевшись у камина, все уверяли друг друга, что это ничто, нет, просто ничто по сравнению с тем великолепным, снежным, нарядным от ягод падуба рождеством с отменной индейкой, потрескивающим в камине огромным рождественским поленом и поцелуями под ветками омелы, когда о н и были детьми, а я, закутавшись в шарф, в школьной фуражке и перчатках, под скрип моих новеньких, блестящих ботинок выходил на улицу, в белый мир на прибрежном холме, и заходил к Джиму, Дэну и Джеку, чтобы вместе побродить по снежному безмолвию нашего городка.

Мы шагали по улицам, утопая в снегу, оставляя на исчезнувших тротуарах громадные, глубоченные следы.

— Спорим, будут думать, что тут прошли бегемоты.

— А что б ты сделал, если б увидел бегемота на Террас-роуд?

— Я бы вот так — раз! Перевалил бы его через ограду и покатил с горы, а потом почесал бы ему за ухом, и он завилал бы хвостом...

— А что б ты сделал, если б увидел двух бегемотов?..

С твердыми, как железо, боками бегемоты с ревом и грохотом, сокрушая все на своем пути, двигались нам навстречу сквозь крутящийся снег, когда мы проходили мимо дома мистера Даниэля.

— Давайте опустим мистеру Даниэлю снежок в почтовый ящик.

— Давайте напишем на снегу.

— Давайте напишем на снегу во всю лужайку: «Мистер Даниэль совсем как спаниель».

— Гляди, — говорит Джек, — а у меня пирожок со снегом.

— И какой у него вкус?

— Как у пирожка со снегом.

Или мы бродили по белому берегу.

— А рыбы видят, что идет снег?

— Они думают, что это падает небо.

Затянутое одним сплошным облаком небо безмолвно плывет к морю.

— Все старые собаки разбежались.

Летом собаки сотни разных пород и мастей с визгом носились у самой воды, лая на хребты волн, совершавших набеги на берег.

— Спорим, сенбернару сейчас бы тут понравилось.

Мы — ослепленные снежным сиянием путешественники, заблудившиеся среди северных холмов, и нам навстречу трусцой спешат огромные псы, словно одетые в меховые воротники, с закрепленными на шее фляжками бренди, заливаясь звонким лаем: «Выше! Выше!»

Мы возвращались домой по бедным, пустынным, ведущим к морю улочкам нашего городка, где не-

сколько ребяташек красными голыми пальцами копались в глубоком, исполосованном колесами снегу и посылали вдогонку нам свист и насмешки; и пока мы взбирались на гору, их голоса раздавались все тише и тише, пока совсем не слились с криками птиц у причала и сиренами пароходов там, в белой круговерти бухты.

Теперь, когда мы сидим у камина и жарим каштаны при еле мерцающем свете газового рожка, пришла пора небылиц. В долгие ночи — я не смел глянуть через плечо — гремя цепями, появлялись привидения, зажав свою голову под мышкой, и, точно совы, кричали: «У-у-у», а в укромном уголке под лестницей, где шелкает газовый счетчик, прятались дикие звери!

— Однажды, — говорит Джим, — жили-были трое мальчишек, ну вот вроде нас, и в темноте они заблудились в снегу возле часовни Вифезды, и с ними стряслось...

Это было самое жуткое происшествие, о каком я только слышал.

Помню как-то раз, за день или два до сочельника мы отправились распевать рождественские гимны; на небе не было даже самого крошечного осколочка луны, которая могла бы осветить порхающую белизну таинственных улиц. В конце одной длинной улицы был проезд, он вел к большому дому, и в тот вечер, в темноте, преисполненные страха, зажав на всякий случай по камню в руке, и слишком храбрые, чтобы вымолвить хоть слово, мы отправились по этому проезду. Проносясь над придорожными деревьями, ветер выл так, будто это хрипели в пещерах какие-то мерзкие старцы, у которых и вместо ног-то, может, были перепончатые лапы. Мы подошли к черной громаде дома.

— Что будем петь? — прошептал Дэн.

— «Слушайте вестника»? Или «Раз в год приходит рождество»?

— Нет, — сказал Джек. — Давайте «Добрый король Вацлав». Считаю до трех.

Раз, два, три — мы запели. В запорошенной снегом мгле, окутавшей дом, где, мы знали, никто не живет, наши голоса звенели тонко, как бы издалека. Мы стояли у темной двери, тесно прижавшись друг к другу.

Глядел Вацлав, добрый король,
На праздник Стефана.

И тут в наше пение вступил слабый, дряхлый голос, похожий на голос человека, который давно ни с кем не говорил; слабый, дряхлый голосок с той стороны двери; слабый, дряхлый голосок из замочной скважины. Мы остановились только у нашего дома. В передней было светло и красиво; играл граммофон; мы увидели привязанные к газовому рожку белые и красные воздушные шары; тетюшки и дядюшки сидели у камина; мне почудилось, что я слышу из кухни запахи разогретого для пас ужина. Все снова стало хорошо. Рождество сверкало над всем таким знакомым мне городом.

— Наверно, это привидение, — сказал Джим.

— А может, тролли, — сказал Дэн, который всегда читал.

— Пошли поглядим, может, там еще осталось желе, — сказал Джек.

Так мы и сделали.

УИЛЬЯМ ТРЕВОР



«ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Ежевечерне после отбоя у нас в спальне было заведено рассказывать разные истории. Каждый по очереди вносил свою лепту и на пять-шесть минут во тьме завладевал сценой. Шли в ход и просто анекдоты с бородой про то, что пьяный ответил папе римскому, и вся серия про англичанина, ирландца и шотландца на необитаемом острове. Но бывали и рассказы из жизни: случаи из недавнего прошлого, обрывки подслушанных разговоров, описания врасплох подсмотренных голых женских тел. Только Маркем упорно повторялся и по нашей дружной просьбе снова и снова рассказывал, как умерла его мать.

В те вечера, когда остальным порассказать было как-то нечего, выручал неизменно Маркем; никто не ждал от него ничего нового. Но нам того и надо было; рассказывал Маркем хорошо, и мы обожали его историю.

— Ну вот, значит. Как-то утром в воскресенье гуляли мы с отцом по Тзвисток-Хилл, и я спросил про маму. День был солнечный, начало мая, отец поглядел на небо и завел про то, какая она была красивая. Ну и вот, значит, когда мне удалось вставить слово, я спросил, как она умерла. Ну он вздохнул, значит, и велел мне подготовиться. Я сказал, что давно подготовился, и тогда он стал рассказывать, как они гостили у одних знакомых во Флоренции и как все поехали в горы охотиться. Поехали они туда на большом таком итальянском «пикапе» и настреляли птичек будь здоров. И вдруг несчастный случай, мама в луже крови, итальянцы ломают руки, причитают: «Господи, пресвятая мадонна, какой ужас!» Тут я спрашиваю: «Что же, у нее ружье, что ли, само выстрелило? Она его неправильно держала или как?» А отец говорит, да нет же, это у него ружье само выстрелило, и как чудовищно стать орудием смерти собственной жены, а я прямо по глазам его вижу, что он врет. Ну, думаю, никакой не случай! Небось убийство. Или что-то в этом роде, сами понимаете, после такого открытия не очень-то запомнишь, какие именно мысли были у тебя в голове. Почему я не сомневаюсь? Сейчас, ребята, скажу почему: потому что ровно через полгода после маминой смерти отец женился на ее сестре. На моей тепершней мачехе. И еще я вам скажу: я задумал нарезать эту парочку острым кухонным ножом. Ну не Гамлет я после этого? И мне все время, все время снится, как я натачиваю нож.

У Маркема было длинное серьезное лицо, синие, глубоко сидящие глаза и мягкие светлые и желтые, как терракота, волосы. Он всем нравился, но толком никто его не знал. Его рассказы про семью и заключительные угрозы мы не принимали всерьез; они были как-то не в образе. Слишком уж Маркем был тихий, славный, слишком обаятельный. Что-то было не так, и даже не в самой истории — верили мы в нее или

нет, — просто Маркему все это совершенно не шло. По крайней мере, сейчас мне так кажется, да и всем, с кем мне потом приходилось его вспоминать, а в то время мы не очень-то разбирались в своих ощущениях: нам ведь было только по пятнадцать лет, когда все это стряслось с Маркемом.

— Я спер хлеба в столовой, — сказал Вильямс. — Пошли в котельную, поджарим?

Он вытащил из-под полы четыре с виду черствых ломтика и две распрямленные проволоки. Маленькие красные глазки вонзились в меня, будто высматривали, что плохо лежит. Он протянул мне одну проволоку, и я ее взял, хоть прекрасно видел, что она никуда не годится. Тосты мы жарили сверху, а для этого надо поднять крышку котла и совать хлеб в железные недра, пока не дотянешься до топки. Тут необходимы ловкость и опыт, и без настоящей вилки с такой короткой проволокой затея была обречена на провал.

Уроки кончились; я только переболел гриппом и на спортивные занятия пока не ходил. У Вильямса была астма, и на поле он появлялся редко. Спорт он ненавидел и под предлогом астмы слонялся до ночи по классам или курил и читал в уборной. Его не любили за лень, противную внешность и вечное вранье. Я сказал, что пойду с ним в котельную.

— Я и джема прихватил, — сказал он, — и два кусочка масла.

Мы шли молча; Вильямс все бросал мне через плечо свой обычный вороватый взгляд. В котельной он положил хлеб на стул истопника и вытащил из-за пазухи масло и джем, завернутые в два выданных тетрадных листа. Джем был малиновый, налип на бумагу, и линейки расплылись. Увидев это, я тут же сказал, что лично я обойдусь и маслом.

Тост подгорел и вонял дымом, Вильямс ел жадно и вытирал пальцы о брючные карманы. Я чуть обгрыз свой кусок и бросил в угол. Вильямс тут же подобрал мои объедки, обтер тост и намазал остатками джема. Ел он, хрястая, а свой непомерный аппетит объяснял тем, что у него глисты.

Тут на лестнице послышались шаги, и почти сразу в дверях четко вырисовалась темная фигура. Мы сначала не поняли, кто это, и Вильямс заорал мне во весь голос:

— Вот и отлично. Вот мы и разобрались в паровом отоплении нашей школы. Эти знания нам пригодятся. Мы полезно провели время. — Фигура приблизилась, и, разглядев, что это не директор, Вильямс захихикал:

— Ух ты, Маркем, ё моё, — сказал он. — А я тебя за самого Боджера принял.

— Я покурить, — доложился Маркем и сунул каждому из нас по тощей сигарке.

— Когда я совсем вырасту и встану на ноги, — сказал Вильямс, — я пойду по юридической линии. И буду курить только самые дорогие сигары. Богатый адвокат может себе это позволить.

Мы с Маркемом сосредоточенно зажигали свои сигары и на это заявление не откликнулись.

— Может, — продолжал Вильямс, — я даже сам насобачусь скручивать листья. Женские ляжки вообще — то лучше всего подходят для этого тяжелого труда.

— Из Вильямса получится отличный адвокат, — сказал Маркем.

— Парик ему исключительно пойдет, — отозвался я.

— Ну а ты, Маркем, — спросил Вильямс, — на что думаешь пустить свои дни и годы?

— Они ведь уже сочтены. Скоро меня повесят за убийство отца.

— Может, обождешь, пока я смогу тебя защищать?

— Зачем же тебе брать такое дело? Я уже виновен. Конечно, лучше бы не умирать, но от преступления своего я же все равно не отрекусь.

Насасывая зажатую передними зубами сигару, Вильямс сказал:

— Псих ненормальный этот Маркем, а?

— Да разве я могу не вынашивать планы мщения? Ведь она мне родная мать! Ну а как бы вы, мистер Вильямс, поступили на моем месте? Отвечайте же, как?

— Эх, Маркем, я бы в петлю раньше времени не совался. Это уж извини-подвинься.

— Слабо, Вильямс, слабо.

— Зато умно. — Он пнул кусок кокса и далеко проводил его взглядом. Он сказал: — Да у Маркема кишка тонка. Треплется только.

— Хорошая сигара, — сказал Маркем. — Дай бог чтоб не последняя.

— Да, — любезно согласился Вильямс. — Шикарно подымили.

Мы молча курили. Теперь мне кажется, что именно с того-то вечера в котельной все и началось. Не попадись мне Вильямс по пути на свое мероприятие в котельной, не угости нас Маркем сигарами, и все, наверное, пошло бы иначе. Никогда бы я не подружился с Маркемом; Вильямс так бы и остался злобным ничтожеством, и не видать ему его загадочной власти; а Маркем — кто его знает — еще избег бы западни, которую сам себе расставил.

Дружба у нас с Маркемом вышла странная. Маркем больше молчал и оживлялся только, когда речь заходила про смерть его матери. И все же он был скорее веселый, чем мрачный; скорее задумчивый, чем угрюмый. Мы с ним бродили по холмам за школой, обычно не перекидываясь и десятком фраз. И все равно очень сдружились. Я выяснил, что отец Маркема с мачехой теперь живут в Кении, что Маркем видится с ними только раз в году, на летние каникулы. Пасху и рождество он проводил с бабушкой на юге.

Еще одно было странно в нашей дружбе с Маркемом — поведение Вильямса. Он буквально лез к нам. Вечно увязывался с нами гулять. Трется рядом и нашептывает:

— У Маркема кишка тонка. Маркем псих ненормальный, а?

Маркем редко отвечал. Только растерянно смотрел на Вильямса и улыбался.

Во время наших прогулок Вильямс часто просил Маркема рассказать про несчастный случай на охоте во Флоренции, а это Маркему никогда не надоедало. По-моему, Вильямс его не раздражал. Наверное, он был вообще добрей нас всех к типам вроде Вильямса. Конечно, он был добрей, чем я. Меня, честно говоря, Вильямс доводил до белого каления. Как-то один на один я сорвался и спросил его, чего ему от нас надо. Он хмыкнул и притворился, что не понял.

— Чего ты за нами таскаешься? — сказал я. — Чего лезешь к Маркему?

Вильямс оскалился:

— А мне интересно.

— Чего тебе надо, Вильямс?

Но он не стал мне объяснять. Он сказал:

— Я нездоровый элемент.

Он снова оскалился и пошел. Этот эпизод не произвел на Вильямса никакого впечатления. Он по-прежнему не давал нам проходу, что-то молол о своем юридическом будущем или делился плодами терпеливого подслушивания. Когда мы были одни, Маркем больше не повторял свою знаменитую историю, даже избегал того, что с ней связано. Я начал догадываться, что, хоть отца он и вправду ненавидит, все это одни разговоры. До меня Маркем ни с кем в жизни не дружил, и он совершенно не привык к таким отношениям. Только постепенно, очень постепенно у нас прорезались другие темы.

Но Вильямс был вечно тут как тут, будто целью задался все ту же и ту же опутывать Маркема его собственной историей. Станный, надо думать, мы являли треугольник.

В начале учебного года наш директор Боджер попотчевал нас долгой и нудной речью, перечислил новых старост и обнародовал свежие пункты школьного распорядка. Покончив со всем этим, он прилично помолчал, Потом объявил:

— В жизни каждого из нас, мальчики, бывают периоды, когда надо мобилизовать все свои силы. Когда пращи и стрелы яростной судьбы требуют от нас стойкости, какой мы в себе не подозревали. Для одного из ваших и жарищей настало это страшное время. Прошу вас всех отнестись к нему с чуткостью. Прошу вас в этой четверги помочь ему, окружить вниманием и заботой. Это испытание не только для него, но и для всех нас. Это экзамен на человечность. Это проверка наших христианских чувств. С глубочайшим прискорбием сообщая вам, мальчики, о внезапной насильственной смерти отца Ивэна Маркема вместе с супругой.

Маркем еще не приехал. Он опоздал на две недели, и каких только не ходило насчет него слухов и

догадок. Поджер и иже с ним, кажется, ничего не знали о его привычных угрозах. Ну а мы, их подопечные, усомнились в точности представленных нам фактов, что мародеры мау-мау, вооруженные ножами, ворвались на африканскую ферму Маркемов. Что-то подозрительное совпадение, верно? Вдруг Маркем в конце концов перешел от слов к делу?

— Псих ненормальный этот Маркем, а? — сказал мне Вильямс.

Приехал Маркем совсем другой. Он не улыбался. Мы, замирая, ждали новой кровавой повести, но после отбоя в спальне Маркем теперь молчал. О матери он тоже больше не рассказывал; когда же кто-нибудь выражал ему сочувствие по поводу новой утраты, он как будто не мог взять в толк, о чем речь. Он совершенно стушевался и отступил на задний план. Он подчеркнуто избегал меня, и так кончилась наша недолгая дружба. Зато с Вильямсом они стали неразлучны.

Осень стояла, помню, на редкость красивая. Сухие красные листья с утра до вечера горели под неярким солнцем. Было тепло, и после уроков я часами один топтал можжевельник на наших холмах. Я трудно схожусь с людьми, и я скучал по Маркему.

Прошло несколько недель, и уже никто не сомневался в том, что родителей Маркема убили мау-мау. В общем-то, после всех рассказов Маркема и после планов, которыми он с нами делился, нам могло бы быть страшно и неприятно жить бок о бок с таким малым. Ничего подобного. Маркем сам как умер, какой уж тут страх. Чем больше мы к нему приглядывались, тем больше убеждались, что он ни сном ни духом не замешан в убийстве. Хоть сам был на ферме и остался цел.

Я считал, что, кроме меня, никому не ясно, чем грозит сближение Маркема с Вильямсом. Я знал, на что способен Вильямс. Он все что-то ему нашептывал, грязно, воровато улыбался, так и буравил Маркема своими глазками. Я мучился и не знал, как быть.

Как-то вечером я пошел в город еще с одним мальчиком, его звали Блок. Мы решили посидеть в кафе, выпить чаю с пирожными, а если позволит обстановка, то и побаловаться запретным куревом.

— Ну и место, — заявил Блок, когда мы уселись за столик. — И чего мы сюда пришли?

— А больше тут некуда.

— Зато уж Боджер и его шатия в такую пакость не сунутся. А оказывается, наш грозный Вильямс тоже здесь с Маркемом.

Они сидели за столиком в нише. Говорил, конечно, Вильямс; он ковырял свои прыщи. Вот он взял с общей тарелки пронзительного цвета пирожное. Пирожное с виду было неаппетитное, даже несъедобное. Он обгрыз его и положил обратно на тарелку.

— И чего Маркем в нем нашел? — спросил Блок.

Я покачал головой. Блок был простая душа, но, когда он снова заговорил, оказалось, что он гораздо глубже, чем я думал. Он наклонил голову к плечу и сказал:

— Вильямс ненавидит Маркема. Это ясно, как апельсин. А Маркем его боится. Ты ведь дружил с Маркемом. В чем там дело, а?

Снова я покачал головой. Но Блок попал в точку. Эта дружба держалась на ненависти Вильямса. Маркему была необходима ненависть, что ли; и с тех пор как не стало отца, он, что ли, пробавлялся необъяснимой ненавистью Вильямса к нему самому. Сложно, конечно, но что-то такое тут, видимо, было.

— Может, мне надо что-то предпринять? — сказал я. — Вильямс отпетая дрянь. Он на все способен. Может, Вильямс знал что-то, чего мы не знали? О смерти тех двоих в Кении?

— Что же тут предпримешь? — спросил Блок и зажгёт окуроч.

— А если поговорить с Пиншоу?

Блок рассмеялся. Пиншоу был толстый немолодой преподаватель, который любил, чтоб ученики откровенничали с ним. И еще он был крупный интеллигент. Скажи Пиншоу, что мечтаешь стать писателем или актером, и наверняка будешь распивать черный кофе у него в кабинете.

— Мне часто кажется, может, мы несправедливо относимся к Пиншоу? — сказал я. — Все-таки он же добрый. И вообще, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вдруг он что-нибудь посоветует?

— Не исключено. Ты лучше знаешь Маркема. То есть ты, видно, лучше знаешь, в чем там суть. Он вроде теперь совсем никуда, а?

Я посмотрел в дальний угол, на грустное, потерянное лицо.

— Да, похоже, — сказал я.

Блок вдруг захохотал:

— Про больного попугая слышал? Батлер тебе не рассказывал?

Я сказал, кажется, нет, и он перегнулся через стол и зашептал. Под непристойный рассказ о бедствиях немощной птицы я решил как можно скорей пойти к Пиншоу.

Совсем стемнело, а мистер Пиншоу все говорил. Я хотел было под прикрытием мрака незаметно взять несколько бисквитов. Он подвинул ко мне коробку, не уловив — так, по крайней мере, я надеялся — моего маневра.

— Из вязкой тины слов, — говорил мистер Пиншоу, — из мокрого снега и града мимо летящих фраз родятся приблизительные чувства и мысли — слова вместо чувств и мыслей, вместо прелести и колдовства.

Мистер Пиншоу часто это повторял. Наверное, любимая цитата. Я допил кофе, заглотнув горькую гущу.

Я сказал:

— Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь.

— Ах, Уайлдер, — мистер Пиншоу извлек из брючного кармана большой пестрый платок и высморкался.

— Единственное спасение, — заключил я, — единственный смысл.

Мистер Пиншоу спрятал платок в карман. Он длинно чиркнул спичкой о коробок и поднес огонь к трубке.

— Любовь, — сказал он, попыхивая, — но вот какого рода любовь?

— Не пойму, сэр?

— Вы подвергаете сомнению наличие разновидностей? Прекрасно. Прекрасно.

Я сказал:

— Я хотел поговорить с вами, сэр.

— Отлично. Ну так что там у вас?..

— Строго между нами, сэр, по-моему, Вильямс оказывает на Маркема дурное влияние.

— А!

— По-моему, на Маркема тяжело подействовала смерть родителей, а Вильямс меньше всего...

— Постойте-ка, в каком же это смысле — дурное влияние? Будьте откровенны, мой друг. Прежде всего факты.

И тут я понял, что ничего у меня не получится. Зря я пошел к Пиншоу. Я не мог ему открыть, на чем основаны мои опасения. Я промолчал в надежде, что он не станет припирять меня к стенке.

— Понятно, — сказал он.

— Может, я делаю из мухи слона, сэр.

Мистер Пиншоу был, однако, другого мнения.

— Это дело серьезное, — сказал он. — И, как это ни необычно, я все же рад, что вы обратились ко мне.

Ясно, он совершенно не так меня понял. Я попытался его разубедить, но мистер Пиншоу только замахал на меня руками.

— Ни слова больше, мой друг. Предоставьте все мне. Положитесь на меня. Я переговорю как надо и с кем надо.

— Сэр, вы только поймите меня правильно...

— Да, да, да.

— Ничего тут нет серьезного, сэр. Просто мы с Маркемом раньше дружили, и я уверен, что сейчас он...

Мистер Пиншоу уже протягивал мне руку. Он улыбался.

— Вы молодец. Не отчаивайтесь. Все будет хорошо.

«Господи, — подумал я, — что я натворил!»

— Ты чего не в свои дела суешься, сволота? — шипел на меня Вильямс. — Попробуй еще наябедничать Пиншоу, так я тебя живо привлеку за клевету. С таким гадом связался, у, ты!

— Пошел ты к черту, Вильямс.

И Вильямс, с виду вполне готовый к такого рода путешествию, злобно заковылял прочь.

После этого я решил забыть про Маркема и Вильямса. В конце концов, мне-то что? Да у меня и выбора не было. Я приналег на занятия, и вот тут-то, когда я действительно забыл об этом странном союзе, меня однажды вызвали с урока к директору.

Он стоял в кабинете у окна, жуткий, чахлый и ужасно длинный. Он не обернулся, когда я вошел, и так, спиной ко мне, провел всю беседу.

— Расскажи все, что ты знаешь про Маркема и этого Вильямса, — сказал он. — Только не лги, мальчик, я почувствую ложь. Я мгновенно распознаю ложь. И не преувеличивай. Напротив, честно и ясно изложи все, что относится к делу. Будь откровенен, мальчик, так, чтоб уйти отсюда с сознанием исполненного долга.

Лгать я вовсе не собирался. Скрыть на три четверти еще не значит солгать. Я сказал:

— Вся правда, сэр, тут... — И я осекся.

Директор сказал:

— Ну, мальчик, поспешим же установить, в чем тут вся правда.

— Я ничего не могу рассказать вам, сэр.

— Ничего?

— Да, сэр. Я ничего не знаю про Маркема и Вильямса.

— Они ученики нашей школы. Это, я полагаю, вам известно? Вы с НИМИ общались. Вы говорили о них с мистером Пиншоу. Если у них предосудительные отношения, мне следует об этом знать. Запирательством ты ничего не добьешься.

— Сэр, ничего в их дружбе нет предосудительного. Я говорил с мистером Пиншоу просто потому, что мне показалось, Маркему в такое время нужен совсем другой друг.

— Очень самонадеянное умозаключение, мальчик.

— Да, сэр.

— — Зачем же в таком случае ты его себе позволяешь?

— Мне нравится Маркем, сэр.

Почему же в таком случае ты не оказал ему поддержку и лично не предостерег его от дурного влияния?

— Он не хочет иметь со мной ничего общего, сэр.

— Ты чем-нибудь обидел его?

— Нет, сэр. То есть я такого не помню, сэр.

— Да или нет, мальчик? Не оставляй трусливых лазеек.

— Нет, сэр. Не обижал я его.

— Ну-с, отчего же он не хочет с тобой разговаривать?

— Я боюсь, что не знаю, сэр.

— Ты не знаешь. И боязнь твоя тут ни при чем...

— Да, сэр.

— Ты понимаешь, мальчик, что своей ужасной безответственностью ты поставил меня в невыносимое положение? Мне вверена ваша школа. Ты лишил меня душевного покоя. Ты вынуждаешь меня идти по пути, который мне представляется далеко не лучшим. Но если в твоих робких подозрениях есть хоть малая толика правды, я обязан действовать против своей воли. Ты когда-нибудь пытался поставить себя на место директора?

— Нет, сэр.

— «Нет, сэр». То-то же. А место это весьма неудобное. Не мешает об этом помнить.

— Да, сэр.

— Подойди к моему столу, мальчик. Ты видишь звонок? Нажми на него. Пора принять то или иное решение.

Вызвали Маркема и Вильямса. Когда они вошли, директор отвернулся от окна и посмотрел на нас. Он сказал:

— Разбирается ваша дружба. Ваш обвинитель стоит тут же. Не лгите, мальчики. Я почувствую ложь. Я мгновенно распознаю ложь. Есть вам чего стыдиться?

Вильямс, не отрывая глаз от ножек директорского стола, покачал головой. Маркем ответил, что стыдиться ему нечего.

— В таком случае, на чем основана ваша дружба? Вас связывают общие интересы? О чем вы разговариваете?

— О многом, сэр, — сказал Вильямс. — О внешней и внутренней политике, о нашем будущем, сэр. И о наших успехах в учебе за текущее полугодие.

— Мы говорим только об одном, сэр, — сказал Маркем. — О смерти моего отца и мачехи.

— А вот ты, мальчик, — директор повернулся к Вильямсу, — указал более широкую тематику. Атмосфера отравлена ложью. Кому из вас прикажете верить?

— Маркем больной, сэр. Он просто не в себе. Я оказываю ему посильную помощь. Он даже не помнит, о чем мы говорим.

— Мы говорим только об одном, — повторил Маркем.

— Отчего же, мальчик, вы говорите только на одну и исключительно на одну эту тему?

— Потому что я убил отца, сэр. И мачеху.

— Маркем больной, сэр. Он...

— Выйдите из кабинета, мальчики. Маркем останется.

Идя прочь от директорской двери, мы с Вильямсом молчали. Перед тем как разойтись в разные стороны, я сказал:

— Ты же знаешь, что ничего этого не было. Ты же знаешь, что это неправда.

Вильямс смотрел в сторону. Он ответил:

— Правильно. Что же ты Боджерсу-то об этом не сказал?

— Это все ты нашептал Маркему, Вильямс.

— Маркем только треплется. Маркем псих, а?

— Ты редкая сволочь, Вильямс.

— Правильно. Я нездоровый элемент.

Он пошел своей дорогой, а я остался. Я стоял и смотрел на директорскую дверь. Красная лампочка горела над дверью, указывая, что ни под каким видом нельзя сейчас беспокоить директора. Я знал, что шторы там плотно задернуты, ибо таков был установившийся для тяжелых случаев церемониал.

Вдруг я почувствовал несуразный позыв ворваться в затененный кабинет и потребовать, чтоб меня выслушали, раз я могу наконец все сказать. Вдруг я почувствовал, что могу объяснить все гораздо лучше и убедительней самого Маркема. Все мне стало понятно: ужас внезапной догадки, пронесшейся у него в голове, когда отец рассказал ему о несчастном случае во Флоренции; игра, в которую это у него превратилось; и потом уже страхи, на которых гнусно сыграл Вильямс. Но, пока я колебался, требовательно залился звонок, и, словно подчиняясь автоматическому управлению, я привычно заторопился в класс.

В тот же вечер Маркема увезли. Его мельком видели в прихожей у директора; он стоял в пальто, вроде такой, как всегда.

— Его отправили в Дербишир, — сказал мистер Пипшоу потом уже, когда я пытался хоть что-нибудь выведать. — Бедняжка. И ведь физически такой здоровый.

Он ничего не добавил, но я и так понял, что у него на уме. И часто с тех пор я думаю про Маркема, который, по-прежнему физически здоровый, делается старше и старше в том заведении, куда его поместили, где-то в Дербишире. Думаю я и про Вильямса, который тоже делается старше, правда, в иной обстановке, — возможно, женился, развел детей и выбился в люди, как обещал.

ГРЭМ ГРИН



«ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД»

В этот вечер она, как обычно, прислушивалась к шагам отца, который перед сном обходил дом, проверяя, заперты ли окна и двери. Он был старшим клерком в экспортном агентстве Бергсона, и всякий раз, лежа в постели, она с неприязнью думала, что и дом у него точь-в-точь как контора: ведется на тех же началах, содержится в таком же дотошном порядке, словно отец — управляющий этим домом и в любой момент готов представить хозяину отчет. Он и представлял его в маленькой неоготической церкви на Парк-роуд, куда отправлялся каждое воскресенье вместе с женой и дочерьми. Они всегда занимали одну и ту же скамью, всегда приходили за пять минут до начала службы, и отец громко и фальшиво пел, держа громадный молитвенник у самых глаз. «С гимнами восторга и ликования» представлял он всевышнему свой еженедельный отчет (один домашний очаг огражден от зла и искушений), «в землю устремясь обетованную». Когда они выходили из церкви, она старательно отводила взгляд от того угла, где перед баром «Герб каменщика», чуть навеселе — «Каменщик» уже полчаса как был открыт, — всегда маячил Фред со своим обычным бесшабашно-ликующим видом.

Она прислушивалась: хлопнула задняя дверь, щелкнул шпингалет на кухонном окне, затем послышалось суетливое шарканье: отец шел проверить парадную дверь. Он запирали не только наружные двери: он запирали пустые комнаты, ванную, уборную. Он словно запирался от чего-то, существующего снаружи, что могло бы проникнуть сквозь первую линию его обороны; и поэтому, отправляясь спать, воздвигал вторую.

Она прижалась ухом к тонкой перегородке их наспех поставленного стандартного коттеджа; из соседней комнаты до нее глухо доносились голоса. Чем напряженнее она вслушивалась, тем яснее они становились, словно она поворачивала рычажок радиоприемника. Мать сказала: «...готовить на маргарине...», а отец: «...через пятнадцать лет станет куда легче». Потом заскрипела кровать, и она поняла, что в соседней комнате пожилая чета чужих ей людей, обмениваясь ласками, устраивалась на покой. Через пятнадцать лет, подумала она безрадостно, дом перейдет в собственность отца. Он внес за него первый взнос двадцать пять фунтов, а остальные выплачивал из месяца в месяц, как квартирную плату. «Конечно, — любил он говорить после сытного ужина, — я привел этот дом в порядок». И он ждал, что хоть одна из его трех женщин проследует за ним в кабинет. «Вот в этой комнате я сделал электрическую проводку. — Он семенил назад мимо маленькой уборной на первом этаже. — Здесь поставил радиатор». И наконец с чувством особого удовлетворения: «Я разбил сад». И если вечер выдавался теплый, он открывал в столовой венецианское окно, выходящее на крошечную лужайку, чистенько и аккуратно подстриженную, словно газон перед зданием колледжа. «Груда кирпичей, — говорил он, — вот чем все это было». Целых пять

лет все субботние вечера и все ясные воскресные дни ушли на полосу дерна, на окаймляющие ее клумбы и на единственную яблоньку, на которой прибавлялось по одному пунцовому безвкусу яблоку в год.

«Да, — говорил он, высматривая, куда бы вбить еще гвоздь, откуда бы выдернуть сорную травинку, — я привел этот дом в порядок. Если бы нам сейчас пришлось его продать, мы выручили бы за него много больше, чем я выплатил компании». Это было не просто чувство собственности, это было чувство добропорядочности. Сколько людей, купивших дома у компании, только разрушили их да разорили, а потом съехали.

Она стояла, прижавшись ухом к стене, — маленькая, темная, гневная, совсем еще детская фигурка. В смежной комнате все стихло, но в ушах ее продолжала звучать симфония собственничества: стучал молоток, скрипела лопата, шипел пар в радиаторе, поворачивался ключ в замочной скважине, в стенку ввинчивался болт, — негромкий будничный аккомпанемент, под который люди возводят свои крепостные стены. Она стояла, замышляя предательство.

Часы показывали четверть одиннадцатого. У нее был еще целый час на сборы. Но столько ей и не понадобится. Бояться было абсолютно нечего. Они, как всегда, сыграли втроем партию в бридж; сестра в это время подновляла платье, которое собиралась надеть завтра на ганцы. Потом она вскипятила воду и заварила чайник; потом наполнила горячей водой бутылки и, пока отец запирает двери, разложила их по кроватям. Он и не подозревал, что в доме притаился враг.

Она надела шляпу и теплое пальто — по ночам все еще было холодно. Весна в этом году поздняя, как на днях сказал отец, разглядывая почки на яблоньке. Она не стала укладывать чемодан, с чемоданом все это было бы слишком похоже на воскресные выезды к морю, на семейные поездки в Остенде, откуда всегда приходилось возвращаться домой, а ей хотелось быть такой же удивительно беспечной, как Фред. На этот раз она не вернется. Неслышно ступая, она спустилась в маленькую заставленную переднюю и отперла дверь. Наверху все было тихо. Она прикрыла дверь за собой.

Она чувствовала себя немного виноватой из-за того, что оставила незапертой наружную дверь. Но это чувство развеялось, когда она дошла до конца выложенной разноцветными камешками дорожки; она свернула на шоссе, которое за пять лет так и не успели достроить, и зашагала мимо зияющих между коттеджами пустырей, где израненные поля с угрюмым упорством заявляли о себе чахлой травой, кучами глины и одуванчиками.

Теперь она быстро шла мимо вытянувшихся в длинный ряд низеньких гаражей, напоминавших гробницы на Португальском кладбище, которые так и будут стоять там до скончания века, украшенные выцветшими фотографиями своих обитателей. Холодный ночной воздух словно окрылил ее. И когда, повернув у светофора, она очутилась на главной улице с закрытыми железными шторами, витринами, ей уже все было нипочем, совсем как новобранцу в первые месяцы войны: выбор сделан, и можно отдаться удивительному, окрыляющему, небывалому приключению.

Фред, как и обещал, ждал ее на том углу, где улица поворачивала к церкви. Они поцеловались, и она ощутила запах спиртного. И прекрасно — никто не подошел бы для этого случая лучше, чем Фред. При свете фонаря его лицо казалось радостным и беспечным, и весь он был таким же волнующим и необычным, как предстоящее им приключение. Он взял ее под руку и повел в темный тупичок. Потом оставил на минуту одну, и вдруг из черной пустоты засияли две фары, облив ее мягким светом.

— У тебя машина?! — удивленно воскликнула она и тотчас же почувствовала нервное прикосновение его руки, подталкивавшей ее к дверце.

— Да, — сказал он, — нравится? — и со скрежетом включил вторую скорость, а когда они оказались на улице с зашторенными витринами, неумело переключил на третью.

— Еще бы! — похвалила она. — Поехали куда-нибудь подальше.

— Поехали, — сказал он, наблюдая за стрелкой спидометра, дрожавшей у сорока пяти.

— Значит, ты получил работу?

— Нет работы, — ответил он. — Была, да вся вышла, исчезла, как доисторическая птица дронг. Видела пичугу? — спросил он резко, включая фары, потому что они как раз проезжали перекресток, откуда начиналась дорога в район новой застройки. Миновав кафе («Загляните к нам»), обувную лавку («Поку-

пайте туфли, которые носит ваша любимая кинозвезда») и лавку гробовщика, над которой парил большой белый ангел, освещенный неоновым светом, они вдруг очутились за городом.

— Нет, ничего не видела.

— Не видела, как она пролетала у самого ветрового стекла?

— Нет.

— Я чуть не расшиб ее, — сказал он. — Вот было бы гадко! Все равно что сбить прохожего и не остановиться. Ну как, остановимся? — спросил он, выключая свет на щитке; теперь они уже не видели, как стрелка спидометра поползла к шестидесяти.

— Как хочешь, — ответила она, упиваясь своими дерзкими мечтами.

— А ты будешь любить меня сегодня?

— Конечно, буду.

— И никогда не вернешься домой?

— Никогда, — сказала она так, словно заклинала стук молотка, звяканье задвижки, шарканье обутых в шлепанцы ног, совершающих обход дома.

Хочешь знать, куда мы едем?

— Нет.

Плоская, словно картонная, рощица въехала в зеленый свет и тут же умчалась вдаль. Кролик, показав куцый хвост, исчез за живой изгородью.

Он спросил:

— У тебя есть с собой деньги?

— Полкроны.

— Ты меня любишь?

Она ответила долгим поцелуем, вложив в него все, что ей приходилось терпеливо таить про себя, когда по воскресеньям она отворачивалась от Фреда или молчала, если за обедом при случае неодобрительно упоминали его имя. Она отдавала себя всю, прижимаясь к его сухим неподвижным губам, а машина мчалась вперед, и его нога продолжала нажимать на акселератор.

— Собачья жизнь, — сказал он.

И она повторила за ним, как эхо:

— Собачья жизнь.

— У меня в кармане виски. Хочешь глотнуть? — предложил он.

— Не хочется.

— Ну, тогда дай мне. Пробка отвинчивается. — Одной рукой он обнимал ее, другая лежала на руле. Он запрокинул голову, чтобы она влила ему немного писки прямо в рот. — Ты не возражаешь?

— Нет, конечно, что ты.

— Мне выдают десять шиллингов в неделю на карманные расходы. Много ли из них отложишь? Я и так изворачиваюсь как могу. Приходится чертовски ломать голову, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь. Полкроны на сигареты. Три с половиной шиллинга на виски. Шиллинг на кино. И еще три шиллинга остается на пиво. Беру что-то от жизни хоть раз в неделю — и точка.

Несколько капель виски скатилось ему на галстук, и маленькая кабина наполнилась запахом спиртного. Ей нравился этот запах — его запах.

— Старики все песочат меня за виски. Требуют, чтобы я нашел себе работу. Люди в их возрасте не понимают, что для таких, как я, нет работы. Нет и не будет никогда.

— Да, — сказала она, — они старые.

Как там твоя сестренка? — спросил он неожиданно.

Яркий свет сгонял с дороги испуганных птичек и зверьков.

— Собирается завтра на танцы. Интересно, где-то мы будем завтра?

На этот вопрос он не стал отвечать, у него был свой план, но он хранил его про себя.

— Как мне тут нравится!

Он сказал:

— Здесь, у дороги, есть загородный клуб. В помещении гостиницы. Мик записал меня в него. Ты знакома с Миком?

— Нет.

— Мик свойский парень. Если в клубе тебя знают, можешь пить там хоть до полуночи. Давай завернем туда. Повидаем Мика. А утром — ну там решим, когда опрокинем пару рюмочек.

— А тебе на это хватит денег?

Маленькая деревенька, уже крепко спящая за закрытыми дверьми и ставнями, проплыла мимо них под гору, словно оползень плавно уносил ее вниз, в иссеченную дорогами долину, откуда они ехали. Мелькнуло длинное серое строение — церковь в норманнском стиле, гостиница без вывески, часы, показывающие ровно одиннадцать.

Он сказал:

— Взгляни-ка на заднее сиденье. Там должен быть чемодан.

— Он заперт.

— Я забыл ключи.

— Что у тебя там?

— Так, барахлишко, — ответил он уклончиво. — Его можно будет заложить, а на вырученные деньги выпить.

— А где будем ночевать?

— В машине. Ты ведь не боишься?

— Нет, — ответила она, — нисколько. Все это так... — Но у нее не хватило слов, чтобы выразить все сразу — пронизывающий ветер, темноту, необычность, запах виски и несущийся сквозь мглу автомобиль. — Хорошо идет машина, — добавила она. — Мы, наверно, далеко отъехали. Здесь уже настоящая глушь. — Она увидела, как низко над вспаханным полем пронеслась на своих мохнатых крыльях сова.

Настоящая глушь дальше. По этой дороге до нее так скоро не доберешься. Сейчас будет гостиница.

Она вдруг поняла, что ей ничего не нужно — только бы мчаться с ним сквозь мрак и ветер. Она сказала:

— Нам обязательно заезжать в клуб? Может, лучше поедem дальше?

Он искоса поглядел на нее; он всегда соглашался с любым предложением, словно флюгер, специально созданный для того, чтобы по прихоти ветра поворачиваться в любую сторону.

— Пожалуйста, — сказал он, — как хочешь. — И больше не вспоминал о клубе.

Минутой позже мимо них промчалось длинное, ярко освещенное одноэтажное здание в стиле Тюдоров, донесся гул голосов, мелькнул плавательный бассейн, почему-то набитый сеном. И сразу же все осталось позади — пятно света, сверкнувшее и исчезнувшее за поворотом.

— Вот сейчас, по-моему, уже действительно глушь, — сказал он, — дальше клуба обычно никто не ездит. В этом поле можно пролежать до самого Судного Дня, и никто даже не хватится. Разве что кто-нибудь из крестьян... и то, если они тут пашут.

Он перестал нажимать на акселератор и постепенно сбавил скорость. Кто-то забыл запереть ворота, за которыми начиналось поле, и он въехал в них. Подпрыгивая на неровной почве, машина прошла еще немного вдоль изгороди, потом остановилась. Он выключил фары, и они остались сидеть при слабом свете, падающем со щитка приборов.

— Тихо-то как, — сказал он с какой-то неуверенностью в голосе. Они слышали, как над ними в поисках добычи пролетела сова; у изгороди, прячась, зашуршал какой-то зверек. Они выросли в городе и не знали, как назвать то, что их окружает. Крохотные почки, распускавшиеся на кустарнике, были для них безымянными.

— Что это — дубы? — кивнул он в сторону темневших в конце изгороди деревьев.

— А может, вязы? — спросила она, и они скрепили свое обоюдное невежество поцелуем. Поцелуй взволновал ее; она была готова на самое безрассудное. Но по его губам, сухим, отдающим вином, она поняла, что он против ожидания не так уж взволнован.

И чтобы подбодрить себя, она произнесла:

— Хорошо здесь, за много миль от всех, кто нас знает.

— Мик, наверное, здесь. Сидит сейчас в клубе.

— А он знает?

— Никто не знает.

Тогда она сказала:

— Все так, как мне хотелось. Где ты раздобыл машину?

Он взглянул на нее с беспечной, бесшабашной усмешкой:

— Скопил. Откладывал из десяти шиллингов.

— Нет, правда? Тебе ее дал кто-нибудь?

— Да, — ответил он и вдруг толкнул дверцу: — Давай пройдемся.

— Мы с тобой никогда не гуляли в поле. — Она взяла его под руку и сейчас же почувствовала, что каждый его нерв отзывается на ее прикосновение. И это ей особенно нравилось в нем, — никогда нельзя было угадать, что Фред предпримет в следующее мгновение. — Отец говорит, что ты сумасшедший. Ну и пусть. Мне нравится, что ты такой. Что это за трава? — спросила она, ковырнув носком землю.

— Клевер, кажется, — ответил он. — Впрочем, не знаю...

Они чувствовали себя словно в чужой стране: непонятно, что написано на вывесках, на дорожных знаках, не за что ухватиться, ни тут не удержаться, ни там, и их вместе несет в черную пустоту.

— Включи-ка фары, — сказала она. — А то еще заблудимся. Луна совсем скрылась.

Она уже не различала машины. Очевидно, они далеко отошли.

— Ничего. Не заблудимся, — сказал он. — Как-нибудь. Не бойся.

Они дошли до группы деревьев в конце изгороди. Он пригнул ветку и потрогал липкие почки:

— Что это? Бук?

— Не знаю.

Тогда он сказал:

— Если бы было теплее, мы смогли бы поспать в поле. Уж в этом-то могло бы нам повезти, хотя бы на одну сегодняшнюю ночь. Так нет, холодно, и дождь вот— вот начнется.

— Давай приедем сюда летом, — предложила она, но он не ответил.

Она чувствовала: направление ветра изменилось, и Фред уже утратил к ней всякий интерес. В кармане у него лежало что-то твердое, все время ударявшее ее в бок. Она засунула руку к нему в карман. Металлический корпус, казалось, вобрал в себя весь холод их пронизанной ветром поездки.

— Зачем ты таскаешь с собой эту штуку? — прошептала она испуганно.

Раньше она никогда не давала ему заходить слишком далеко в его безрассудствах. Когда отец говорил, что Фред сумасшедший, она всегда только самодовольно улыбалась про себя, сознавая свою власть над ним. Но сейчас, ожидая ответа, она чувствовала, что это сумасшедшие все разрастается и разрастается, становится непостижимым, необъятным: у него нет предела, оно безгранично, и у нее столько же власти над ним, как над мраком или пустотой.

— Не пугайся, — сказал он, — я не хотел, чтобы ты нашла это сегодня.

Он вдруг стал таким нежным, каким никогда не бывал раньше. Он положил руку ей на грудь, и от его пальцев заструился огромный, мягкий, безмерный поток нежности. Он сказал:

— Разве ты не понимаешь? Это не жизнь, а ад. И мы ничего не можем сделать.

Он говорил очень ласково, но никогда еще она так ясно не сознавала, как велико его безрассудство. Он поддавался любому ветру, а сейчас ветер дул с востока, и слова его хлестали ее как мокрый снег.

— У меня нет ни гроша, — говорил он. — Без денег мы не можем жить вместе. А надеяться, что я получу работу, бессмысленно. — И он повторил: — Нет работы, нет и не будет. И с каждым годом, ты же знаешь, все меньше шансов, потому что все больше ребят моложе меня.

— Но зачем, — сказала она, — было ехать...

Он стал объяснять мягко, нежно:

— Ведь мы же действительно любим друг друга. И мы не можем врозь. А сидеть и ждать, когда нам улыбнется счастье, бессмысленно. Нам даже с погодой не повезло, — сказал он, протягивая руку и как бы

проверяя, не каплет ли уже дождь. — Возьмем что можем сегодня ночью — здесь, в машине, а утром...

— Нет, нет! — крикнула она, отстраняясь. — Какой ужас! Я никогда не говорила...

— Ты ничего и не узнала бы, — сказал он ласково, но непреклонно.

Ее слова — теперь это было для нее ясно — никогда не оказывали на него настоящего влияния. Он поддавался им ровно столько же, сколько всему остальному, а сейчас, когда подул этот новый ветер, говорить с ним, спорить с ним было все равно, что кричать против ветра.

— Разумеется, в бога мы не верим, — сказал он, — ни ты, ни я, но все-таки кто его знает, а вдвоем как-то веселее. — И с удовольствием добавил: — Риск — благородное дело.

Она вспомнила, как много, много раз — больше, чем она могла бы сосчитать, — их последние ме-
дяки проваливались в щель игорного автомата.

Он обнял ее и уверенно сказал:

— Мы любим друг друга. Для нас это единственный выход. Поверь мне.

Он говорил как искусный оратор, владеющий всеми тонкостями логического доказательства. В его доводах было лишь одно слабое звено — утверждение: «Мы любим друг друга». Но, столкнувшись сейчас с его неумолимым эгоизмом, она и в этом усомнилась.

Он повторил:

— Вдвоем веселее.

Она сказала:

— Но должен же быть какой-нибудь выход...

— Почему должен?

— Иначе бы люди только это и делали всегда, везде.

— А они это и делают, — сказал он с таким торжеством, словно ему важнее было убедиться в непогрешимости своих доводов, чем найти выход, — да, найти выход, чтобы жить. — Стоит только открыть газету, — продолжал он. Он говорил шепотом, мягко, любовно, словно считал, что сами звуки его слов так нежны, что рассеют все ее страхи: — Это называется «двойное самоубийство». Так кончают очень многие.

— Я не могу. У меня не хватит мужества.

— А тебе ничего и не надо делать, — сказал он. — Я сам все сделаю.

Его спокойствие ужаснуло ее.

— Ты хочешь сказать... ты мог бы убить меня?

Да, — ответил он. — Я достаточно люблю тебя для этого. Тебе не будет больно — клянусь. — Он словно упрашивал ее сыграть с ним в какую-то глупую и неприятную ей игру. — Мы всегда будем вместе, — и тут же скептически добавил: — Конечно, если оно существует — это всегда.

Внезапно любовь Фреда показалась ей блуждающим огоньком на поверхности бездонной трясины — его беспредельной, непроходимой безответственности. Прежде он нравился ей таким, но теперь она поняла, что его безответственность не знает границ; перед нею открылась бездна.

— Послушай, — взмолилась она, — ведь мы не можем продать вещи. Вещи и чемодан.

Она знала, что он развлекается, наблюдая за ней, что он заранее знал все ее доводы и на все приготовил ответ: он только делал вид, что принимает ее всерьез.

— Что же, мы, возможно, выручим шиллингов пятнадцать, — сказал он. — День на это прожить можно — и то не слишком весело.

— Ну а вещи?

— Да, это еще какие-то деньги. Они, возможно, стоят шиллингов тридцать. Значит — три дня при условии, что мы будем жить экономно.

— Может быть, нам удастся получить работу.

— Я уже много лет пытаюсь ее получить.

— А пособие?

— Я же не рабочий; у меня нет страховки. Я всего лишь представитель правящего класса.

— А твои родители? Они же дадут нам что-нибудь.

— Но у нас, кажется, есть чувство собственного достоинства. Как по-твоему? — отпаривал он с безжалостным высокомерием.

— А этот человек, который дал тебе машину?

Тогда он сказал:

— Знаешь, был такой Кортес. Он сжег свои корабли. Так вот, я сжег свои. Я должен покончить с собой — я украл эту машину. В ближайшем же городе нас задержат. Сейчас даже вернуть ее нельзя — поздно.

Он рассмеялся. Все доводы были исчерпаны. Больше нечего было обсуждать. Она видела, что он полностью удовлетворен и вполне счастлив. В ней закипела ярость.

— Возможно, ты и должен. Но я-то не должна. Зачем мне кончать с собой? Кто дал тебе право?.. — Она вырвалась из его рук и почувствовала за своей спиной твердый, крепкий ствол живого дерева.

— Что ж, — сказал он раздраженно, — конечно, если ты хочешь жить без меня...

Она всегда восторгалась его самоуверенностью. Он и в положении безработного всегда держался высокомерно. Но теперь это даже нельзя было назвать самоуверенностью, — просто для него не существовало ничего святого.

— Можешь отправляться домой, — сказал он, — хотя я не вполне представляю себе, как ты доберешься... Я не смогу отвезти тебя назад, потому что остаюсь здесь. Завтра сможешь пойти на танцы. И потом, кажется, в городском клубе намечен турнир в вист. Счастливо оставаться, моя дорогая.

Он был безжалостен. Он словно зубами вонзался в обеспеченность, спокойствие, порядок и трепал их так, что она не могла не почувствовать что-то похожее на жалость ко всему тому, что раньше оба они так презирали. Молоток стучал в ее сердце, то тут вбивая гвоздь, то там. Она старалась придумать в ответ какую-нибудь колкость. Потому что, уж если на то пошло, и негативные добродетели — не делать никому зла, просто существовать, как будет существовать эти пятнадцать лет ее отец, — тоже заслуживали доброго слова. Но уже в следующее мгновение ее гнев остыл. Они загнали друг друга в угол. Он всегда хотел этого: темное поле, револьвер в кармане, побег и гибель. Она, менее честная, хотела вкусить от обоих миров сразу — от беспечности и от надежной любви, от опасности и от верного сердца.

Он сказал:

— Ну я пошел. Идешь?

— Нет, — сказала она.

Он помедлил. На мгновение бесшабашная отвага покинула его. Страх и отчаяние дохнули на нее из мрака.

Ей хотелось крикнуть: «Не будь дураком! Брось машину здесь. Пойдем со мной назад. Кто-нибудь довезет нас домой». Она знала, что все эти мысли уже приходили ему в голову, и он дал на них ответ: десять шиллингов в неделю, работы нет, годы уходят. А терпение — добродетель отцов. Он вдруг быстро пошел вдоль изгороди, не разбирая дороги. Споткнулся о корень. Она услышала, как он выругался: «А, черт!» Это такое обычное восклицание, прозвучавшее из темноты, наполнило ее болью и ужасом. Она закричала:

— Фред! Фред! Не делай этого! — и бросилась в другую сторону.

Она не могла остановить его и побежала — только бы не слышать. Под ее ногой хрустнула ветка — словно кто-то выстрелил. Над вспаханным полем за изгородью ухнула сова. Словно на репетиции с шумовыми эффектами. Но когда раздался настоящий выстрел, он прозвучал совсем иначе: глухой звук, словно стукнули в дверь рукой в перчатке, — и даже крика не было. Сначала она как-то просто не обратила на этот звук внимания, а позже не раз думала о том, что так и не услышала, в какой именно момент ее друг перестал существовать.

Она бежала, ничего не видя перед собой, пока не ударилась о машину. На сиденье валялся носовой платок в синюю крапинку, купленный в магазине стандартных цен. На него падал свет от щитка. Она потянулась, чтобы взять платок, но вовремя спохватилась: «Никто не должен знать, что я была здесь», — подумала она. Она выключила свет и, стараясь ступать как можно тише, пошла по клеверному полю. Предаваться сожалениям можно будет после, когда она будет в безопасности. Ей хотелось поскорее за-

хлопнуть за собой дверь, опустить щеколду, услышать, как войдет в паз шпингалет.

До гостиницы оказалось меньше десяти минут ходу по пустынной дороге. Пьяноватые голоса что-то говорили на непонятном ей языке, хотя это был тот самый язык, на котором говорил и Фред. До нее донеслось звяканье опускаемой в автомат монеты, шипенье содовой. Она вслушивалась в эти звуки как враг, замышляющий побег. Они пугали ее своей бесчувственностью: бесполезно было бы вызывать к этому эгоизму. Ему нужно было одно — удовлетворять свои желания. Он разевал на нее свою пасть.

Какой-то человек пытался завести машину, но стартер все время отказывал. Человек твердил:

— Я красный. Да-да, красный. Я верю...

Тоненькая рыжеволосая девица сидела на ступеньке и смотрела на него.

— Все ты врешь, — сказала она.

— Я либерал-консерватор.

— Не можешь ты быть либералом-консерватором.

— Ты меня любишь?

— Я люблю Джо.

— Не можешь ты любить Джо.

— Поехали домой, Мик.

Мужчина снова принялся заводить машину, и она подошла к нему с таким видом, будто только что вышла из клуба.

— Вы не подвезете меня? — попросила она.

— Пожалуйста, с наслаждением. Прошу.

— Не заводится?

— Да.

— А вы подкачали бензин?

— Это мысль.

Он поднял капот, а она включила стартер.

Полил дождь, он падал редкими, крупными, тяжелыми каплями, — такой дождь, вероятно, всегда идет на кладбищах, и мысли ее вернулись к проселочной дороге, ведущей в поле, к изгороди, к деревьям — не то дубам, не то букам, не то вязам. Она представила себе, как дождь заливает ему лицо, — в глазницах образовались лужицы, и по обеим сторонам носа струится вода, — но не находила в себе ничего, кроме радости, что ей удалось от него спастись.

— Куда вы едете? — спросила она.

— В Дивайзиз.

— Я думала, в Лондон.

— Вам, собственно, куда нужно?

— В Голдинг-парк.

Рыжеволосая девица сказала:

— Ну я пошла, Мик. Дождь льет.

— Ты не едешь?

— Пойду поищу Джо.

— Ну и скатертью дорога!

Он стремительно рванул вперед, выбираясь с маленькой стоянки, задел крылом деревянный столб, содрал краску с чужой машины.

— Это не та дорога, — предупредила она.

— Сейчас свернем. — Он дал задний ход, въехал в канаву, потом снова вырулил на дорогу. — Приятный был вечерок, — сказал он. Дождь полил сильнее, ветровое стекло совсем заплыло, «дворник» не работал, но ее спутника это нисколько не смущало. Он вел машину со скоростью сорок миль в час. Машина была старая, больше из нее и нельзя было выжать. Верх протекал.

Поверните-ка тот рычажок, — сказал он. — Послушаем музыку.

Она повернула, зазвучала танцевальная музыка.

— Гарри Рой, — сказал он. — Я его сразу узнаю. — Они катили сквозь густую сырость ночи, и вместе с ними неслись звуки страстной музыки. — А это мой приятель, один из самых закадычных, не узнаете? Питер Уизерол. Знаете Питера?

— Нет.

— Ну, Питера-то вы должны знать. Его что-то не видать последнее время. Пьет по целым неделям. Однажды ребята в самый разгар танцев послали по радио SOS: «Пропал из дома». Мы как раз сидели в машине. Ну и смеху было...

Она спросила:

— Так всегда передают... когда кого-нибудь ищут?

— Узнаю эту мелодию, — сказал он. — Это не Гарри Рой. Это Альф Коен.

Внезапно она снова спросила:

— Скажите, вы Мик, да? Вы не могли бы одолжить...

Он сразу же протрезвел.

— Сам на мели, — заявил он. — Мы с вами товарищи по несчастью. Попросите у Питера. А зачем вам, собственно, в Голдинг-парк?

— Там мой дом.

— Это надо понимать — вы там живете?

— Да, — сказала она, — осторожнее! Здесь скорость ограничена.

Он беспрекословно подчинился. Поднял ногу с акселератора и пополз на скорости в пятнадцать миль. Навстречу им нестройной вереницей поплыли фонари. Свет упал на его лицо. Он был уже стар — сорок, не меньше, — лет на десять старше Фреда. На нем был полосатый галстук, и она заметила, что обшлага рукавов обтрепаны. Он получал больше десяти шиллингов в неделю, но едва ли многим больше. Волосы у него начинали редеть.

— Высадите меня здесь, — сказала она. Он остановил машину, и она вышла. Дождь все лил. Он вышел за ней на шоссе.

— Можно мне к вам? — спросил он.

Она отрицательно покачала головой. Они уже насквозь промокли. Почтовый ящик, светофор, дороги на новой застройке остались позади.

Собачья жизнь, — сказал он ласково, не выпуская ее руки.

Дождь все барабанил по верху его дешевой машины, стекал по его лицу, за воротник, на полосатый галстук. Она не испытывала к нему ни жалости, ни влечения, только смутный страх и неприязнь. Из машины лилась страстная музыка джаз-банда Альфа Коена, и в его влажных глазах на мгновение зажегся огонек безрассудства.

— По-поехали назад, — сказал он заплетающимся языком, вяло удерживая ее руку в своей. — По-ехали куда-нибудь. За город. В Мейденхед.

Она отняла руку — он не настаивал — и пошла по недостроенному шоссе к дому номер шестьдесят четыре. Ступив на выложенную разноцветными камешками дорожку, ведущую к дому, она, казалось, обрела прочную опору под ногами. Она отворила дверь и сквозь тьму и дождь услышала, как, взяв вторую скорость, машина покатила по шоссе, но не на Мейденхед, и не на Дивайзиз, и не за город. Видно, подул другой ветер.

С верхней площадки лестницы послышался голос отца:

— Кто там?

— Это я, — ответила она и объяснила: — Мне показалось, что ты забыл заложить дверь на щеколду.

— Действительно забыл?

Нет, дверь заперта. Все в порядке, — мягко сказала она и осторожной, но твердой рукой опустила щеколду. Она подождала, когда за отцом закроется дверь. Положила руки на радиатор, погрела пальцы, — отец сам его поставил, он привел дом в «порядок». «Через пятнадцать лет, — подумала она, — дом будет наш». Она услышала, как дождь стучит по крыше, но ей уже не было страшно. Зимой отец прове-

рил каждую черепицу, дюйм за дюймом. Дождь не мог проникнуть к ним в дом. Дождь был снаружи, он барабанил по ветхому верху машины, вымывал ямы на засеянном клевером поле. Она стояла у двери, и в ней поднималось что-то похожее на отвращение, которое она всегда испытывала ко всему слабому и болезненному. «И никакой тут нет трагедии, никакой», — подумала она и почти с нежностью посмотрела на непрочную щеколду, купленную в грошовой лавчонке. Ее мог бы сорвать любой человек, но в этом доме ее поставил настоящий Человек — старший клерк агентства Бергсона.

АЛАН СИЛЛИТОУ



«ВЕЛОСИПЕД»

В ту пасху мне сровнялось пятнадцать. Сажусь я как-то ужинать, а мать мне и говорит:

— Вот и хорошо, что ты ушел из школы. Теперь можно и на работу пойти.

— Неохота мне работать, — говорю я важно.

— А все же придется, — говорит она, — не по карману мне содержать такого объедалу.

Тут я надулся, оттолкнул тарелку, будто на ней не тосты с сыром, а самые отвратительные помои:

— А я думал, что хоть передохнуть-то можно.

— И напрасно ты так думал. На работе тебе не до глупостей будет.

И тут она берет мою порцию и вываливает на тарелку Джону, младшему брату, — знает, как меня до бешенства довести. В одном моя беда — я ненаходчивый. Я бы так и расквасил физиономию братцу Джону и выхватил тарелку, да только этот недоносок сразу же все заглотал, а тут еще отец сидит у камина, прикрывшись развернутой газетой.

— Ждешь не дожدهшься, только бы выпихнуть меня на работу, — проворчал я.

Отец опустил газету и влез в разговор:

— Запомни: нет работы — нет и жратвы. Завтра же пойдешь искать работу и не возвращайся, пока

не устроишься.

Вставать пришлось рано — надо было идти на велосипедную фабрику просить работы; мне показалось, что я опять пошел в школу, — не понимаю, зачем я только вырос. Но старик у меня был настоящий работяга, и я знал — и мозгом и нутром, — что весь пошел в него. На пришкольном участке учитель, бывало, говорил: «Ты у меня самый лучший работник, Колин, и после школы ты тоже не пропадешь», — а все потому, что я битых два часа копал картошку, пока остальные бездельничали и старались наехать друг на друга машинками для стрижки газона. После-то учитель загонял эту картошку по три пенни за фунт, а мне что доставалось? Фиг с маслом. Но работать я всегда любил — вымотаешься хорошенько и здорово себя чувствуешь после такой работы. Само собой, я знал, что работать придется и что лучше всего — самая трудная, черная работа. Смотрел я как-то кино про революцию в России, там рабочие захватили власть (мой отец тоже об этом мечтает), и они выстроили всех в ряд и заставили руки показывать, а рабочие парни стали ходить вдоль ряда и смотреть, у кого какие руки. И если кто попадался с белоснежными ручками, того сразу к стенке. А если нет — то полный порядок. Так вот, если у нас тоже так получится, я-то буду в полном порядке, и это меня малость утешало, когда я топал по улице в комбинезоне вместе со всеми в полвосьмого утра. Лицо у меня, должно быть, было перекошенное: на одной половине написано любопытство и интерес, а другая скуksилась от жалости к самому себе, так что соседка, заглянув спереди в мой циферблат, расхохоталась, распялив рот до ушей, — чтоб ей в горле провертели такую же дыру! — и заорала: «Не дрейфь, Колин, не так страшен черт, как его малюют!»

От ворот дежурный повел меня в токарный цех. Не успел я войти, как шум, словно кулак в боксерской перчатке, двинул меня по черепу. Только я не подал виду и пошел дальше, хотя этот скрежет вгрызался мне в самые кишки, будто хотел вывернуть их наружу и пустить на подтяжки. Дежурный сдал меня мастеру, тот сплавил наладчику, а наладчик спихнул меня еще какому-то парню — можно было подумать, что я жгу им руки, как краденый бумажник.

Парень повел меня к стенному шкафу, открыл его и сунул мне метелку.

— Подметешь в этом проходе, — сказал он. — А я займусь вон тем.

Мой проход был куда шире, но я возражать не стал.

— Бернارد. — сказал он, протягивая руку. — Это буду я. На той неделе перехожу на станок, сверловщиком.

— И долго тебе пришлось тут мести? — Надо же било узнать, надолго ли, а то меня и так уже тоска взяла.

— Три месяца. Всех новичков сначала ставят на уборку, чтобы успели пообтереться.

Бернارد был маленький и тощий, постарше меня. Мы с ним сразу сошлись. У него были блестящие круглые глаза и темные курчавые волосы, и язык у него был привешен неплохо, как будто он и до сих пор учится в школе. Он вечно отлынивал от работы, и я считал, что он очень умный и ловкий, может, он стал таким потому, что отец с матерью у него умерли, когда ему было всего три года. Воспитала его тетушка-астматичка, она его баловала и терпела любые его выходки — он мне все потом рассказал, когда мы пили чай в обеденный перерыв. «Теперь-то я тихий, комар носу не подточит», — сказал он, подмигивая. Я как-то не понял, к чему это он говорит, видимо, решил, что после всех рассказов о том, что он вытворял, я с ним и водиться бы не стал. Но, как бы то ни было, вскорости мы с ним стали приятелями.

Болтали мы с ним как-то раз, и Бернارد сказал, что больше всего на свете ему хочется купить проигрыватель и побольше пластинок — особенно нью-орлеанских блюзов. Он давно копил деньги и сколотил уже десять фунтов.

— Ну а я, — говорю, — хочу велосипед. Буду ездить по выходным до самого Трента. В комиссионке на Аркрайт-стрит продаются приличные велосипеды, хоть и подержанные.

Тут опять пришлось идти подметать. По правде говоря, я всегда мечтал о велосипеде. Обожаю скорость. Я целился на мопед марки «Малькольм Кэмпбелл», но пока мне стоило бы и простой двухколесный. Как-то раз я одолжил такой велосипедик у своего двоюродного брата и так шуранул под гору, что обошел автобус. Часто мне приходило в голову, что стащить велосипед ничего не стоит: торчишь у витрины магазина, дожидаясь, чтобы какой-нибудь парень оставил свой велосипед и зашел внутрь,

тогда ты суешься впереди него и спрашиваешь какой-нибудь товар, о котором они и не слыхивали; потом выходишь, посвистывая, берешь велосипед и даешь ходу, пока владелец торчит в магазине. Я часами обдумывал это дело: лечу на нем домой, перекрашиваю, меняю номера, переворачиваю руль, меняю педали, выкручиваю лампочки и вставляю другие... Нет, не пойдет, решил я, надо честно копить на велосипед, раз уж меня вытурили на работу, раз уж не везет.

А на работе оказалось веселее, чем в школе. Вкалывал я на совесть, да и с ребятами подружился, — любил я потрепаться о том, какая у нас вшивая зарплата и как хозяева сосут из нас кровь, — ясно, что на меня обращали внимание. Я им рассказал, как мой старик говорит: «Если у тебя разболится голова, когда ты дома сидишь, — завари чайку покрепче. А если на работе — даешь забастовку!» Смеху было!

Бернард уже получил свой станок, и раз как-то в пятницу я стоял и ждал — надо было вывезти стружку.

— Ты что, все копишь на велосипед? — спросил он, смахивая стальную пыль щеткой.

— А как же? Только эта волынка надолго. Они там по пять фунтов дерут, в этой коммиссионке. Зато с гарантией.

Он возился еще несколько минут с таким видом, будто собирался преподнести мне приятный сюрприз или подарок на день рождения, а потом и говорит, не глядя на меня:

— А я собираюсь продать свой велосипед.

— А у тебя разве есть?

— Видишь ли, — говорит, и на лице у него такое выражение: мало ли чего ты еще не знаешь, — на работу я езжу автобусом — меньше хлопот. — Потом сказал уже дружески, доверительно: — Тетушка его мне подарила на прошлое рождество. Но мне-то теперь нужен проигрыватель.

У меня сердце так и запрыгало. Денег-то у меня не хватит, это точно, но все же:

— А сколько ты за него возьмешь?

Он улыбнулся:

— Тут дело не в цене, а в том, сколько мне не хватает на проигрыватель и пару пластинок.

Я увидел долину Трента, с вершины Карлтон-хилла она была как на ладони — поля и деревеньки, и река, будто белый шарф, упавший с шеи великана.

— Ладно, сколько тебе нужно?

Он еще поломался, как будто подсчитывал в уме.

— Пятьдесят шиллингов.

А у меня было всего-навсего два фунта — так что великан схватил свой шарфик и был таков. Но тут Бернард сразу решил покончить с этим делом:

— Знаешь, я мелочиться не собираюсь, отдам за два фунта пять. Пять шиллингов можешь занять.

— Идет, — сказал я, и Бернард пожал мне руку, словно он солдат, что уходит на фронт.

— Заметано. Тащи деньги, а я завтра прикачу на велосипеде.

Когда я пришел с работы, отец уже был дома — наливал чайник над кухонной раковиной. По-моему, он жить не может, если у него не поставлен чайник.

— Па, а что ты будешь делать, если вдруг настанет конец света? — спросил я его как-то, когда он был в хорошем настроении.

— Заварю чайку и буду смотреть, — сказал он.

Он налил мне чашку чаю.

— Па, подкинь пятерку до пятницы.

Он накрыл чайник стеганой крышкой.

— А тебе зачем понадобились деньги?

Я ему сказал.

— У кого покупаешь?

— У приятеля на работе.

— А велосипед хороший?

— Пока не видал. Он завтра на нем приедет.

Бернард приехал на полчаса позже, так что я не видел велосипед до самого обеда. Мне все чудилось, что он заболел и вовсе не приедет, как вдруг вижу — стоит у дверей, нагнулся и снимает зажимы. И тут я понял, что он приехал на своем — нет, на моем велосипеде. Бернард был какой-то бледный, бледнее обычного, как будто всю ночь проболтался на канале с какой-нибудь девчонкой и она натянула ему нос. В обед я с ним расплатился.

— Расписочка не нужна? — спросил он, ухмыляясь. Но мне было некогда дурачиться. Я немного попробовал велосипед во дворе завода, а потом поехал домой.

Три вечера подряд — было уже почти лето — я уезжал за город, миль за двенадцать, там воздух был свежий и пахивал коровьим навозом, даже земля там была другого цвета, такой простор кругом, и ветер на просторе — не то что на городских улицах. Красота! Я чувствовал, что начинается новая жизнь, как будто я до сих пор был привязан к дому за ногу веревкой длиной в целую милю. Я несся по дороге и прикидывал, сколько миль я сумею проехать за день, чтобы добраться до Скегнесса. Если же крутить педали без передышки целых пятнадцать часов подряд — а там пусть хоть легкие лопнут, — можно попасть и в Лондон, где я никогда еще не бывал. Такое было чувство, как будто перепиливаешь решетку в тюрьме. И велосипед оказался в порядке, не новый, конечно, но он мог поспорить с гоночным, и фонари были на месте, и насос работал, и сумка при седле. Я думал, Бернард свалил дурака, что отдал его по дешевке, но, видно, раз парню приспичило достать проигрыватель с пластинками, ему на все наплевать. «Такой и мать родную продаст», — думал я, мчась с бешеной скоростью вниз с холма и виляя среди машин, чтоб дух захватило.

— Ну как, хорошая штука — собственный велосипед? — спросил Бернард, изо всех сил хлопая меня по спине; вид у него был веселый, но какой-то странный — с друзьями так не шутят.

— Тебе лучше знать, — ответил я. — Вроде все в порядке, и шины целые, верно?

Он поглядел на меня обиженно:

— Не нравится — можешь отдать обратно. Деньги я тебе верну.

— А мне они ни к чему, — сказал я. Мне легче было отдать свою правую руку, чем расстаться с велосипедом, и он это знал. — Проигрыватель купил?

Битых полчаса он мне рассказывал про этот проигрыватель. Сколько там у него разных кнопок и дисков — можно было подумать, что он рассказывает про космический корабль. Но мы оба были довольны, а это самое главное.

В ту же субботу я заехал в парикмахерскую — раз в месяц я там стригусь, — а когда вышел, то увидел, что какой-то тип уже влез на мой велосипед и собирается отчалить. Я вцепился ему в плечо, и мой кулак оказался у него под носом, как красный свет — знак опасности.

— А ну слазь! — рявкнул я. Меня так и подмывало всыпать этому нахальному ворюге.

Он обернулся. Странный какой-то вор, невольно подумал я; с виду вполне приличный малый, лет под сорок, в очках, ботинки начищены, ростом поменьше меня и притом с усами. Но ведь этот проклятый очкарик собирался стянуть мой велосипед!

— Черта лысого я слезу, — сказал он, да так спокойно, что мне подумалось — он какой-то чокнутый. — И кстати, это мой велосипед.

— Катись ты отсюда... — выругался я. — А то как врежу!

Какие-то зеваки стали останавливаться. Этот тип ничуть не волновался — теперь-то мне понятно почему. Он окликнул какую-то женщину: «Миссис, будьте добры, дойдите до перекрестка и попросите сюда полисмана. Велосипед мой, и этот щенок стащил его».

Для своих лет я довольно сильный. «Ах ты!» — завопил я да как потяну его с седла — велосипед с грохотом свалился на мостовую. Я поднял его и едва не уехал, но этот тип ухватил меня поперек живота, не тащить же мне его на себе в гору — сил не хватило бы, да я и не хотел.

— Надо же, украсть у рабочего человека велосипед! — подал голос какой-то бездельник из тех, что собрались поглазеть. — Передушить бы их всех до единого.

Но не тут-то было. Подоспел полицейский, и вот уже этот тип размахивает бумажником, показывает квитанцию с номером велосипеда: доказательство верное. Но я все еще думал, что он ошибается. «В

участке расскажешь», — сказал мне полисмен.

Не знаю для чего, — наверное, я все же ненормальный, — я там гнул свое, и все: нашел, мол, велосипед в углу двора и ехал сдавать его в участок, но сначала зашел постричься. По-моему, дежурный мне почти поверил, потому что тот малый знал с точностью до минуты, когда у него стянули велосипед, а у меня на это время оказалось алиби лучше не надо: в таблице было пробито время прихода на работу. Но я-то знал, какая гадина не работала в то время.

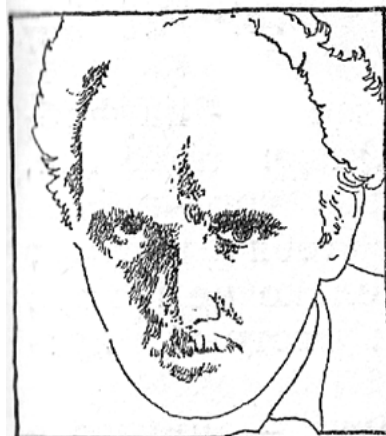
Но раз у меня все-таки оказался краденый велосипед, назначили мне срок условно — он еще не кончился. А этого Бернарда я возненавидел люто. Со мной, со своим другом, сыграть такую шутку! Да только, на его счастье, легавых я ненавидел еще больше — ни за что бы не раскололся, даже пса безродного и то не продал бы. Меня отец в два счета прикончил бы, хоть я и без него знал, что помогать легавым не след.

Слава богу, что я успел эту историю сочинить, хотя порой мне все же кажется, что я вел себя как идиот, — нечего было скрывать, как попал ко мне этот велосипед.

Но одно я знаю точно: буду ждать, когда Бернард выйдет из тюрьмы. Взяли его на следующий же день после того, как я влип с велосипедом, — он обчистил тетушкин газовый счетчик: деньги на пластинки понадобились. А тетка уже была по горло сыта его штучками, вот и решила, что маленькая отсидка ему не повредит, а может, и на пользу пойдет. Мне надо свести с ним счеты, и не пустячные — он должен мне сорок пять шиллингов. И мне наплевать, откуда он их возьмет — пусть идет и грабит другие счетчики, но денежки я из него вытрясу, вытрясу как пить дать. Я его в порошок сотру.

А иногда меня смех разбирает. Ведь если у нас когда-нибудь будет революция и всех выстроят в ряд, руки-то у Бернарда будут беленькие, потому что он отпетый лоботряс, подонок и вор, — погляжу я тогда, как он выкрутится, потому что мне своих рук стыдиться не придется, будьте уверены. Да и как знать — может, я окажусь с теми парнями, которые будут наводить порядок.

БИЛЛ НОУТОН



«СЕСТРА ТОМА»

Однажды дождливым будничным утром, когда мне было пятнадцать лет, я надел свой старенький выходной костюм и отправился в Болтон, на улицу Монкриф, чтоб поступить матросом в военный флот. Уходя, я поцеловал плачущую маму, но ее слезы расстроили и меня — так что, шагая в толпе рабочих, спешивших попасть на текстильные фабрики до гудка первой смены в семь сорок пять, я и сам с трудом удерживался от слез.

Когда я пришел на вербовочный пункт, седой офицер в темно-синей шинели выписал мне бесплатный билет до Манчестера, где работала военно-медицинская комиссия. Всего нас собралось там девять человек, и остальные парни были старше меня. Но семерых врачи сразу забраковали, и, когда они ушли, нас осталось двое. Я думал, что комиссия меня пропустила, но один врач все слушал мое сердце. Я здорово нервничал, и оно колотилось, как будто я только что взбежал по лестнице. Через несколько минут врач мне сказал:

— Приходи, сынок, через год, когда станешь поспокойней.

Меня забраковали, и мне было стыдно. Что я скажу теперь своим друзьям? Я погулял по городу и вскоре проголодался, но не решился куда-нибудь зайти и поесть: до этого я был в кафе только раз, да и то не один, а со взрослыми — на поминках. Окончательно расстроенный, я уехал домой.

И работы у меня теперь тоже не было: перед отъездом я ушел из прядильной мастерской — думал, удастся поступить во флот. А с работой в те времена было очень трудно: текстильные фабрики сокращали производство. Но один наш парень — его звали Том Чидл — надоумил меня, куда обратиться.

— Поезжай к Хилтону, — сказал он мне, — на фабрику по химической обработке пряжи. Она черт те где, но работа там есть: этот Хилтон вечно кого-нибудь увольняет. Если ты им понравишься, тебя возьмут и заставят вкалывать с утра до ночи. Только не говори им, что ты католик: Хилтон методист и местный проповедник.

Я поехал и не сказал им, что я католик — ничего я им не сказал, — и они меня взяли. Работа на фабрике была двухсменная, и первая смена заступала в шесть, и на завтра я должен был выйти в утро. Я чувствовал себя взволнованным и счастливым. Никто из моих знакомых там не работал, и я как бы заново начинал жизнь.

На другой день я встал в полпятого и в шестом часу уже выходил из дому — мама поцеловала меня на прощание и немного всплакнула. Я люблю темные предрассветные улицы. В это время прохожих почти нет, и, главное, еще спят девчонки-текстильщицы, а то, бывает, ты идешь на работу, а они тебе прямо в лицо хихикают — сущее наказание с этими девчонками!

В огромном красильно-пропиточном цехе с высоким, теряющимся в пелене пара потолком и всегда чуть сыроватым бетонным полом стояло восемь роликовых машин, в которые загружают очищенную пряжу, и она, пропитавшись раствором каустика, автоматически, на роликах, отжимается и вытягивается, превращаясь в мерсеризованную, или, попросту, фильдекосовую.

Мне надо было выучиться управлять такой машиной, распутывать мотки высушенной пряжи, аккуратно загружать их в особый ковш, подающий подготовленные мотки на машину, и снимать с роликов мерсеризованную пряжу. Мастер цеха Элберт по кличке Нуда был спокойным человеком лет под пятьдесят, с доброй улыбкой и синими глазами.

Наши ребята всегда над ним потешались. Не то чтобы в глаза, но так, что он слышал. Они частенько заводили похабные разговоры — просто чтоб посмотреть, как он качает головой. Во время перерыва — единственного за смену, он длился с половины девятого до девяти — мы с облегчением снимали рабочие ботинки и давали ногам немного отдохнуть, потому что у большинства ребят-машинистов была разъедена кожа на пальцах: капли каустика просачивались даже сквозь ботинки. И вот мы обрывали полы халатов и оборачивали ноги, чтоб уберечь их от каустика. Поэтому к девяти, когда кончался перерыв, мы не успевали управиться с завтраком. В четверть десятого появлялся Элберт, вынимал часы и недовольно спрашивал:

— А в котором часу вы начали завтракать?

Он давал нам брезент, чтоб обматывать ноги, нередко помогал налаживать машины — в общем, облегчал нашу жизнь как мог. Иногда часа за два до конца смены он спрашивал, не хотим ли мы поработать вечером. Желаящие работали до десяти часов. За это им давали даровой обед, даровой ужин и платили сверхурочные. И ребята обычно не отказывались остаться. Но Элберт не любил просить нас об этом.

В то время мне, как и остальным ребятам, Элберт казался старым занудой. И только теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он был хорошим человеком. Я думаю о нем чаще, чем о ком-нибудь другом, но сестра Тома мне вспоминается еще чаще. Сестру Тома я никогда не забуду.

Мы с Томом обслуживали соседние машины. Стоя плечом к плечу у сортировочных столов, мы разбирали влажные мотки пряжи, развешивали на специальных крючьях для просушки, а высохшие расправляли и загружали в ковши, или, как говорят текстильщики, противни, подающие подготовленную пряжу на машины.

Том казался мне немного странным. Я люблю поговорить обстоятельно и задушевно — о жизни, о девчонках, ну и всякое такое, а Том, он вечно витал в облаках. Только я, бывало, о чем-нибудь разговариваю, и вдруг его носатое веснушчатое лицо — точь-в-точь как у клоуна — расплывается улыбкой, и он начинает толковать о своем — сразу видно, что он меня не слушал.

— Пичужки-то, а? — сказал он раз вечером. — Эх, хорошо бы стать воробьем! Сядишься ты, к примеру, на карниз дома и делаешь вид, что нечаянно сорвался. Падаешь камнем, как будто ты мертвый, а у народа внизу уже глаза мокрые, так им тебя жалко, а ты вдруг — р-р-раз! — раскрыл крылья, только тебя и видели. — Потом он посмотрел на меня и говорит: — А ты никогда не хотел быть птицей?

— Оно бы, конечно, неплохо, — говорю. — Да ведь высоко залетишь — того гляди упадешь.

— А, что с тобой толковать, — сказал Том.

Красильщики и отбельщики уходили в шесть, а Элберт чуть задерживался — часов до семи.

И потом мы, восемь ребят-машинистов да Похабник Харви с отжимной центрифуги, оставались одни, сами по себе. Правда, было наперед известно, сколько пряжи мы должны обработать: машина выдавала по восемь фунтов каждые пять минут, — отлынивать не приходилось.

Оставшись одни, мы горланили песни. А то Похабник Харви обернется от центрифуги, подопрет языком верхнюю вставную челюсть, приспустит ее на нижние зубы и орет:

— Эй, парни, кто меня поцелует?

Мы его, бывало, материм на все корки, а он и рад, знай себе ухмыляется. А потом вдруг затянет «Немецкого часовщика» или другую похабную песню: он их знал видимо-невидимо.



К девяти мы уставали, и песни прекращались. В это время мне удалось побеседовать с Томом, и не о всякой ерунде вроде птиц, а серьезно: о жизни, о себе, о всяких важных вещах.

А однажды вечером, примерно в полдесятого, — мы заступили на смену в шесть часов утра, и силь-

но приустиали, и хотели есть, и придумывали, чего бы мы сейчас поели, — Том неожиданно посерьезнел и говорит:

— Попробовать бы тебе яблочный пирог нашей Мэри!

Он так это сказал, что я здорово заинтересовался: в его хриплом голосе вдруг зазвучала нежность.

— Вашей кого? — спросил я у Тома, стараясь сообразить, о ком он говорит.

— Нашей Мэри, — ответил Том. — Она моя сестренка.

— А я, — говорю, — и не знал, что у тебя есть сестренка.

— Да я, — говорит, — никому здесь про нее не рассказывал. У них ведь одна похабщина на уме. Стал бы ты рассказывать про свою сестру при Похабнике Харви?

— Не стал бы, — говорю.

Том как-то особенно рассказывал про Мэри, и мне очень захотелось узнать о ней побольше. Том сказал, что она работает в аптеке и что скоро ей исполнится семнадцать лет.

— Когда она утром идет на работу, — рассказывал Том, — ну просто загляденье. У ней сшитый на заказ темно-синий костюм.

— Какой? — серьезно переспросил я Тома. Я прекрасно слышал, что он сказал, но мне хотелось услышать еще раз.

— Сшитый на заказ темно-синий костюм. И белая блузка с серебряной брошкой. А в дождь Мэри надевает плащ, — рассказывал Том, — он в талию и с поясом. Но если ты думаешь, что Мэри щеголиха, — выбрось из головы. Тут не в этом дело. Просто она знает, как быть красивой.

С тех пор, приходя поутру на работу, я хотел одного: дожидаться вечера, чтобы послушать рассказы про Мэри. Обычно Том рассказывал о ней полчаса, а в иные вечера, случалось, и дольше, но иногда и во все о ней не упоминал. Если Харви пел свои похабные песни, Том никогда не заговаривал про Мэри. И если подходил кто-нибудь из ребят, Том моментально обрывал рассказ. А я уже только и думал что о Мэри.

В выходные я с нетерпением дожидался понедельника, чтоб услышать, как Мэри провела время. Изредка я и сам про нее расспрашивал, но знал, что не должен особенно зарываться.

— Какие у нее волосы? Никогда не замечал. А вот после мытья они так и блестят. Иногда она разрешает мне их вытирать, а сколько раз я их ей причесывал! Они мягкие-мягкие, ну вроде как шелковые.

Немного поговорив, мы бежали к машинам. И мне даже нравились такие перерывы — получалось, что я вроде не только слушаю. Потому что, отлучаясь на минуту к машине, я обдумывал то, что узнал о Мэри. В один из вечеров Том меня огорошил:

— Вчера я рассказывал о тебе нашей Мэри. И она меня расспрашивала, как, мол, ты выглядишь, да что за человек, и всякое такое. Ну я ей и выложил все как есть. Так знаешь, что она мне сказала?

Мне чуть плохо не сделалось, когда я услышал, что Том толковал обо мне с Мэри.

— Так что же она сказала? — спросил я Тома.

— Она мне сказала: «Послушай, Том, ты замолвишь за меня словечко перед Биллом?»

Я ушам своим не поверил. Ведь ни разу в жизни — ни разу! — ни одно мое желание не исполнилось, а тут я ни о чем и мечтать-то не смел, и вдруг мне такой немыслимый подарок, хотя я никого ни о чем не просил. Мне хотелось как-нибудь отблагодарить Тома. Ну и, уж конечно, счастливей меня не было ни одного человека на свете!

Но, сортируя пряжу, я глянул на свои руки. От каустика кожа была сухая и сморщенная. В гладкой поверхности сортировочного стола смутно отражалось мое лицо, и я вспомнил, какое оно прыщавое и бледное. Потом мне вспомнился выходной костюм, который висел в моей спальне за дверью, — брюки лоснятся, пиджак узковат, руки чуть не по локоть вылезают из рукавов. Я понял — мне нечего и думать о Мэри. И не было человека несчастней меня.

Однако вечером, когда я лег спать, все это показалось мне не таким уж страшным. На деньги, полученные за сверхурочную работу, я смогу заказать себе хороший костюм — из тех, что обходятся в два с половиной фунта. Мама поможет мне купить башмаки. А если смазывать руки оливковым маслом, они отойдут и будут выглядеть нормально.

На другое утро я сказал маме:

— Мам, мне ведь нужен новый костюм?

— Что ж, пожалуй, — ответила мама.

— Но мне не хочется покупать готовый. Мне бы настоящий, который шьют на заказ. Ты не подкинешь мне немного денег?

— Ну что ж, — спокойно сказала мама, — фунт-полтора у меня найдется.

Я поцеловал ее — золотая у меня мама.

— Ой, мам, большущее тебе спасибо, — говорю, — тогда я закажу его в субботу вечером.

Я взял сумку, в которой ношу свой завтрак, и перед уходом хорошенько разглядел себя в зеркале. В общем — то, не так уж плохо я и выглядел.

Вечером Том рассказывал мне про Мэри:

В субботу Мэри собиралась на танцы, а наших дома не было — только мы с ней вдвоем. Она пошла мыться, а я сидел в гостиной. И наверно, незаметно задремал у камина. Потому что потом я вдруг открыл глаза, а она уже собралась и стоит передо мной. С прической, в своем черном шелковом платье, ну и все такое — сам понимаешь. И она меня спрашивает: «Как я выгляжу? Ничего?» — «Неплохо, — отвечаю. — Вот бы Билл тебя увидел». — «Да и мне, — говорит, — это было бы приятно». Знаешь, Билл, ты бы наверняка в нее влюбился. Я ее брат, а и то почти влюбился. И она, конечно, немного надушилась, — знаешь, бывает, ты едешь в трамвае, и рядом сядет шикарная дама, и она надушена шикарными духами, вот и от нашей Мэри так же пахнет.

Мы разошлись, чтоб загрузить противни, а потом вернулись к сортировочным столам.

— Она накинула пальто и присела рядом со мной. И тут я слышу, подъезжает машина и останавливается прямо у нашей двери. И гудит. «Кто это, — спрашиваю, — такой?» — «Да просто знакомый, — говорит мне Мэри, — ты не выходи, пускай подождет». И вот она сидит себе спокойненько на стуле, наша-то Мэри, а вставать и не думает, чтобы мне на месте провалиться, если вру. Мэри не вызовешь автомобильным гудком. Машина, значит, стоит, мотор работает — представляешь, сколько бензина сгорело, и все впустую, я еле вытерпел. Пришлось этому парню вылезти из машины — он поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Я говорю: «Поцелуй меня перед уходом, ладно?» — и она чмокнула меня в нос — она всегда проказничает, — так он у меня потом целую ночь щекотался.

Через несколько дней Том заболел гриппом. Пока он лежал, я получил свой костюм. У меня такого сроду никогда еще не было. Я казался в нем старше, и солидней, и крепче. Иногда перед сном я его примерял. К груди я прикладывал бумажную салфетку, будто на мне шикарная белая рубашка, а потом, держа в каждой руке по свечке, подходил к зеркалу и внимательно себя разглядывал. Я разучивал новые выражения лица — серьезные и улыбочивые — и говорил шикарным голосом: «Как поживаете, Мэри? Рад с вами познакомиться. Том иногда мне о вас рассказывал».

Том вышел на работу в понедельник. Весь этот день я думал только о Мэри. Мне хотелось поговорить о ней прямо с утра. А вместо этого я слушал его болтовню, которая нисколько меня не интересовала. Я надеялся, что он скажет хоть словечко про Мэри, но он не упоминал о ней до самого вечера.

Вечером ребята горланили песни, потом, как обычно, настало затишье, когда слышится только жужжание роликов, да лязг рычагов, разводящих валы, да стук подошв по бетонному полу.

Часам к девяти мне стало невмоготу, а Том ни словом не обмолвился о Мэри. Я не решался расспросить его о сестре: он не любил, когда я начинал о ней разговор, так что могло бы получиться еще хуже. Уж чего — чего я только не делал: угощал Тома сигаретами, слушал его трепотню, старательно отвечал на его дурацкие вопросы, потом вообще перестал с ним разговаривать, но он ни словечка не проронил про Мэри.

И вот, когда времени почти не осталось — было уже, кажется, без чего-то десять — и все мои старания ни к чему не привели, я не утерпел и сам спросил Тома, стараясь, чтоб мой голос прозвучал естественно:

— Слушай, Том, а как там Мэри?

В это время машины закончили цикл, и мы побежали загружать противни.

— Кто? — спросил Том, вернувшись к столу.

— Ну как кто? Мэри, твоя сестра.

Том медленно вынул изо рта окурок, бросил его на влажный бетонный пол, затоптал ногой и неторопливо сказал:

— У меня нет сестры.

Сначала я не понял. Это было так неожиданно, что прозвучало какой-то дурацкой бессмыслицей. Но почти что сразу — так всегда бывает, когда столкнешься с настоящей правдой, — я почувствовал, что больше спрашивать не о чем. И все же спросил:

— Ты что, спятил?

— Нет у меня никаких сестер, — сказал он.

Я остолбенел. Я боялся, что он поймет, насколько все это для меня важно. Моя машина лязгнула подъемными рычагами, вынимая из поддона мерсеризованную пряжу, — я подбежал, снял с роликов готовые мотки и загрузил в противень новую партию. Видимо, я действовал медленней, чем обычно, а может, просто не думал о работе, потому что, когда ролики начали крутиться, я все еще продолжал расправлять пряжу. Мою руку тянуло к отжимным валам, но в последний момент я успел ее отдернуть — уже почти ощутив их мертвую хватку.

Я смотрел, как пряжу наматывает на валы, слышал шорох растягивающихся нитей: еще секунда — и руку раздробило бы. Но эта мысль не привела меня в чувство. Шуршание наматывающейся на валы пряжи тонуло и глохло в тягучем тумане и в то же время как бы жило во мне, отдаваясь в груди тяжелой и тошной болью.

Я снова подошел к сортировочному столу и начал разбирать влажную пряжу. Том стоял рядом, и я услышал его слова:

— Нас шестеро: отец да мы, пять братьев. И мои братцы — такая оголтелая шпана! И ни одной женщины в семье: ни сестры, ни матери... — Он бросил работу и повернулся ко мне. — Я не знаю, Билл, зачем я ее выдумал. Это не для вранья, Билл...

Я не мог его слушать — этот дрожащий голос, — я не дал ему договорить: я завопил во все горло «Немецкого часовщика» — никогда в жизни я не пел так громко. Похабник Харви обернулся от центрифуги и крикнул мне: «А ничего у тебя настроение, парень! Видно, у тебя порядочек с твоей птичкой, а?» И я заорал ему: «А ты как думал!»

УОЛТЕР МЭККИН



«КИСЕЙНАЯ БАРЫШНЯ»

В тот понедельник в марте месяце я, понимаете, оказался не при деле. Утром чин чином встаю. Ем завтрак, можно идти на работу, а работы-то нет, поскольку в субботу меня вышибли, хотя отцу с матерью от меня сообщений на этот счет не поступало. Нас в доме, считая их, одиннадцать душ — хочешь, чтобы тебя слышали, кричи громче. А вышло это из-за нашего мастера. Невзлюбил он меня. Мне нравится, когда на мне все чисто, опрятно. И это мое личное дело. Что же, раз работаешь на заводе, значит, обязательно ходить трубочистом? Мне нравится, когда на мне чистая спецовка, когда волосы причесаны. Мое личное дело, казалось бы.

Но нет, этот фрукт не пропускал случая ко мне прицепиться, то я ему «чистоплюй прилизанный», то «паршивый ферт». Причем он детина — будь здоров, так что приходилось терпеть. Вряд ли он это со зла. Просто не вполне произошел еще, силы девать некуда, а умишка негусто.

Ну а мне как-никак двадцатый год, и потому в субботу я ему все же врезал древком от лопаты. Не надо бы, я знаю. Голова осталась цела, она у него в прямом смысле тоже непрошибаемая, но факты были против меня, и, когда меня рассчитали, слез в зрительном зале не было.

Нелегко объявить такую новость своим родным. Они понимают одно — что в доме не хватает денег. А что мужчина, пусть ему всего девятнадцать лет, имеет право на человеческое достоинство и вправе за это достоинство вступить, этого они не поймут.

На своего родителя я, знаете, не жалуюсь. Нормальный парень. Ходит себе на работу, придет домой, помоеся — и на весь вечер в пивную, посидеть за кружкой с друзьями. Стукнет иной раз, это бывает, но чаща только гаркнет для порядка.

На мать тоже не жалуюсь, но, когда выхаживаешь такую ораву — да сперва ее нарожай, да и выходить удастся не всех, — где уж тут взять время посидеть у огня, потолковать о чьих-то невзгодах. Понятно, в общем, о чем речь?

Меня не тянуло работать на заводе. После начальных классов школы мне дали стипендию, и я несколько лет учился во второй ступени, но пришлось бросить и пойти работать. Нужны были деньги в дом. Таким, как я, нет смысла давать стипендию, тогда надо назначить еще одну, для родителей, в возмещение того, что могли бы заработать их дети.

Короче, я, по сути дела, остался неучем. Что-то старался наверстать, наглогался книг из библиотеки, но такое чтение мало что дает. Хватаешься разом и за то и за это, в голове сумбур. Все равно, понимаете, как высасывать море через соломинку. Дружки меня прозвали «Студент» и делают вид, что уважают меня за ученость, но это они так, ради смеха. Я-то знаю, чего стоит эта моя, с позволения сказать, ученость, и

очень мечтал бы учиться всерьез, но пока мне в этом смысле ничего не светит, просто ничего. Столько подрастает мелюзги, всех корми, одевай, и все на то, что зарабатываем мы с отцом, — вернее, теперь уже на то, что он зарабатывает, а я нет.

Короче, я решил пройтись погулять за городом. Побывать, как говорится, на природе и заодно скоротать время. Теперь ведь редко кто ходит на прогулки. Обувь слишком тесную носим, что ли. Сходить в кино, на танцы — это да, а так особенно не разгуляешься, по городу бегаешь взад-вперед, но это же не называется гулять.

На улице — солнышко, благодать. Море нежится, млеет на припеке. Холмы по ту сторону залива румянятся сквозь марево. Непривычно — понедельник, утро, а я на приморском бульваре. Старушки плетутся в церковь к обедне, старички, которые уже отработали свое, прогуливают собак или сидят на скамейках, покуривают трубки — и все.

А мне не по себе, гложет совесть. Мое место сейчас на работе, мне в понедельник утром положено зарабатывать деньги, а не болтаться у моря. Ладно, гори оно все огнем. Я спрыгнул на песок, побросал в море гальку. Подвернулись плоские камушки, стал пускать их по гладкой воде, считал, какой сколько раз подпрыгнет. Больше одиннадцати не получалось, тонули.

Потом чувствую, на меня косятся. Дескать, молодой парнишка, с чего бы ему в буднее утро прохлаждаться на песке? Либо здесь работай, либо езжай на заработки за границу. Тем более с первого взгляда видно, по одежде, по всему, что птенец не из богатого гнезда.

И я ушел прочь, искать, где побезлюдней, а то мне чудилось, будто даже дома и магазины таращатся на меня с укором своими окнами. Прошел бульвар, повернул от моря на дорожку и запетлял то вверх, то вниз по склону, через речушки, через лес, через глубокую ложбину. Здесь на мосту облокотился на перила и полюбовался, как по обкатанным камням несется чистая вода. Отсюда видна была прогалина в лесу — полянка, сквозь навес из ветвей пробивается солнце. Забраться бы туда, улечься на травке и пролежать так всю жизнь, но тут из-за деревьев вышла корова, рыжая, дородная, такая молочная цистерна на копытах, и прямо посередине прогалины — шлеп, шлеп — оставила о себе памятку и все испортила, как оно, знаете, и бывает в жизни; ну я посмеялся и двинул дальше.

Мне уже крепко намяло ноги. Приходилось останавливаться и шевелить затекшими пальцами. Сбросил бы я сейчас с себя пяток лет, то ли дело гонять босиком, пока подошвы не задубеют. Нас-то нужда заставляла. Сегодня молодые ребята скорей лягут в гроб, чем покажутся босые. Как же, все развивается, все идет вперед. Что это я разбрюзжался, как будто самому сто лет.

Увидел песчаный пляж, свернул на него. Ни души, только глубокие борозды от колес да нагретые солнцем валуны, и между ними вьется проселок, уводя кружным путем к морю. Словом, подходяще. И ногам мягко — песок.

Ближе к берегу валуны расступились, открылся каменистый пляж. Бодро пахло морскими водорослями, свежестью, здоровьем. Потом шел песчаный пляж, а на дальнем его конце круто вздыбился утес, застланный поверху зеленым ковром. Там паслись овцы. Самое местечко для меня, подумал я и зашагал туда.

Прошел полпути по песку, думаю, уж тут-то никого, только я да птицы, и вдруг из-за одного валуна вывернулась девушка, чуть не налетела на меня. Видно, зашла за камень разуться и стянуть чулки и выскочила пробежаться по песочку. Говорит мне оторопело:

— Ой, простите.

Ноги у нее малюсенькие и незагорелые, под цвет песка.

Она смотрела на меня, а у самой на лице страх. Хорошо, допустим, странно встретить такого, как я, утром на пляже. Но что же она вообразила? Что я прямо с ходу, не сказав «здрасьте», накинусь на нее и изнасилую? Такая милая девчушка, должно быть, лет семнадцати. Похожа, я скажу, на кукольных барышень, каких выставляют в коробке на витринах. Темноволосая, с круглым личиком, глаза широкие, синие и мохнатые черные ресницы. На ней была пышная юбка гармошкой с белой блузкой и черная вязаная кофточка. Все это я охватил как-то разом. Хотел отпустить ей пару теплых слов, — разозлился, что у нее испуг на лице, но удержался. Сказал ей:

— Виноват, мисс, — и зашагал опять к утесу, даже не взглянул больше на нее. Думаю, как это у них быстро, только увидят, и уже готово: по твоему разговору и по одежде оценили, чего ты стоишь, и поместили тебя на полочку с этикеткой «Опасно» или «Низший сорт». Хоть бы словом перемолвиться для начала!

Минут через пять я залез на вершину утеса, растянулся там и загляделся на голубое небо, на белые облака.

Может быть, я незаметно забылся и задремал. Как бы то ни было, слышу — крик. Я сперва подумал, это чайка, они умеют кричать совсем как дети. Потом сел, повернулся, смотрю вниз. Девчушка сидит, держится за ступню, и даже с такого расстояния видно алое пятно на белом песке. Наверное, порезала себе ногу. Ну и что? Я было собрался лечь опять, но она глядела прямо на меня, и я не смог. Встал я, сбежал с утеса, перемахнул через ограду и прыгнул на песок.

Она сидела бледная и сжимала маленькими руками ногу, а сквозь пальцы сочилась кровь.

Я встал на колени и взял ее ногу. Рассадила она ее здорово. Я надавил на рану с боков, и ее края сошлись.

— Как же это вас? — спросил я.

— Наступила на разбитую бутылку, — сказала она. — Ужасно, да?

Она и сейчас крепко перепугалась, но это уже был иной испуг. Шва три наложат, не меньше, подумал я.

— Ужасного ничего нет, — сказал я. — Это только на вид так. Шовчик наложат, и кончено.

— А я не умру от потери крови? — спросила она.

Меня прямо потянуло погладить ее по головке.

— Да нет, — сказал я. — Этого можно не опасаться. Давайте-ка я вас снесу к воде, промоем ногу.

Взял я ее на руки. Вовсе не тяжелая. Она не сопротивлялась. Я понес ее к воде. По песку за нами потянулся кровавый след.

У воды я ее усадил, вытащил чистый носовой платок, нашел место, где вода почище, и промыл рану. Порез оказался глубокий, с рваными краями, кровь из него лилась ручьем. Но это, кстати, было хорошо. Я подал ей мокрый платок.

— Возьмите, ототрите кровь на руках, — сказал я. Она послушалась. Лицо у нее было по-прежнему белое, и она вся дрожала. — Вам что, никогда не случалось порезаться? — спросил я.

— Бывали царапины от колючек, — сказала она. — А так нет.

— В общем, это не страшно, вы не думайте, — сказал я. — А все же надо бы выбраться на шоссе и посмотреть, не подбросит ли нас кто в больницу.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — сказала она.

Я взял платок, сполоснул его в морской воде и крепко перетянул ей ногу. Ей стало больно, даже дыхание перехватило, но, что поделаешь, повязка должна быть тугая.

— Где у вас туфли и прочее? — спросил я.

— Вон за тем валуном, — сказала она и показала рукой. Я ее оставил у воды, сам сходил туда. Маленькие туфельки, в каждую засунут свернутый чулок. Я забрал их, положил по одной в карманы пиджака и возвратился к ней.

— Теперь мне придется взять вас на руки, — сказал я.

— Наверное, я очень тяжелая? — сказала она.

Я ее поднял как перышко.

— Вы держитесь за шею, — сказал я. Она обхватила меня за шею, и нести стало легче. — А я вам сейчас расскажу одну сказку, про короля. Ну, вы знаете, жил-был король, и он был знаменитый охотник и желал, чтобы его за это восхваляли, а одна бабушка при дворе заявила, что, если много упражняться, любой тебе достигнет чего хочешь. Тогда он разгневался и велел лесничему ее убить. Лесничий не стал убивать, а спрягал ее в лесу у себя в избушке. Там была наружная лестница, и вот каждый божий день эта женщина берет на руки теленочка, взваливает его себе на плечи и дует с ним вверх по лестнице, а после — вниз. Ноша день ото дня подрастает, и наконец это уже не теленочек, а здоровенный бык, но поскольку

женщина упражнялась не переставая, ей было нипочем подняться и спуститься по лестнице с такой тушей на плечах. Раз приезжает туда король, и это видит, и смекает, стоило ли ему зазнаваться.

— Что такое? Выходит, я корова? — спрашивает она. Я прыснул. Личико у нее уже чуть порозовело.

— Нет, почему, — сказал я. — Это я к случаю.

— И часто вы вот так носите девушек на руках? — спрашивает она.

— Не часто, — сказал я. — Вас первую.

— И вам не страшно смотреть на кровь и на раны? — спрашивает она.

— У меня у самого на правой ноге четырнадцать швов, — говорю я.

— Откуда? — спрашивает она.

— Станок оказался неисправный, — говорю я. — Но это что. Я знаю одного с нашей улицы, у него сорок восемь швов.

— Сорок восемь! — ахнула она.

Я, правда, не сказал, что эти швы он заработал после одной попойки, где и пили и бутылки били.

— Вот именно, — сказал я. — А у вас всего-то будет один шовчик на подошве, так что не беда.

— Конечно, — сказала она, — Это я испугалась, что умру. Глупо, да? И как же мне повезло, что рядом оказались вы!

Слушайте, я вам что-то скажу. Так хорошо мне не бывало никогда в жизни. Я ее смешил. Со мной она позабыла про свой порез, а ему к тому времени уже пора было разболеться. Я ей плел всякую всячину про младшую сестренку, про братишек, чего они вытворяют. У нее не было сестер и братьев, и она мне была как родная. Я нес ее на руках. Я ощущал ее мягкую нежность, ее дыхание попадало мне на край щеки, шелковые волосы касались моего лба, только не в том дело, а просто там, на шоссе, мы двое были как одно. Как если бы нее, о чем мечтаешь, сбывалось наяву, уж не знаю, попятно ли я это выражаю. Я ей нравился, и я был просто я, и она была тоже я, как рука, как нога, как сердце. Не знаю — понятно, что я хочу выразить? Я думал, что в жизни все неспроста, чему назначено, то будет — как солнцу назначено всходить и заходить. Мне теперь нее стало понятно, и зачем меня выгнали с работы, и зачем я бродил по безлюдным местам, все ждал, искал чего-то. И вот нашел. Я не шагал, я летел по земле. С вами в жизни часто случалось такое?

Со мной случилось, и это не проходило. Нас подвезли на первой же встречной машине, лысый дядя с черными усами, в годах. Еще бы, хорошенькая девушка. Будь я один, я до седых волос торчал бы на шоссе без толку, разве что странствующий лудильщик подобрал бы в свой фургон. Но все это неважно. Главное, понимаете, она хотела, чтобы я был с ней. Со мной ей было не страшно. Она держалась за мою руку, а я положил ее ногу себе на колени.

Даже в больнице она меня не отпускала. Пришлось зайти вместе с ней в кабинет, где оказывают срочную помощь. Я с этим заведением близко познакомился с малых лет. Мы здесь, можно сказать, дневали и ночевали, вечно то синяк, то царапина, то кто-нибудь нечаянно проглотил ложку, то подавился кофеем и прочее. Я держал ее за руку, когда ей делали укол от столбняка, когда зашивали порез и бинтовали ногу. Потом я сказал:

— Теперь вы обождите тут, а я договорюсь, чтобы вам подали карету и отвезли домой.

— А вы надолго? — сказала она. — Возвращайтесь поскорей.

Так и сказала. Этими самыми словами.

Я вышел на улицу. Смотрю, Турок разворачивает машину, только что высадил пассажира. Я ему свистнул, и на мою соловьиную трель он подъехал обратно.

— Ты чего, Студент? — спросил он. — Что стряслось? Твой посвист и за милю не спутаешь.

— Разговорчики, извозчик, — сказал я. — Твое дело придержать рысаков. Сейчас я к тебе выведу седока.

— Серьезно? — говорит он. — А кто будет расплачиваться? Раз пассажир твой, значит, катать за дарма.

Я подошел к нему ближе. Я протянул ему пригоршню монет.

— Держи свою жалкую наживу, скряга Скрудж, — сказал я.

Он поглядел на деньги.

— А, так у тебя есть чем расплатиться, — сказал он. — Ладно. Поверим тебе.

Я пошел за ней.

Теперь мне не пришлось ее нести. Ей обули туфельку на здоровую ногу, посадили в кресло на колесах и покатали к выходу по коридору. А уж оттуда до такси я ее перенес на руках. Турок разинул рот от удивления и даже извлек свои телеса из машины, чтобы распахнуть заднюю дверцу. Я усадил девушку сзади и сам сел рядом. Она все держала меня за руку.

— Куда едем, мисс? — спросил Турок. Сообразил, слава богу, что везет не своего поля ягоду и с такой надо держать себя уважительно. А не то, чего доброго, сморозил бы что-нибудь соленое.

Она сказала, куда ехать.

Говорит, а сама смотрит на меня.

— Вот и все, — сказал я. — И не так уж страшно, правда?

— Правда, — сказала она. — Не знаю, как мне вас благодарить за все, что вы для меня сделали.

Что на это скажешь. Я только глотнул, сжалось горло. Со мной так бывает не часто. Понимаете ли, с той минуты, как все это стряслось, пока она так льнула ко мне, из меня напрочь выветрилось все дрянное. Как бы это понятнее выразить? Все это было чисто и красиво, лучше не бывает в жизни. Странно, скажете, — кровь, рваные раны, больница, уколы, — но тем не менее факт. И это были не мечты, не сон. Живая явь.

Только тронулись, казалось бы, а перед нами уже открытые чугунные ворота, и мы завиляли по короткой мощеной дорожке. От нее ступени вели к дому, большому прекрасному особняку, одних окон не сосчитать. Я высадив девушку из машины и понес по лестнице к дверям. Дверь тут же распахнулась, вышла нарядная седая женщина, за ней — горничная в черном платье и белом передничке.

Женщина говорит:

— Боже мой! Что случилось? Что с тобой, скажи, ради бога!

Девушка говорит:

— Я на пляже наступила на разбитую бутылку, поранила ногу и не знаю, что я стала бы делать, если бы не он. Он меня отвез в больницу, а потом оттуда — домой.

— Душенька моя! — говорит ее мать, протягивает к ней руки, обнимает, а потом поверх ее плеча смотрит на меня. Она смерила меня взглядом с головы до ног и говорит:

— Мы вам очень признательны. Джулия, подите принесите мой кошелек.

Дочь с ужасом сказала:

— Мама!

Но было поздно, поймите, мыльный пузырь уже лопнул.

Ее вторая туфля вместе с чулком была до сих пор у меня в кармане. Я ее вынул, вложил матери в руку, потом повернулся, сошел с лестницы, влез в машину к Турку и рывкнул на него:

— Гони отсюда!

Он включил передачу и рванул с места.

Позади слышались голоса:

— Нет! Нет! Вернитесь обратно! Пожалуйста, вернитесь!

Но что толку? С меня сорвали шоры. Я увидел себя глазами ее матери. Рука тянется за кошельком. Можно изорвать палкой паутину любых размеров, совсем порушить, но после прибежит паук и возьмется ее чинить. Да ведь мы-то не пауки. Возможно, мы люди темные, но у себя под носом способны разглядеть что надо.

Я сидел как побитый. Мне доводилось бывать в потасовках, и били меня, но так, чтобы совсем сбить с ног, никогда. А тут, вы понимаете, меня как бы вот именно положили на обе лопатки.

Что было потом, я запомнил плохо.

Помню, что мы сидели в пивной. Время было вроде бы позднее. Здесь же какие-то ребята и Турок. И я слышу, что Турок мелет. Что, мол, Студент заимел себе на пляже девочку, куколка — обалдеть, настоящая кисейная барышня, без обману, Турок, он разбирается, интересно только, успел ли Студент по-

барахтаться с ней на песочке.

Короче, дал я ему. Турок дал мне сдачи, другой подбавил, я и ему дал. Нагрянули легавые, я и легавого огрел, в ответ меня огрели дубинкой. Я развернулся и ахнул сплеча кулаком.

Теперь вот загораю в одиночке при полицейском отделении. Я не пьян. Мне тошно, но не от того тошно, от чего думают они. На душе у меня тошно, ох и тошно у меня на душе. И я хватаю табуретку и кидаюсь дубасить в дверь, пускай опять прибегут с дубинкой меня унимать. Я так хочу. Потому что, вы поймите, мне некому это высказать. Это уже навеки останется во мне. Все равно ничего не получилось бы, для этого либо ей, либо мне нужно было родиться под другой крышей. Но я не в силах забыть, в груди что-то жжет, сжигает меня. И некому рассказать. Нет никого. Никого в целом свете. Кто такое поймет? Кто посочувствует? Кто поверит?

СИД ЧАПЛИН



«ЗАГОРОДНЫЕ РЕБЯТА»

Значит, поле смахивало на старый бильярдный стол, у которого подломились ножки, только лузы были и по краям и в самой середине, да еще кучи камней. Одним концом оно круто уходило вверх, как будто какой-то высоченный мужчина приподнимал стол за край. Торчали зеленые кусты, все в колючках, и маленькие желтые цветы; еще бродила какая-то древняя кляча и тьма старых овец с ягнятами. Они шарахались и удирали от нас, а мы, загородные ребята, неслись по их пастбищу как черти. Мы с ревом взлетели на холм, словно перед нами был не склон, а самое широкое шоссе, — вот так — то вот мы выезжаем «на природу» и собираем цветочки, только не руками, а нарезкой на мотоциклетных шинах *, поэтому нас и прозвали загородными.

* В Англии закон запрещает ездить на машинах и мотоциклах по зеленым участкам — полям, лугам, пастбищам и т. п. Ездить можно только по дорогам.

В тот день мы уже миновали шесть городишек и теперь лезли на холм по этому паршивому выгону. Тон задавал Рэд Наттер на новехоньком «Созвездии» (700 см³), на него насадал Слюня Саммерс со своим «Триумфом-110», «Триумф» — отличная машина, почти такая же мощная, как «Созвездие», — на 650 см³, — если, конечно, не боишься угробиться, срезая углы на поворотах. Третьим шел Мик на «Летающей звезде». В своем идиотском трясущемся шлеме с приделанными очками он запросто сошел бы за марсианина. За Миком рулили я на моем подержанном «Созвездии», и Ник Старфилд, и Ковбой Джек Стэнли, оба на «Золотых звездах-500».

Рэд был у нас королем. Вообще-то он не из тех, кто сегодня ползает на «Тигренке» *, а завтра уже в мастерах ходит, но он сдал на права, хоть и с четырнадцатого захода, а потом, у него водилась монета, и он купил себе «Созвездие», да и братан у него классный механик. Они вылизывали машину целую неделю, вот он и прет теперь впереди всех, правит своей машиной и нами тоже. Нику это ох как не по душе,

но пришлось проглотить пилюлю, потому что Никова старуха — крепкий орешек, да еще покупает Нику бензин и жратву, так что у ней не очень-то разгуляешься. У Ковбоя руки большие и потные, и он вообще ездит осторожно, когда с Ником. Он слабак и рискует еще меньше моего, а я никогда не рискую, только меня легко подбить на всякие штучки. Так оно и получилось, когда я согласился отвезти Рэда на остров.

* Маломощная модель, на которой обычно ездят начинающие мотоциклисты.

Но это было после. А тогда мы юлили по этому косогору, как ревущие бильярдные шары, если их пустишь дуплетом, среди колючих кустов, каменных куч и ям, глубоких, как маленькие карьеры. Но Рэд — он держал скорость, он выдавал класс, он не срезался даже на том подлом участке, где вместо грунта был камень, который только танк возьмет, а на холм взлетел как из пушки.

Там он и уселся, скрестив руки, этакий великий индейский вождь, а Слюня шикарно затормозил на полном ходу, стал рядом и тут же полез ковыряться в носу. А потом на адской скорости подкатил Мик. Его машина подскакивала, как пони на скачках с барьерами, только что оркестра не было. Тут-то ему и попалась под колеса маленькая ямка. Мика швырнуло футов на семь, если не на все восемь, и он приземлился, обхватив себя за голову. Думаете, он своей машины боялся, что она на него налетит? Нет, она себе вертелась на месте не хуже шутихи, просто кто-то там сморозил ему, будто наша братия не щадит тех, кто свалится с машины. А мы себе тихонечко подрулили, так что от наших моторов его ветерком обдуло, и, что бы он там ни трепал ребятам в доках, я проехал в добрых шести, а то и в восьми дюймах от его персоны. Пока шел весь этот тарарам и Мик вопил как зарезанный, Рэд Наттер даже ухом не повел. Он у нас немножечко поэт в душе, Рэд. Ну, значит, мы там выстроились в ряд, будто налетчики, на фоне неба. Мик объявил, что сломал ногу, и Ковбой пошел поглядеть, но его только чуть-чуть помяло, так что мы не стали над ним трястись. Когда гоняешь, как мы, это пустяковое дело.

Мы огляделись, вернее, посмотрели вниз на то, что перед нами. А перед нами лежала земля, вся в коричневых заплатах, росли скрюченные деревья и те же самые колючие кусты, впереди еще два холма, круглые и гладкие, как толстые ягодицы, а между ними что-то вроде расщелины. Один холм был совсем лысый, на другом подпирали небо какие-то радарные установки, а рядом вертелся обычный радар вроде тех, что стоят на кораблях, только побольше. Они себе крутились, и до нас им не было никакого дела. Края расщелины сужались книзу, как буква У. Мы глядели через У — земля шла желтыми и коричневыми квадратами, а потом начиналась желтая полоса, но перед ней еще белая, и за желтой тоже белая, и она ползла и курчавилась, как стружка из-под огромного резца. Она ползла, курчавилась и набегала на землю, за ней набегала другая, а дальше за ними все было синее с зелеными участками и золотыми блестками. Но это еще не все. Милях в двух от берега начинался тот самый остров, про который они говорили в прошлую пасху, когда моя старуха так-таки и не разбудила меня вовремя и наше кодро отправилось без меня, а я даже не знал куда.

В тот раз все сошло хорошо, должно было сойти и на этот. С одного края остров был от песка совсем белый, а с другого, где скалы, черный. Там стояло несколько драных домишек, парочка каких-то древних развалин и даже маяк, хотя кому там было светить, непонятно. Ник рассказывал мне, что на ту пасху шел дождь, поэтому они закатились на остров, а дождь все лил и лил, они с горя здорово поднабрались, и их вышибли из пивной. Тоща они перебили по очереди все шесть уличных фонарей, которые нашлись на острове, а потом подцепили один кадр.

Они ее охмурили и затащили на мол. Там они велели ей снять туфли. Затем пальто. Затем Рэд сказал, чтоб она сняла чулки. Когда она завизжала, он зажал ей рот рукой. Она его укусила. Он обхватил ее, и уж тут она завизжала по-настоящему. В городе на такое и внимания не обращают: резвятся ребята, и пусть их. Но здесь вышло наоборот — вся пивная сбежалась. Мужики все были футов по девять ростом, не меньше. Папаша этой крошки тоже был десяти футов да и в плечах соответственно. Наших здорово потрепали. Потом этот тип пригнал грузовик, местные побросали мотоциклы в кузов навалом, будто эти отличные машины стоили не больше, чем ржавые жестянки из-под консервов, он сел в кабину, отвез их и вывалил на другом берегу.



Местные гнались за ребятами с милю, потом отстали. Навстречу нашим попалась та самая колымага. Ребята подумали, может, он хоть согласится их подвезти. Они побежали прямо на грузовик, махая руками, чтобы тот остановился. Так этот сукин сын пронесся между ними, даже не притормозив и не свернув ни на миллиметр. Вот он каков, этот так называемый цивилизованный городок на мирном маленьком острове. Поди забудь тут про водородную бомбу! Такие сбросят ее не моргнув глазом.

Ну, значит, глядели мы, глядели на этот роскошный пейзаж, наконец Рэд говорит: «Мы им покажем», — а Ник Старфилд спрашивает насчет паромы на ту сторону, есть он или нет, и Рэд отвечает: «Нет. Там можно проехать во время отлива». Нику это дело пришлось не по вкусу, но он согласился, потому что Рэд, даже когда ему приходилось трястись на игрушечном «Тигренке», уже тогда был без пяти минут главный,

так что спорить тут не о чем. «Тронемся», — командует Рэд, срывается как из пушки и с ходу пролетает сквозь калитку в полевой ограде, а калитка приоткрыта на четверть, не больше, но он-таки пролетел. Слюня и Ник тоже проскочили. Мы с Ковбоем посадили Мика на его машину. Миковы марсианские очки отстали и болтались на дюйм ниже положенного. Видик у него был — помереть можно! Нам-то вместо шлема хватает собственных причесок. У нас такой порядок; во-первых, гонять без шлема, а во-вторых, по проселкам или тропинкам так, чтобы ворваться в город с тыла. Если, конечно, получится. И еще, если с кем что случилось, так мы из-за одного не задерживаемся. Мы оставили Мика, где он сидел, обхватив себя за ногу. Я стиснул зубы и проскочил через калитку, хорошо проскочил, мне вообще все удастся, если я подходяще настроюсь. Ковбой проскочил следом. Остальные уже укатили. Мы сориентировались и выехали на дорогу к У. Ребят не было видно. Я поднялся на холм и оглядел дорогу. Узкая лента шла прямо к морю. Я прибавил газу и выжал 80, 90, 100 миль в час, только столбы засвистели мимо — у-у-у-фф! Впереди показался знак ограничения скорости, но я уже перевалил за сто, а придорожные кустики были низкие, и никто не ехал навстречу, так что я выжал все, что мог, и уже не гнал, а летел над землей — такое было чувство.

Затем пошло мелководье. Кругом грязища, и из песка торчали какие-то шесты, на которых сидели чайки. Большие злые чайки с маленькими подлыми глазками и такие жирные, как будто у них совсем не было шеи. Им было на что поглядеть, когда я добирался на остров. Я присоединился к заседанию на другом берегу. Наша компания тихо-мирно съехала у обочины и обсуждала план операции, когда показалась машина. Она прошлепала по зеленой плесени, по всей этой грязи и превратилась в маленький «лендровер» *, которым правил здоровенный дядя. Он затормозил и остановил машину. Вышел. Он подошел прямо к Рэду. С ним еще была одна крошка. Она осталась в кабине и глядела не на нас, а куда-то прямо перед собой. Видно было, что она чертовски перепугалась и все же умирает, хочет увидеть, чем все это кончится. Есть девчонки, которые получают удовольствие от таких передраг.

* Марка машины, отличающейся повышенной проходимостью.

На ногах у него были тяжелые ботинки, да и сам он был косая сажень в плечах, здоровяк, с огромным носом и толстыми недобрыми губами. Он говорил как по писаному и сказал Рэду, что ему лучше заворотить подбодру-поздорову, но Рэд и не подумал прятать глаза. Он ответил, что у нас, слава богу, свободная страна со свободными дорогами и мы уже взрослые мальчики. Верзила был явно не промах. Он смекнул, что Ник заходит к нему с тыла, а Ковбой играет в песочке рядом с увесистым булыжником. Он и то заметил, что Слюня Саммерс разглядывает девчонку и пощелкивает себя по пряжке, а я готов запустить мотор и моя машина целит прямо на него. «Ладно, — говорит он, — я вас предупредил. Так что поберегись». Он бы с нами по-другому поговорил, не будь с ним этой крошки. Но девочка была — высший класс! Как он отъехал, Рэд вышел на середину дороги и поглядел им вслед. Она могла полюбоваться им в зеркальце через заднее стекло, это уж точно. Так-то он низкорослый, но широкий в плечах, и зубы у него очень белые. Прошло минут десять, Рэд и говорит: «Ну, хватит, сейчас мы им покажем». Он вытащил трехдюймовый гаечный ключ из сумки с инструментом, что он спер в доках, и сунул его в карман куртки. Слюня, как всегда, облизал губы (поэтому его так и прозвали) и подобрал два здоровых булыжника. Мы взяли по одному, но я не собирался пускать свой в ход, взял его просто так, за компанию. Мы поплевали на них и отчалили.

Это был тихий городишко в самом конце дороги. У пивной сидел старик лет пятидесяти, курил трубку ничуть не меньше собственного носа и гладил кошку, а несколько старух лет этак от сорока до пятидесяти сплетничали, расположившись на стульях перед дверями своих домишек. Я полз так медленно, что разглядел через окно, как типы в пивной поднимают стаканы. Мы проехали мимо знакомого «лендровера». В нем никого не было. Дом был не дом, а какая-то лачуга. Дыру они, что ли, пропилили в потолке для этого верзилы! Мы для виду повернулись на молу и развернулись передом к этой единственной дороге. Я остановился и поглядел вниз.

Сверху было видно дно с галькой и водорослями. Большие противные чайки летали в небе и качались на волнах. Тут я вижу, что та девчонка выскочила на улицу — и сразу же назад. «Трогай», — гово-

рит Рэд. Ковбой и Ник сорвались с места, мигом набрали скорость и дали полный. Непонятно, откуда вдруг взялись миллионы орущих чаек. Я задрал голову и увидел, как они разевают свои огромные клювы, словно ножницы. Слюня Саммерс снялся третьим. Он вел машину чисто и на тихой скорости и запустил бульжником по первому же дому, прямо в окно. Стекло дало паутину трещин, и я заметил, как какая-то старуха маячит за этой паутиной, вроде тех ведьм, каких показывают в фильмах ужасов.

Я начал заводить мотор и не сразу попал ногой на стартер. Рэд снялся — ж-ж-жик! Я же говорю, мы никогда не ждем, если что с кем случилось. Он понесся вперед, и ключ торчал теперь у него из ботинка. Я понял, что он метит на домишко этого верзилы. Наконец я тронулся — как раз тогда, когда на меня набросилась сверху какая-то чайка. Чайки, ясное дело, были ихними шпионами и воевали против нас. Я снялся с места и тут увидел, как верзила выскочил из дому и сел в машину. Он уже набирал скорость, когда я поравнялся с тем домом, который уделал Слюня Саммерс. На крыльце меня поджидал старик. Он запустил в меня железным прутом, который попал в колесо и успел проиграть на спицах свадебный марш, пока я затормозил. Тогда прут откатился в сторону. А «лендровер» набрал адскую скорость. Ковбой и Ник разделились и чудом проскочили по обеим сторонам машины — только их и видели. «Лендровер» приближался. Мужчина за рулем втянул голову в плечи, как чайка, и нос у него походил на клюв, рот открытый — он что-то кричал. Слюня перескочил на другую сторону дороги, «лендровер» вильнул и наподдал по мотоциклу. Саммерсова машина выкинула парочку немыслимых курбетов и опрокинулась. Теперь-то уж у Слюни не было времени ковыряться в носу. Он поднял машину и поехал себе восвояси. Рэд выжал из своей лошадки все, что мог. В жизни не видал, чтобы парень выделял такие фокусы с большим мотоциклом. Ему удалось вывернуться, но «лендровер» шпарил за ним по пятам, а я тихонечко и аккуратненько развернулся и отправился поглядеть на мол. Там я остановился и стал наблюдать.

«Лендровер» загнал Рэда в тупичок у парапета, но Рэд был тоже не дурак, он сделал маленький разворотик и совсем было вырвался на дорогу, когда «лендровер» поддел его машину. Она прямо-таки выскользнула у Рэда между ног, налетела на тумбу, подскочила и нырнула в открытое море. Я в первый раз увидел «Созвездие» таким красивым: красный лак и хромированные части вспыхнули на солнце за секунду до того, как машина ушла под воду. «Лендровер» повернул и поехал ко мне. Я понесся прямо на него. Он перетрухал и дал тормоз, я вильнул и плавно обогнул его по кривой, а Рэд, прихрамывая, бежал мне навстречу. Я остановился, посадил его и дал полный, он обхватил меня сзади и прижался как девчонка.

Как я и думал, тот кадр стоял в дверях. У нее были черные волосы и белая кожа. Дорога была свободной, но из каждого окна, из каждой двери, из каждой калитки пялились хари. Я услышал, как «лендровер» наяривает за нами следом, и прибавил газу, но не очень, потому что дорога все время петляла. На одном повороте я чуть без ноги не остался, но тут мы вырвались на прямую, и я выжал все сто и даже больше. Через четверть мили «лендровер» остался далеко позади, и я вздохнул свободнее. Я видал чаек, как они разевали клювы и кричали, но тот тип, похожий на чайку, тоже был сумасшедший, и весу в нем было побольше. Мы с ходу вырвались на тот берег и только тогда остановились. Ребята нас ждали, а Слюня ковырялся в носу. На острове все было спокойно, начинался прилив. Ребята молчали, даже Ник молчал. А Рэд, тот и вовсе ничего не сказал, только спустился к воде поглядеть, не покажется ли «лендровер». Ключ все еще торчал у него из ботинка. Он из-за этого прихрамывал, но не обращал на него внимания.

Потом он и говорит мне: «Слышь, Лебедь, перевези меня на ту сторону, у тебя хорошая скорость. Я ему все окна разрисую за мою машину». Ну, я на него посмотрел. Слюня оказал, что он перевезет, но Рэд хотел, чтобы перевез я. Ковбоя с Ником он и просить не стал. Я перевез его, но про себя решил: хватит, буду теперь поосторожней. Вода уже доходила до середины колеса и покрывала втулку, когда мы выбрались на тот берег. Вдруг мы услышали тарахтение, как от моторной лодки, но это был Слюня. Он догнал нас, чтобы сказать про Ковбоя и Ника, которые укатили домой. Я не хотел рисковать своим подержанным «Созвездием», даже для Рэда не хотел рисковать. Я ссадил его за четверть мили от городка и сказал, что мы отведем машины куда-нибудь в сторону, подальше от дороги, и будем ждать. А что нам было делать? Только подождать его, отмахать до берега и спрятаться в дюнах до отлива. Он не стал спорить и пошел от нас, чуть прихрамывая. До него начало кое-что доходить, это уж точно. Минут через десять мы оттащили машины по скату ближе к городу, спрятали их на боковом проселке, что для повозок, и развернули пере-

дом к дороге. И сели ждать.

Мы просидели с час. Его все не было. Начало смеркаться, и замигал маяк. Мы решили, что они-таки добрались до него! День выдался уж больно невезучий, да и народ на острове злой. Мы обогнули город стороной, прошли развалинами, перебрались через какую-то стену, прыгнули на малюсенькую отмель, где плескалась вода, и завертели шеями, как гуси, чтобы рассмотреть мол. Рэд сидел на той самой тумбе, о которую стукнулась его машина. Ни за что бы не поверил, что он плачет. Честное слово, он сидел там и натурально ревел над своей машиной. Я знаю Рэда с пеленок и просто не мог поверить, что он плачет.

Из маяка кто-то вышел, остановился, поглядел на Рэда и пошел своей дорогой. Потом разошлась пивная, и во всех домах погас свет, один маяк продолжал гореть. Мы воткнули палку в дно у самой кромки и легли на песок. Стало зябко. Никто из местных не спускался на мол. Было тихо. Мы пошли потолковать с Рэдом. Он сидел все на том же месте и глядел туда, где волны нежно баюкали его любимую машину. Он не хотел идти с нами. Он хотел остаться рядом с ней. От горя он стал какой-то чокнутый. Ключ все еще торчал у него из ботинка. Я его вытащил, но Рэд даже и не заметил. Мы оставили его одного. Нам еще нужно было покрыть шестьдесят миль и утром выходить на работу, а на работе не больно-то отоспишься. Мы благополучно добрались до наших лошадок. Взошла луна. Не скажу точно, сколько времени мы там провалялись на песке, но только, когда мы ушли от Рэда с его машиной, та палка уже успела высохнуть. А девочка, у которой были черные волосы, уже давно спала. Она так и не взглянула на меня. Ни разу. Я завел машину и набрал скорость, но нам все равно пришлось обождать, пока спала вода. Мы ждали с час или около того, потом я снова запустил машину и только на полдороге понял, что остался один. Уже с той стороны я увидел, как фонарь Слюни мигает в темноте. Слюня остался ждать Рэда, но я не хотел рисковать и поехал домой. Повестку в суд мне все равно прислали. Всем нашим прислали повестки. Местные с острова — сердитый народ, и уж раз они решили чего добиться, так идут до конца. Так что когда я снова поеду с загородными ребятами «за цветочками», я уж постараюсь обогнуть море миль за сто, будьте уверены.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ



«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

Хорошо, если, налетав за двадцать лет не одну тысячу миль, ты и к сорока годам все еще испытываешь удовольствие от полета; хорошо, если еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину: чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легкое облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Особенно когда приземляешься на снег: плотный снег очень удобен для посадки, и хорошо сесть на снег так же приятно, как прогуляться босиком по пушистому ковру в гостинице.

Но с полетами на ДС-3, когда старенькую машину поднимешь, бывало, в воздух в любую погоду и летишь над лесами где попало, было покончено. Работа в Канаде дала ему хорошую закалку, неудивительно, что заканчивал он свою летную жизнь над пустынями Красного моря, летая на «Фейрчайльде» для нефтекепертной компании Тексегипто, у которой были права на разведку нефти по всему египетскому побережью. Он водил «Фейрчайльд» над пустыней до тех пор, пока самолет совсем не износился. Посадочных площадок не было. Он сажал машину везде, где хотелось сойти геологам и гидрологам, — на песок, на кустарник, на каменистое дно пересохших ручьев и на длинные белые отмели Красного моря. Отмели были хуже всего: гладкая с виду поверхность песков всегда бывала усеяна крупными кусками белого коралла с острыми, как бритва, краями, и, если бы не низкая центровка «Фейрчайльда», он бы не раз перевернулся из-за прокола камеры.

Но все это было в прошлом. Компания Тексегипто отказалась от дорогостоящих попыток найти большое нефтяное месторождение, которое давало бы такие же прибыли, как получало Арамко в Саудовской Аравии, а «Фейрчайльд» превратился в жалкую развалину и стоял в одном из египетских ангаров, покрытый толстым слоем разноцветной пыли, весь иссеченный снизу узкими длинными надрезами, с потертыми тросами, с каким-то подобием мотора и приборами, годными разве что на свалку.

Все было кончено: ему стукнуло сорок три, жена уехала от него домой на Линнен-стрит в городе Кембридже штата Массачусетс и зажила как ей нравилось: ездила на трамвае до Гарвард-сквер, покупала продукты в магазине без продавца, гостила у своего старика в приличном деревянном доме — одним словом, вела приличную жизнь, достойную приличной женщины. Он пообещал приехать к ней еще весной, но знал, что не сделает этого, так же как знал, что не получит в свои годы и летной работы, особенно такой, к какой он привык, не получит ее даже в Канаде. В тех краях предложение превышало спрос, даже и когда дело касалось людей опытных: фермеры Саскачевана сами учились летать на своих «Пайперкэбах» и «Остерах». Любительская авиация лишала куска хлеба многих старых летчиков. Они кончали тем, что нанимались обслуживать рудоуправления или правительство, но такая работа была слишком нудной и добропорядочной, чтобы привлекать его на старости лет.

Так он и остался ни с чем, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, да десятилетнего сына, родившегося слишком поздно и, как понимал в глубине души Бен, чужого им обоим — одинокого, неприкаянного ребенка, который в десять лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец — посторонний человек, резкий и немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе.

Вот и сейчас было не лучше, чем всегда. Бен взял с собой мальчика на «Остер», который бешено мотало на высоте в две тысячи футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает.

— Если тебя стошнит, — сказал Бен, — пригнись пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину.

— Хорошо. — У мальчика был очень несчастный вид.

— Боишься?

Маленький «Остер» безжалостно швыряло в накалившем воздухе из стороны в сторону, но перепуганный мальчишка все же не терялся и, с ожесточением посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт.

— Немножко, — ответил мальчик тихим и застенчивым голосом, непохожим на грубоватые голоса американских ребят. — А от этих толчков самолет не сломается?

Бен не умел утешать сына, он сказал правду:

— Если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается.

— А эта... — начал было мальчик, но его сильно тошнило, и он не мог продолжать.

— Эта в порядке, — с раздражением оказал отец. — Вполне годный самолет.

Мальчик опустил голову и тихонько заплакал.

Бен пожалел, что взял с собой сына. У них в семье великодушные порывы всегда кончались неудачей: оба они были такие — сухая, плаксивая провинциальная мать и резкий, вспыльчивый отец. Во время одного из редких приступов великодушия Бен как-то попробовал поучить мальчика управлять самолетом, и, хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик отца доводил его до слез...

— Не плачь! — приказал ему теперь Бен. — Нечего тебе плакать! Подыми голову, слышишь, Дэви! Подыми сейчас же!

Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его с собой, и уныло поглядывал на расстилавшееся под крылом самолета бесплодное пустынное побережье Красного моря — непрерывную полосу в тысячу миль, отделявшую нежно размытые краски суши от блеклой зелени воды. Все было недвижимо и мертво. Солнце выжигало здесь всякую жизнь, а весной на тысячах квадратных миль ветры вздымали на воздух массы песка и относили его на ту сторону Индийского океана, где он и оставался навеки на дне морском.

— Сядь прямо, — сказал он Дэви, — если хочешь научиться, как идти на посадку.

Бен знал, что тон у него резкий, и всегда удивлялся сам, почему он не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Бен убрал газ и, подождав, пока не сбавится скорость, с силой потянул рукоятку триммера, которая была очень неудобно расположена на этих маленьких английских самолетах — наверху слева, почти над головой. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз, но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полосу белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую на этот пустынный берег. Отец вел самолет прямо туда.

— А почему ты знаешь, откуда дует ветер? — спросил мальчик.

— По волнам, по облачку, чутьем! — крикнул ему Бен.

Но он уже и сам не знал, чем руководствуется, когда управляет самолетом. Не думая, он знал с точностью до одного фута, где посадит машину. Ему приходилось быть точным: голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было сто миль, и вокруг мертвая пустыня.

— Все дело в том, чтобы правильно рассчитать, — сказал Бен. — Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было шесть дюймов. Не фут и не три, а ровно шесть дюймов! Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко — попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме.

Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эль-Бабе, где они брали напрокат машину, однажды перевернулся такой «Остер». Ученик, который на нем летал, был убит.

— Видишь! — закричал отец. — Шесть дюймов. Когда он начинает снижаться, я беру ручку на себя. На себя. Вот! — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка.

Последний дюйм! Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза — нос самолета задрался кверху, и машина остановилась у самой воды — до нее оставалось шесть или семь футов.

Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, называли ее Акульей — не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Каспийского моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежища. Бен и прилетел-то сюда из-за акул, а теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике и время от времени только давал ему распоряжения: помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер.

— А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит? — спросил его Дэви.

Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой:

— Никто! Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне два зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар!

Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым: он заранее ожидал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали. Он внимательно наблюдал, как отец готовил акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул.

— Смотри не подходи к воде! — приказал отец.

Дэви ничего не ответил.

— Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, особенно если подымутся на поверхность, — не смей даже ступить в воду!

Дэви кивнул головой.

Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удавалось, а теперь, видно, было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене, Джоанне, следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым.

Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома, и разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз поминала только для того, чтобы потосковать о росистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии? Ее ничто не привлекало: ни глинобитные домишки Бахрейна при ста десяти градусах по Фаренгейту и ста процентах влажности воздуха, ни оцинкованные поселки нефтепромыслов, ни даже пыльные, беспардонные улицы Каира. Но апатия (которая все усиливалась и наконец совсем ее извела) должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и, раз она живет наконец там, где ей хочется, Джоанне, может быть, удастся хоть немного заинтересоваться ребенком. Пока что она не проявляла этого интереса, а с тех пор, как она уехала домой, прошло уже три месяца.

— Затяни этот ремень у меня между ногами, — сказал он Дэви.

На спине у него был тяжелый акваланг. Два баллона со сжатым воздухом весом в двадцать килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в тридцать футов. Глубже опускаться и незачем. Акулы этого не делают.

— И не кидай в воду камни, — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый футляр киноаппарата и стирая песок с его рукоятки. — Не то всех рыб поблизости распугаешь. Даже акул. Дай мне маску.

Дэви передал ему маску с защитным стеклом.

— Я пробуду под водой минут двадцать. Потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом, в тени. Понял?

— Да, — сказал Дэви.

Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий, повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих.

— И обо мне не беспокойся! — приказал он мальчику, входя в воду. Взяв в рот трубку, он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно.

Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь разглядеть. Но ничего не было видно — только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха.

Ничего не было видно ни на море, которое далеко вдаль сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади себя ничего, кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой. Она уходила, сверкая, вдаль, к таявшим в знойном море красноватым холмам, таким же голым, как и все вокруг.

Под ним был только самолет, маленький серебряный «Остер», — мотор, остывая, все еще потрескивал. Дэви почувствовал свободу. Кругом на целых сто миль не было ни души, и он мог посидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту, он вылез и облил водой песок, где лежала еда, а потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимал отец. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины.

Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился неглубоко, не больше чем на двадцать футов, но клапан работал неравномерно, и ему приходилось с усилием втягивать воздух. А это было изнурительно и небезопасно.

Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманить их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги; он обернул ее в целлофан и закопал в песок.

— На этот раз, — сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха, — я уж наснимаю их не меньше чем на три тысячи долларов.

Телевизионная компания платила ему по тысяче долларов за каждые пятьсот метров фильма об акулах и тысячу долларов отдельно за съемку рыбы-молота.

Но здесь рыба-молот не водится. Были тут три безвредные акулы-великаны и довольно крупная пятнистая акула-кошка, она бродила у самого серебристого дна, подальше от кораллового берега. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул, но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа: за него тоже платили пятьсот долларов. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Кишащий тысячами рыб подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере.

— Ага, ты еще здесь! — сказал Бен тихонько.

Длиною рыба была в четыре фута, а весила один бог знает сколько; она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз — неделю назад. Жила она тут, наверно, не меньше ста лет. Шлепнув у нее перед мордой ластами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз, на дно.

Пока что это было все, чего он добивался. Акулы никуда не денутся и после обеда. Ему надо беречь воздух, потому что здесь, на берегу, баллоны не зарядишь. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног прошелестела плавниками акула. Пока он снимал орляка, акулы зашли к нему в тыл.

— Убирайтесь к чертям! — заорал он, выпустив огромные пузыри воздуха.

Они уплыли: громкое бульканье спугнуло их. Песчаные акулы пошли на дно, а «кошка» поплыла на уровне его глаз, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь. Бен прижался спиной к рифу и вдруг почувствовал, как острый выступ коралла впился в руку. Но он не спускал глаз с «кошки», пока не поднялся на поверхность. Даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за «кошкой», которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места.

— Мне эта дрянь совсем не нравится! — сказал он вслух, выплунув сначала воду.

И только тут заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, к кому относятся эти слова.

— Нет, — неохотно ответил Дэви. — Воды нет...

Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира дюжину бутылок пива: оно было чище и безопаснее для желудка, чем вода. Но надо было взять что-нибудь и для мальчика.

— Придется тебе выпить пива. Открой бутылку и попробуй, но не пей слишком много.

Ему претила мысль о том, что десятилетний ребенок будет пить пиво, но делать было нечего. Дэви откупорил бутылку, быстро отпил немножко прохладной горькой жидкости, но проглотил ее с трудом. Покачивая головой, он вернул бутылку отцу.

— Не хочется пить, — сказал он.

— Открой банку персиков.

Банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной, но выбора не было. Поев, Бен аккуратно прикрыл аппаратуру влажным полотенцем и прилег. Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул.

— А кто-нибудь знает, что мы здесь? — опросил Дэви вспотевшего во время сна отца, когда тот снова собирался опуститься под воду.

— Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Просто так.

— Никто не знает, что мы здесь, — сказал Бен. — Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду; они не знают, что мы залетели так далеко. И не должны знать. Ты это запомни.

— А нас могут найти?

Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным.

— Нет, пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину. А по суше никто сюда попасть не может, даже на «виллисе». — Он показал на море. — И оттуда никто не придет, там рифы...

— Неужели никто-никто о нас не знает? — тревожно спросил мальчик.

— Я же говорю, что нет! — с раздражением ответил отец. Но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит не возможность попасться, он просто боится остаться один.

— Ты не бойся, — проговорил Бен грубовато. — Ничего с тобой не случится.

— Поднимается ветер, — сказал Дэви, как всегда, тихо и слишком серьезно.

— Знаю. Я пробуду под водой всего полчаса. Потом поднимусь, заряджу новую пленку и опущусь еще минут на десять. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки.

«Надо было мне ему об этом напомнить», — подумал Бен, погружаясь в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам было труднее его отодрать.

Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, всего в десяти футах от приманки, чтобы обезопасить себя с тыла. Он знал, что ждать акул придется недолго.

В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже пятеро. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха лопались и не спугнули акул.

— Подходите! Поближе! — тихонько подзадоривал он рыб.

Но им и не требовалось приглашения.

Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая «кошка», а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками, они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски.

Он заснял на пленку все: приближение акул к цели; какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы; жадный, пакостный укус — самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни.

— Ах вы гады! — сказал он, не разжимая губ.

Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться.

Они пришли снова, хотя пленка была уже почти вся отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась.

Подняв глаза, он увидел, что враждебно настроенная акула-«кошка» плывет прямо на него.

— Пошла! Пошла! Пошла! — заорал Бен в трубку.

«Кошка» на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом.

У «кошки» был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками; кровь его сразу же замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам: делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях. Бен держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад.

Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок.

Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом, — все теперь, казалось, было уже не в его власти.

— Дэви! — кричал он.

Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла — он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное над ним лицо и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться.

— Что мне делать? — кричал Дэви. — Видишь, что с тобой случилось!

Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет; руки горели как в огне и были тяжелые, как свинец, ноги не двигались, и все плыло как в тумане.

— Дэви, — еле выговорил Бен, не открывая глаз. — Что у меня с ногами?

— У тебя руки... — услышал он невнятный голос Дэви, — руки все изрезаны, просто ужас!

— Знаю, — зло сказал Бен, не разжимая зубов. — А что у меня с ногами?

— Все в крови, изрезаны тоже...

— Сильно?

— Да, но не так, как руки. Что мне делать?

Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем; он видел мускулы, сухожилия, крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и сильно кровоточила; он согнул ее, подтянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли.

Он знал, что дела его совсем плохи.

Но тут же понял, что надо что-то делать: если он умрет, мальчик останется один, а об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном начисто краю, если его вообще найдут.

— Дэви, — сказал он настойчиво, с трудом пытаясь сосредоточиться, — послушай... Возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку. Слышишь?

— Да.

— Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу. Так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки.

— Понял.

— Перевяжи крепко-накрепко. Сначала правую руку и закрой рану. Понял? Ты понял...

Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание; на этот раз беспамятство продолжалось дольше, и он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой; напряженное, бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу.

— Это ты, Дэви? — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. — Послушай, мальчик, — продолжал он с усилием. — Я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и

стащи с меня акваланг. Он меня душит.

— Я старался его стащить, — сказал Дэви упавшим голосом. — Да не могу, не знаю как.

— Надо стащить, ясно? — прикрикнул Бен как обычно, но тут же понял, что единственная надежда спастись мальчику и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику.

— Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять, Слышишь? — Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. — Тебе, бедняга, придется все делать самому, так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не надо обращать на это внимание, понял?

— Да. — Дэви перевязывал левую руку и не слушал его.

— Молодчина! — Бену хотелось подбодрить ребенка, но ему это не слишком-то удалось. Он еще не знал, как найти подход к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности. Если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку...

— Достань у меня из-за пояса нож, — сказал Бен, — и перережь все ремешки акваланга. — Сам он не успел пустить в ход нож. — Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее. Не порежься.

— Хорошо, — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. — Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней, я его расстегну.

— Ладно. Постараюсь.

Бен приподнял голову и удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Попытка двинуть шеей снова довела его до обморока; на этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение.

— Это ты, Дэви?.. — опросил он откуда-то издалека.

— Я снял с тебя акваланг, — услышал он дрожащий голос мальчика. — Но у тебя по ногам все еще течет кровь.

Не обращай внимания на ноги, — сказал Бен, открывая глаза. Он приподнялся, чтобы взглянуть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги, и теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя часть туловища тоже была скована. Худшее было впереди, и ему надо было все обдумать.

Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви придется его вести. Не было ни другой надежды и ни другого выхода. Но прежде надо обо всем как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как сказать об этом мальчику, как внушить ему эту мысль и убедить все выполнить, пусть даже безотчетно. Надо было ошупью найти дорогу к объятому страхом, незрелому сознанию ребенка. Он пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел.

«Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик с серьезным лицом был чем-то похож на него самого: за детскими чертами скрывался, быть может, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, немного скуластое лицо выглядело сейчас несчастным, а когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.

— Ничего, малыш, — произнес Бен с трудом. — Теперь уже ничего!

— Ты умрешь? — спросил Дэви.

— Разве я уж так плох? — спросил Бен, не подумав.

— Да, — ответил Дэви сквозь слезы.

Бен понял, что сделал ошибку, нужно говорить с мальчиком, обдумывая каждое слово.

— Я шучу, — сказал он. — Это ничего, что из меня хлещет кровь. Твой старик не раз бывал в таких переделках. Ты разве не помнишь, как я попал тогда в больницу в Саскатуне?..

Дэви кивнул.

— Помню, но тогда ты был в больнице...

— Конечно, конечно. Верно. — Он упорно думал о своем, силясь не потерять снова сознания. — Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, я перевалюсь на

него, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?

— Я не смогу втащить тебя в машину, — сказал мальчик. В голосе его звучало уныние.

— Эх! — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. — Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверно, пить хочется, а воды-то и нет, а?

— Нет, я не хочу пить...

Дэви пошел за полотенцем, а Бен сказал ему все тем же тоном:

— В следующий раз мы захватим дюжину кока-колы. И лед.

Дэви расстелил возле него полотенце; Бен дернулся на бок, ему показалось, что у него разорвались на части руки, и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознание он не потерял.

— Теперь тащи меня к самолету, — едва слышно проговорил Бен. — Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания, главное — поскорее добраться!

— Как же ты поведешь самолет? — спросил его сверху Дэви.

Бен закрыл глаза: он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему, — он перепугается насмерть».

— Этот маленький «Остер» летает сам, — сказал он. — Стоит только положить его на курс, а это нетрудно.

— Но ты же не можешь двинуть рукой. Да и глаз совсем не открываешь.

— А ты об этом не думай. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну тащи.

Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно и поднимается ветер; это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся, надеялся всей душой, что не задует хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее — запастись долговременным прогнозом погоды. Вот что выходит, когда становишься воздушным извозчиком. Либо ты слишком осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз — что случилось с ним нечасто — он был неосторожен с самого начала и до конца.

Долго взбирались они по склону; Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но наконец они добрались до самолета; ему даже удалось сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Но сидеть было сущим адом, а обмороки все учащались. Все его тело, казалось теперь, раздирали на дыбе.

— Как дела? — спросил он мальчика. Тот задыхался, изнемогая от напряжения. — Ты, видно, совсем измучился.

— Нет! — крикнул Дэви с яростью. — Я не устал.

Тон его удивил Бена: он никогда не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица. Но сейчас он не мог позволить себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании, но от приступов боли захватывало дух. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел. Он чувствовал, как из левой руки сочится кровь, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем (если у него еще остались пальцы). Дэви самому придется поднять самолет в воздух, вести его и посадить на землю.

— Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета. — Передохнув, он продолжал: — Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес.

Дэви сразу принялся за дело, он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы — со стороны сиденья пилота.

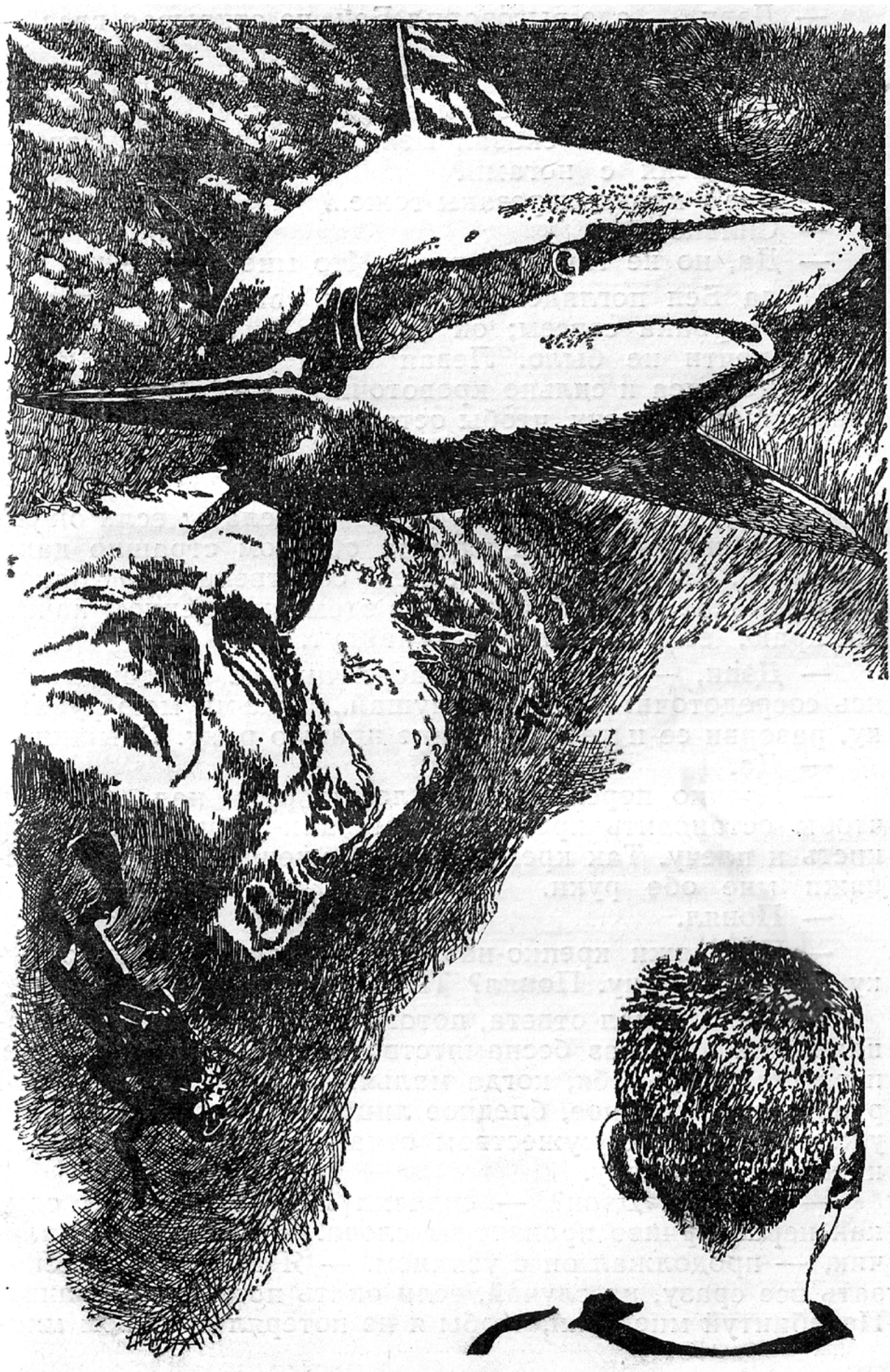
— Не у этой дверцы, — осторожно сказал Бен. — У другой. Если я полезу с этой стороны, мне мешает рулевое управление.

Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пытался поднять слишком тяжелую глыбу, Бен говорил ему, чтобы он не перенапрягался.

— В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви, — произнес он слабым голосом, — если только не

надорвешься. Не надрывайся.

Он не помнил, чтобы давал раньше сыну такие советы.



— Но ведь скоро стемнеет, — сказал Дэви, кончив складывать камни.

— Стемнеет? — открыл глаза Бен. Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание. Это не сумерки. Это дует хамсин.

— Мы не можем лететь, — сказал мальчик. — Ты не сможешь вести самолет. Лучше и не пытаться.

— Ах! — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему становилось еще грустнее. — Ветер сам отнесет нас домой.

Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой, а если он задует слишком сильно, они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродромов — ничего.

— Давай, — снова сказал он мальчику, и тот опять принялся тащить его, а Бен стал отталкиваться, пока не очутился на самодельной ступеньке из коралловой глыбы у дверцы. Теперь оставалось самое трудное, но отдыхать времени не было.

— Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами.

Эх, если бы он мог двигать ногами! Верно, что-нибудь случилось с позвоночником; он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было протянуть до Каира и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. На это он ставил единственную свою ставку, это был самый дальний его прицел.

И эта надежда помогла ему забраться в самолёт, он вполз в машину, согнувшись пополам, теряя сознание. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчика охватил страх. Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.

— Ты не видел, я вытащил из воды киноаппарат? Или оставил его в море?

— Он внизу, у самой воды.

— Ступай принеси его. И маленькую сумку с пленкой. — Тут он вспомнил, что спрятал заснятую пленку в самолет, чтобы уберечь ее от солнца. Пленки не надо. Возьми только аппарат.

Просьба его звучала буднично и должна была успокоить перепуганного мальчика; Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэви, спрыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему полностью вернулось сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше!..

— Застегни покрепче ремни, — сказал он. — Будешь мне помогать. Запоминай. Запоминай все, что я скажу. Запри свою дверцу.

«Снова обморок», — подумалось Бену. Он погрузился на несколько минут в приятный, легкий сон, но старался удержать последнюю нить сознания. Он цеплялся за нее: ведь в ней одной было спасение сына.

Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах слезы бессилия. Нет, он не намерен сдаваться. Ни за что!..

— Расклеился твой старик, а? — сказал Бен и даже почувствовал легкое удовольствие от такой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика. — Теперь слушай...

Он снова ушел далеко-далеко, а потом вернулся.

— Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не подделаешь. Слушай. Колеса свободны?

— Да, я убрал все камни.

Дэви сидел, стиснув зубы.

— Что это нас потряхивает?

— Ветер.

О ветре он совсем забыл.

— Вот что надо сделать, Дэви, — сказал он медленно. — Передвинь рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу. Сейчас. Поставь всю ступню на педаль. Хорошо. Молодец! Теперь поверни черный выключатель около меня. Отлично. Теперь нажми вон ту кнопку, а когда мотор заработает, подвинь рычаг газа еще немного. Стой! Поставь ногу на левую педаль. Когда мотор заработает, дай полный газ и развернись против ветра. Слышишь?

— Это я могу, — сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в голосе сына резкую нотку нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.

Здорово дует ветер, — добавил мальчик. — Слишком сильно, мне это не нравится.

— Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай! Запускай мотор.

Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер, и услышал, как чихнул мотор. Только бы он не слишком резко передвинул ручку, пока мотор не заработает. «Сделал! Ей-богу, сделал!» — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и от напряжения ему сразу же стало плохо. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный гул; он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог и пришел в себя от слишком сильного рева мотора.

— Сбавь газ! — закричал он как можно громче.

— Ладно! Но ветер не дает мне развернуться.

— Мы встали против ветра? Ты повернул против ветра?

— Да, но ветер нас опрокинет.

Он почувствовал, как самолет раскачивается во все стороны, попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.

— Отпусти тормоз, — сказал Бен. Об этом он забыл.

— Готово! — откликнулся Дэви. — Я его отпустил.

— Ну да, отпустил! Разве я не вижу? Старый дурак... — выругал себя Бен.

Тут он вспомнил, что из-за шума мотора его не слышно и надо кричать.

— Слушай дальше! Это совсем просто. Тяни ручку на себя и держи ее посередине. Если машина будет подсакивать, ничего. Понял? Замедли ход. И держи прямо. Держи ее против ветра, не бери ручку на себя, пока я не скажу. Действуй. Не бойся ветра.

Он слышал, как усиливался рев мотора по мере того как Дэви давал газ, чувствовал толчки и покачивание машины, прокладывая себе дорогу в песке. Потом она стала скользить, подхваченная ветром, но Бен подождал, пока толчки не стали слабее, и снова потерял сознание.

— Не смей! — услышал он издали.

Он пришел в себя — они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе; они с трудом перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо.

— Поднимись на три тысячи футов, там будет спокойнее! — крикнул он.

Ему следовало растолковать сыну все до старта: ведь теперь Дэви будет трудно его услышать. Еще одна глупость! Нельзя терять рассудок и непрерывно делать глупости!

— Три тысячи футов! — крикнул он. — Три.

— Куда лететь? — спросил Дэви.

— Сперва поднимись повыше. Выше! — кричал Бен, боясь, что болтанка снова напугает мальчика. По звуку мотора можно было догадаться, что он работает с перегрузкой и что нос самолета слегка задран; но ветер их поддержит, и этого хватит на несколько минут; глядя на спидометр и пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту, полную боли.

Его привели в себя перебои мотора. Было тихо, ветра больше не было, он остался где-то внизу, но Бен слышал, как тяжело дышит и вот-вот сдаст мотор.

— Что-то случилось! — кричал Дэви. — Слушай, очнись! Что случилось?

— Подними рычаг смеси.

Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел ему этого вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм. Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал.

— Куда лететь? — снова спросил Дэви. — Почему ты мне не говоришь, куда лететь?!

При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут, наверху, было от-

носительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца.

— Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?

— Вижу. А это верный путь?

— По компасу курс должен быть около трехсот двадцати! — крикнул он; казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог слышать, но он услышал.

«Хороший парень! — подумал Бен. — Он все слышит».

— По компасу триста сорок! — закричал Дэви.

— Компас находился наверху, и шкалу его было видно только с сиденья пилота.

— Вот и хорошо! Хорошо! Правильно! Теперь иди вдоль берега и держись его все время. Только, бога ради, ничего больше не делай, — сказал Бен; он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. — Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви...

— Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость! Он это запомнил. Славный парень! Он долетит. Он справится! Бен видел резко очерченный профиль Дэви, его бледные лицо с темными глазами, в которых ему так трудно было что-то прочесть. Отец снова взглянул в это лицо. «Никто даже не позаботился сводить его к зубному врачу», — сказал себе Бен, заметив слегка торчащие вперед зубы Дэви — тот болезненно оскалился, надрываясь от напряжения. «Но он справится», — устало и примиренно подумал Бен.

— Казалось, это был конец, итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что ему повезет, если он на этот раз выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко. Да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен уже успел подумать, что хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему... Теряя сознание, он повернул голову к дверце.

Оставшись один на высоте в три тысячи футов, Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы.

— Только однажды за свои десять лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил.

Здесь, на высоте, было тихо и светло. Море казалось совсем зеленым, а пустыня — грязной; ветер поднял над ней пелену пыли. Впереди горизонт уже не был таким прозрачным; пыль поднималась все выше, но он все еще не терял из виду море. В картах Дэви разбирался. Это было несложно. Он знал, где лежит их карта, вытащил ее из сумки на дверце и задумался о том, что он будет делать, когда подлетит к Суэцу. Но, в общем, он знал даже и это. От Суэца вела дорога в Каир, она шла на запад через пустыню. Лететь на запад будет легче. Дорогу нетрудно разглядеть, а Суэц он узнает потому, что там кончается море и начинается канал. Там надо повернуть влево.

Он боялся отца. Правда, не сейчас. Сейчас он просто не мог на него смотреть: тот спал с открытым ртом, полуголый, весь залитый кровью. Он не хотел, чтобы отец умер; он не хотел, чтобы умерла мать, но ничего не поделаешь: это бывает. Люди всегда умирают.

Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось снижаться в такой ветер, не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны! Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли.

Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и увидел, что тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем.

Бену казалось, что от толчков его тело пронзают и разрывают на части ледяные стрелы; во рту пересохло, он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо.

— Дэви! Что случилось? Что ты делаешь? — закричал он сердито.

— Мы почти прилетели, — оказал Дэви. — Но ветер поднялся выше и уже темнеет.

Бен закрыл глаза, чтобы осознать, что же произошло, но так ничего и не понял: ему казалось, что он уже приходил в себя, указывал курс мальчику, а потом снова терял сознание. Пытка качкой продолжалась и усиливала боль.

— Что ты видишь? — крикнул он.

— Аэродромы и здания Каира. Вон большой аэродром, куда приходят пассажирские самолеты.

Качка и толчки оборвали слова мальчика; казалось, потоком воздуха их поднимает вверх на сотню футов, чтобы затем швырнуть вниз в мучительном падении на добрые две сотни; самолет судорожно раскачивался из стороны в сторону.

— Не теряй из виду аэродром! — крикнул Бен сквозь приступ боли. — Следи за ним! Не спускай с него глаз. — Ему пришлось крикнуть это дважды, прежде чем мальчик расслышал; Бен тихонько твердил про себя: «Бога ради, Дэви, теперь ты должен слышать все, что я говорю».

— Самолет не хочет идти вниз, — сказал Дэви; глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо.

— Выключи мотор.

— Выключал, но ничего не получается. Не могу опустить ручку.

— Потяни рукоятку триммера, — сказал Бен, подняв голову кверху, где была рукоятка. Он вспомнил и о щитках, но мальчику ни за что не удастся их выпустить, придется обойтись без них.

Дэви пришлось привстать, чтобы дотянуться до рукоятки на колесе и сдвинуть ее вперед. Нос самолета опустился, и машина перешла в пике.

— Выключи мотор! — крикнул Бен.

Дэви убрал газ, и ветер стал с силой подбрасывать планирующий самолет вверх и вниз.

— Следи за аэродромом, делай над ним круг, — сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего усилия, которое ему предстояло.

Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно, посадить же на землю — вот задача!

— Там большие самолеты, — кричал Дэви. — Один, кажется, стартует...

— Берегись, сверни в сторону! — крикнул Бен.

Это был довольно никчемный совет, но зато дюйм за дюймом Бен приподнимался; ему помогало то, что нос самолета был опущен. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно из последних сил карабкался вверх. Наконец голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску с приборами. Он приподнял насколько смог голову и увидел, как приближается земля.

— Молодец! — закричал он сыну.

Бен дрожал и обливался потом, он чувствовал, что из всего его тела осталась в живых только голова. Рук и ног больше не было.

— Левей! — кричал он. — Дай вперед ручку! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще! Хорошо! Все в порядке, Дэви. Ты справишься. Влево! Жми ручку вниз...

— Я врежусь в самолет.

Бену был виден большой самолет. До самолета было не больше пятисот футов, и они шли прямо на него. Уже почти стемнело. Пыль висела над землей, словно желтое море, но большой четырехмоторный самолет оставлял за собой полосу чистого воздуха, — значит, моторы запущены на полную мощность. Если он стартовал, а не проверял моторы, все будет в порядке. Нельзя садиться за летной дорожкой: там грунт слишком неровный.

Бен закрыл глаза.

— Стартует...

Бен с усилием открыл глаза и кинул взгляд поверх носа машины, качавшейся вверх и вниз; до большого ДК-4 оставалось всего двести футов, он преграждал им путь, но шел с такой скоростью, что они

должны были разминуться. Да, они разминутся. Бен чувствовал, что Дэви в ужасе потянул ручку на себя.

— Нельзя! — крикнул он. — Гни ее вниз...

Нос самолета задрался, и они потеряли скорость. Если потерять скорость на такой высоте, да еще при этом ветре, их разнесет в щепы.

— Ветер! — кричал мальчик; его личико застыло и превратилось в трагическую маску; Бен знал, что приближается последний дюйм и все в руках у мальчика...

Оставалась минута до посадки.

— Шесть дюймов! — кричал он Дэви; язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. — Шесть дюймов, Дэви! Стой! Еще рано. Еще рано... — плакал он.

На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание; им завладел страх, им завладела смерть, и он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать; он привалился к доске; в глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» — но страх был слишком велик; в последний, смертный миг, который снова вернул его в забытие, он ощутил, как слегка приподнялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, и настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса коснулись земли — это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и описал на земле круг, а потом замер, и наступила тишина.

Ах, какая тишина и какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом; он вдруг понял, что выживет, — он так боялся умереть и совсем не хотел сдаваться.

В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы, а в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена неисчерпаемый запас сил, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой.

Все это потребовало времени, но что значило время для жизни, висевшей на волоске?.. Бен все равно ничего не создавал, кроме приливов и отливов боли и редких просветов сознания.

— Все дело в адреналине, — раскатисто хохотал кудрявый врач египтянин, — а вы его вырабатываете как атомную энергию!

Казалось, все было хорошо, но Бен все-таки потерял левую руку. («Странно, — думал он, — я бы мог поклясться, что больше досталось правой руке».) Пришлось справиться и с параличом, который курчавый исцелитель упорно называл «небольшим нервным шоком». Потрясение превратило Бена в неподвижный и очень хрупкий обломок — поправка не могла идти быстро. Но все-таки дело шло на лад. Все, кроме левой руки Бена, которая отправилась в мусоросжигалку, но и это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же и его профессия летчика.

Однако, помимо всего, был еще мальчик.

— Он жив и здоров, — сказал врач. — Не получил даже шока. — Кудрявый египтянин отпускал веселые шутки на прекрасном английском языке. — Он куда подвижней вас.

Значит, и с парнишкой все в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше, но решала дело встреча с мальчиком: тут либо все начнется, либо снова кончится. И может быть, навсегда.

Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок, с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен: важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце.

— Ну как, Дэви? — робко сказал он сыну. — Здорово было, а?

Дэви кивнул. Бен знал: мальчуган вовсе не думает, что было здорово, но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки.

— Расклеился твой старик, правда? — спросил он.

Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезно.

Бен улыбнулся. Да что уж греха таить, старик и в самом деле расклеился. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки! Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика, а ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком.

ОБ АВТОРАХ

МАРДЖОРИ КИННАН РОЛИНГС (Marjorie Kinnan Rawlings), 1896—1953 — американская писательница, выступавшая в различных прозаических жанрах. В 1933 году один из ее рассказов был удостоен премии имени О. Генри, а в 1939 году Ролингс была присуждена Пулитцеровская премия. На русском языке, кроме рассказа «Моя мать живет в Манвилле», опубликованного в сборнике «Сегодня и вчера», выходила повесть «Сверстники» (1931) *.

Здесь и далее в скобках указан год первого издания произведения на языке оригинала.

КАРСОН МАККАЛЛЕРС (Carson MacCullers), 1917—1967 — выдающаяся американская писательница, принадлежавшая к так называемой «южной школе». Широкую известность принесли ей романы, повести и рассказы, хотя она писала также стихи и пьесы. Для ее творчества характерно трагическое мироощущение, нередко переходящее в утверждение фатальной обреченности человека.

На русском языке издавались романы К. Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник» (1940) и «Часы без стрелок» (1961), повесть «Участница свадьбы» (1946). Повесть «Баллада о невеселом кабачке» (1951) была поставлена на сцене московского театра «Современник» в инсценировке известного американского драматурга Э. Олби.

Рассказ «Простофиля» был впервые опубликован в 1963 году. Неоднократно выходил на русском языке, печатался также под названием «Губка».

КУРТ ВОННЕГУТ (Kurt Vonnegut), р. 1922 — один из крупнейших американских писателей наших дней, пользующийся большой популярностью у себя на родине, особенно среди молодежи. Хорошо известен и в нашей стране. Участник второй мировой войны, во время которой, оказавшись в немецком плену, перенес варварскую бомбардировку Дрездена американской и английской авиацией. Опыт военных лет не только лег в основу ряда произведений Воннегута, но и оказал большое влияние на его духовное формирование. Главное место в его творчестве принадлежит романам, из которых на русском языке печатались «Механическое пианино» (1951, сокр. пер. под заглавием «Утопия-14»), «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969), «Завтрак для чемпионов» (1973). Выступал также как новеллист, драматург и телесценарист. Многие рассказы публиковались в переводе в периодической печати и в составе различных антологий.

Своеобразие произведений Воннегута определяется сочетанием философско-сатирического и фантастического начал. Но с какой бы яростью ни бичевал писатель человеческие пороки, ему чужда мысль о непреодолимой порочности человека, как далеко бы ни уводил читателя в иные миры, главное, что его занимает и тревожит, — это несовершенство мира земного.

Рассказ «Ложь» (1962) вошел в сборник рассказов Воннегута «Добро пожаловать в обезьянник» (1968). Печатался в русских переводах.

ГОРДОН ВУДВОРД (Gordon Woodward) — современный американский прозаик.

Рассказ «Уехал в город» был впервые опубликован в переводе в сборнике «Современная американская новелла». М., 1963.

ДЖОН АПДАИК (John Up'dike), р. 1932 — один из признанных мастеров современной американской прозы. Дебютировал романом «Ярмарка в богадельне» (1959), но особенное внимание обратил на себя в связи с выходом романов «Кролик, беги» (1960), «Кентавр» (1963) и «Ферма» (1965, два последних выходили в русском переводе). В эти же годы выпускает несколько сборников рассказов, многие из которых известны в переводах и советскому читателю.

Рассказ «Завтра, завтра, завтра и так далее», в заглавии которого используется строка из V акта монолога Макбета трагедии Шекспира «Макбет», был впервые опубликован в переводе в «Неделе», 1968.

ДЖОН ЛЭНГДОН (John Lanqdon), р. 1913 — американский прозаик, автор романов, кино— и телесценариев, рассказов. Удостоенный литературной премии рассказ «Синий габардиновый костюм» был инсценирован для телевидения. Впервые в русском переводе был опубликован в сб. «Современная американская новелла»* М., 1963.

ТРУМЭН КАПОТЕ (Truman Capote), р. 1924 — известный американский писатель, творчество которого окрашено в романтические тона. Ряд его произведений принадлежит к жанру документальной прозы, в частности повесть «Обыкновенное убийство» (1965, сокр. пер. «Иностранная литература», 1966, № 2—4). Начал писать после второй мировой войны. Автор романов, повестей, нескольких сборников рассказов. По-русски выходили повести «Лесная арфа» (1951, «Иностранная литература», 1966, № 6, тот же пер. под заглавием «Голоса травы» в кн. «Голоса травы». Повесть. Рассказы), «Завтрак у Тиффани» (1958) и многие новеллы Капоте. Рассказ «Дети в день рождения» впервые опубликован в переводе в журнале «Новый мир», 1967, № 4. Затем неоднократно включался в сборники рассказов Т. Капоте.

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (Erskine Preston Caldwell), р. 1903 — один из крупнейших и наиболее плодотворных американских писателей нашего века, хорошо известный советскому читателю по переводам. Жизнь и творчество Колдуэлла тесно связаны с американским Югом. Начал писать в 30-е годы, переменяя до этого множество профессий: сборщика хлопка, репортера, официанта, шофера, рабочего сцены. Произведения Колдуэлла, начиная с «Табачной дороги» (1932, опубликована в русском переводе), которая сразу же принесла писателю широкую известность, пронизаны сочувствием и уважением к человеку труда, согреты сочным юмором.

Это, однако, не исключает и трагических интонаций, когда автор сталкивается с уродливыми явлениями действительности.

Написанный еще в 30-е годы рассказ «Тихоня» вышел впервые в русском переводе в 1939 году. Впоследствии входил в антологию повестей и рассказов Э. Колдуэлла.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН (James Baldwin), р. 1924 — видный американский писатель-негр, романист, публицист, драматург. Писать начал в 50-е годы и в своем творчестве отразил многие существенные моменты «негритянской революции» — борьбы черных сынов Америки за гражданские права. Сознвая нетерпимость существующего положения, предупреждая, что оно чревато взрывом: «В следующий раз — пожар», (1963)—такое название носит одна из публицистических книг Болдуина, — писатель отвергает свойственную многим представителям этого движения идею негритянского сепаратизма и изоляции, выступая за соединение сил всех противников расизма. На русском языке выпущены сборник рассказов и публицистики разных лет — «Выйди из пустыни», повесть «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (1974), пьеса «Блюз для мистера Чарли» (1964, «Иностранная литература», 1964, № 11). В периодической печати и антологиях публиковались рассказы и отрывки из публицистических произведений Болдуина.

Рассказ «Скажи, когда ушел поезд?» лег в основу одноименного романа (1968). В переводе был впервые напечатан в 1971 году в составе сборника «Современная американская новелла. 60-е годы».

ФЛАННЕРИ О'КОННОР (Flannery O'Connor), 1925—1964 — выдающаяся американская писательница, представительница «южной школы». Внимание привлек рассказ «Герань», которым О'Коннор дебютировала в 1946 году. За свою сравнительно недолгую творческую жизнь опубликовала два романа: «Мудрая кровь» и «Яростные разрушают» (1960), и два сборника рассказов: «Хорошего человека найти нелегко» (1956) и «На вершине сходятся все тропы» (1964), до выхода которого писательница не дожила. В 1971 году вышло «Полное собрание рассказов» О'Коннор.

Мир ее произведений — это мир, построенный на насилии, и потому, даже не осознавая этого, ее

герои живут ощущением страха, в предчувствии неизбежно надвигающейся беды.

Рассказ «Гипсовый негр» впервые в переводе опубликован в 1974 году в сборнике «Хорошего человека найти нелегко», составленном на основе двух авторских сборников. Рассказы О'Коннор публиковались также в советской периодике.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС (Joyce Carol Oates), р. 1938 — талантливая, необычайно активно работающая американская писательница, в творчестве которой традиции социальной прозы 30-х годов сочетаются с глубоким психологизмом. Автор нескольких романов — один из них удостоен Национальной премии — и около десятка сборников рассказов, а также поэтических сборников, пьес и литературоведческих работ. Новеллы Оутс включались в ежегодную антологию лучших американских рассказов, многим из них присуждалась премия имени О'. Генри.

Путь героев Оутс никогда не бывает прост. Но писательница не изображает их жертвами обстоятельств. Они сами создатели своей судьбы. Есть определенная суровость в подходе Оутс к своим персонажам, но в ней — и уважение писательницы к человеку.

На русском языке был напечатан сборник, включающий роман «Сад радостей земных» (1967) и несколько новелл. Новеллы Оутс публиковались также в других антологиях и в периодической печати. Рассказ «Куда ты идешь, где ты была?» (1966) выходил на русском языке в составе антологии «Американская новелла XX века».

ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕР (Jerome David Salinger), р. 1919 — американский писатель. Дебютировал в литературе в начале 40-х годов. Участвовал во второй мировой войне. Подлинное признание принес ему талантливый роман «Над пропастью во ржи» (1951), за которым последовало несколько сборников новелл и повести «Выше стропила, плотники» и «Будьте знакомы — Сеймур» (1963). К сожалению, писатель впоследствии отошел от художественного творчества, не раскрыв до конца своего большого дарования.

На русском языке в периодической печати и в сборнике выходил роман «Над пропастью во ржи», повесть «Выше стропила, плотники» и рассказы. Выпущен также небольшой сборник под заглавием «Грустный мотив». Рассказ «Фрэнни» впервые увидел свет в переводе в 1968 году.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР (William Faulkner), 1897—1962 — величайший американский писатель XX века. Автор около двух десятков романов, нескольких сборников рассказов, большинство которых объединено темой Юга. Их действие разворачивается в вымышленном округе Иокнапатофа, прообразом которого послужил край, в котором родился и жил писатель. Многие рассказы Фолкнера включались в состав ежегодных антологий лучших американских рассказов. В произведениях Фолкнера в равной мере ощутимы поступь истории и тончайшие движения человеческой души.

Огромен диапазон изобразительных средств писателя: от буффонады, гротеска и грубой комедии до высших трагических озарений. Какие бы тяжкие испытания ни выпадали на долю человека — человек в художественном мире Фолкнера не обречен — у него всегда есть будущее.

Творчество Фолкнера, знакомство с которым началось еще в 30-е — годы, хорошо известно в нашей стране. В переводе изданы многие произведения писателя, в том числе романы «Сарторис» (1929, вышел в одном томе вместе с романом «Осквернитель праха» (1948) и повестью «Медведь»), «Шум и ярость» (1929, «Иностранная литература, 1973, № 1—2), «Свет в августе» (1932, «Новый мир», 1974, № 7—9), «Непобежденные» (1938, в составе сборника «Богова делянка», трилогия: «Деревушка» (1940), «Город» (1957) и «Особняк» (1959, все выходили отдельным изданием), и несколько сборников рассказов.

Рассказ «Полный поворот кругом» (1932) неоднократно издавался при жизни автора. На русском языке впервые напечатан в одноименном сборнике в 1963 году.

ДЖОН СОММЕРФИЛД (John Sommerfield), р. 1918 — современный прогрессивный английский писатель. Участник гражданской войны в Испании, о которой им были написаны мемуары «Доброволец в Испании» (1937), и второй мировой войны. В его творчестве настойчиво звучит рабочая тема. Произведения «Первое мая» (1936), «Соперники» (1952), «Беспорядки на Портер-стрит» (1954), «Наследие» (1956), «Северо-Запад-5» (1960) и др. посвящены нелегкой жизни трудового человека, его борьбе за лучшую долю.

Рассказ «Первый урок» впервые опубликовал в переводе в 1938 году под заглавием «Побег». В данном переводе опубликован в сб. «Английская новелла». Л., 1961.

ДОРИС ЛЕССИНГ (Doris May Lessing), р. 1919 — выдающаяся современная английская писательница. Известна как автор романов, рассказов, повестей, выступала также в качестве драматурга. Детство и юность писательницы прошли в Южной Родезии, и многие из ее произведений посвящены африканской теме, проникнуты антиколониалистским духом. Наиболее значительное достижение Лессинг-прозаика — цикл из пяти романов, объединенный общим названием «Дети насилия» (1952—1969). В нем проявились характерные черты ее писательского дарования: широкое, панорамное описание действительности и точность психологических характеристик героев. На русском языке выходили первый роман цикла «Марта Квест», сб. «Повести», «Лето перед закатом» (1973, «Иностранная литература», 1977, № 6, 7), в периодической печати публиковались многие рассказы и повести Д. Лессинг. «Повесть о двух собаках» представлена в сб. «Современная английская новелла». М., 1969.

ДИЛАН ТОМАС (Dylan Marlais Thomas), 1914—1953 — известный английский поэт XX века, валлиец по происхождению, чьи поэтические творения, исполненные необузданной фантазии, замечательные по смелости образов и языка, по свежести восприятия жизни, стали классикой английской литературы нашего столетия. Первый сборник «Восемнадцать стихотворений» вышел в 1934 году, за ним последовали «Двадцать пять стихотворений» (1936), собрание стихов и прозы «Карта любви» (1939), поэтические сборники «Смерти и входы» (1946), «В дремотной тишине полей» (1951) и «Собрание стихотворений» (1952). Прозаическое наследие включает сборник проникнутых живым юмором автобиографических новелл «Портрет художника в щенячем возрасте» (1940), изданный посмертно сборник рассказов, воспоминаний и критических эссе «Рано поутру» (1954) и другие произведения. На русском языке печатались стихотворения, рассказы Дилана Томаса. «Воспоминания о рождестве» (1945) на русском языке публикуется впервые.

УИЛЬЯМ ТРЕВОР (William Trevor), р. 1928 — известный английский писатель, автор романов «Однокорпусник» (1964), «Пансион» (1965), «Департамент любви» (1966) и др., в которых критическое отношение к действительности выражается в основном посредством иронии и гротескового заострения образов, что характерно и для новеллистики Тревоора.

Рассказ «Из школьной жизни» вошел в авторский сборник «День, когда мы упились тортом» (1967), русский перевод был напечатан в сб. «Спасатель», 1969.

ГРЭМ ГРИН (Graham Greene), р. 1904, — классик английской литературы XX столетия. Автор свыше 30 романов, новеллистических сборников, книг для детей, путевых очерков, сборников эссе и т. д. Начал писать в 20-е годы. Особую известность приобрел с выходом в свет романа «Стамбульский экспресс» (1932). Заслуженно пользуются широкой популярностью его романы «Власть и слава» (1940), «Суть дела» (1948), «Тихий американец» (1955), «Наш человек в Гаване» (1958), «Комедианты» (1967) и др.

Для творчества Г. Грина характерно сочетание глубокого психологизма с мастерским владением техникой остросюжетного повествования, а осуждение нравов буржуазного общества нередко поднимается до жестокой сатиры.

В переводе на русский язык печатались многие произведения Г. Грина. Рассказ «Поездка за город» выходил в сб. «Английская новелла». Л., 1961.

АЛАН СИЛЛИТОУ (Alan Sillitoe), р. 1928 — современный английский писатель. С интересом была встречена его первая же книга — роман «В субботу вечером, в воскресенье утром» (1958), заново открывшая в послевоенной английской литературе рабочую тему, составившую стержень и последующих произведений писателя, в частности, романа «Ключ от двери» (1961). Вдумчиво, серьезно пишет он о тех трудностях, с которыми сталкивается трудовой народ современной Англии. Но творчество писателя не сводится к одной этой теме. Он пробовал свои силы также в жанрах современного «плутовского» и философского романа («Начало жизни», 1970).

На русском языке печатались романы, рассказы и публицистика А. Силлитой. Рассказ «Велосипед» публиковался ранее в переводе в сб. «Спасатель».

БИЛЛ НОУТОН (Bill Naughton), р. 1910 — английский прозаик и драматург, автор книг для детей.

Переменил ряд рабочих профессий (ткача, угольщика, шофера), и этот опыт обогатил его произведения пониманием интересов и надежд человека труда, что наглядно отразилось, например, в сборнике «Поздно вечером на Уотлинг-стрит» (1959, под этим заглавием вышел и сб. рассказов Ноутона на русском языке). Рассказ «Сестра Тома» входит в вышеупомянутый сборник. Перевод публиковался ранее в сб. «Спасатель».

УОЛТЕР МЭККИН (Walter Macken), 1915—1967 — английский прозаик, ирландец по происхождению, актер, режиссер, драматург, автор нескольких детских книг. Его творчество посвящено в основном изображению быта и нравов простых людей Англии и Ирландии. На русском языке в периодической печати и отдельными книгами выходили романы, повести и рассказы писателя: «Лодочные гонки», «Зеленые горы», «Ветер сулит бурю», «Бог создал воскресенье» (1962), «Голуби улетели» (1968).

Рассказ «Кисейная барышня», входящий в состав одноименного, посмертно изданного сборника (1969), публиковался ранее в сб. «Спасатель».

СИД ЧАПЛИН (Sid Chaplin), р. 1916 — современный английский прозаик. Выпустил несколько романов и сборников рассказов. Активно разрабатывает в своем творчестве рабочую тему, исследуя ее не только в социальном и психологическом, но и философском плане. В русском переводе выходили лучшие романы С. Чаплина «День сардины» (1961), «Соглядатаи и поднадзорные» (1962). В периодике и антологиях печатались переводы его рассказов. Рассказ «Загородные ребята» представлен в сб. «Современная английская новелла». М., 1969.

ДЖЕИМС ОЛДРИДЖ (James Aldridge), р. 1918 — современный английский писатель и общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии мира 1973 года, австралиец по происхождению. Начал писать в 40-е годы. Темой его первых романов «Дело чести» (1942), «Морской орел» (1944) послужила вторая мировая война. Новым шагом в его развитии как писателя явился роман «Дипломат» (1949), положивший начало разработке антиколониалистской темы как в собственном его творчестве, так и в послевоенной английской литературе. Важное место занимают его произведения, посвященные борьбе народов Ближнего Востока против колонизаторов. Для многих произведений Олдриджа характерна не только ярко выраженная социальная направленность, но и прямое обращение к политике.

Романы и повести Олдриджа переводились на русский язык и хорошо знакомы советскому читателю. «Последний дюйм» вышел в переводе в 1959 году.

М. КОРЕНЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ США

Марджори Киннан Ролингс. Моя мать живет в Манвилле.

Карсон Маккаллерс. Простофиля.

Курт Воннегут. Ложь.

Гордон Вудворд. Уехал в город.

Джон Апдайк. Завтра, завтра, завтра и так далее...

Джон Лэнгдон. Синий габардиновый костюм.

Трумэн Капоте. Дети в день рождения.

Эрскин Колдуэлл. Тихоня.

Джеймс Болдуин. Скажи, когда ушел поезд?

Фланнери О'Коннор. Гипсовый негр.

Джойс Кэрол Оутс. Куда ты идешь, где ты была?

Джером Дэвид Сэлинджер. Фрэнни.

Уильям Фолкнер. Полный поворот кругом.

Перевод В. Смирнова

Перевод Т. Шинкарь

Перевод Р. Райт-Ковалевой

Перевод А. Любовцова

Перевод Т. Ильина

Перевод Н. Ветошкиной

Перевод С. Митиной

Перевод Р. Райт-Ковалевой

Перевод Н. Ветошкиной

Перевод С. Белокриницкой

Перевод Н. Галь

Перевод Р. Райт-Ковалевой

Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ АНГЛИИ

Джон Соммерфилд. Первый урок.

Дорис Лессинг. Повесть о двух собаках.

Дилан Томас. Воспоминания о рождестве.

Уильям Тревор. Из школьной жизни.

Грэм Грин. Поездка за город.

Алан Силлитой. Велосипед.

Билл Ноутон. Сестра Тома.

Уолтер Мэккин. Кисейная барышня.

Сид Чаплин. Загородные ребята.

Джеймс Олдридж. Последний дюйм.

Перевод А. Ставиской

Перевод Ю. Жуковой

Перевод М. Кореневой

Перевод Ел. Суриц

Перевод М. Шерешевской

Перевод М. Ковалевой

Перевод А. Кистяковского

Перевод М. Кан

Перевод В. Скороденко

Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова

